



ISSN 1993-9477

XXI ВЕК

ВОЛГА

9-10 2020

Литературно-художественный журнал



«Пророк Исая»
Икона



Александр Сергеевич Пушкин.
Фрагмент портрета
О.А. Кипренского



Александр Пушкин
и Анна Керн.
Неизвестный автор



XXI ВЕК

ВОЛГА

9-10 2020

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России (Москва)
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России (Саратов)
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России (Саратов)
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы (Саратов)
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
Е.Н. Манова – директор музея Н.Г. Чернышевского (Саратов)
А.Н. Тимофеев – член правления Союза писателей России,
председатель Совета молодых литераторов Союза
писателей России (Москва)

9-10 2020

СОДЕРЖАНИЕ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Светлана КЕКОВА. **Память о былом** 3

ОТРАЖЕНИЯ

Алексей МАНАЕВ. **Час печали, год любви (Начало)** 6

ПОЭТОГРАД

Валерий КРЕМЕР. **Остров** 36

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Алексей СОЛОНЦЫН. **Вот я, Господи** 43

ПОЭТОГРАД

Елена КОМАРОВА. **Творение возвращается к Творцу** 128

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Эльвира БИРЮКОВА. **Очерки из книги
«О героях былых сражений и детях войны»** 131

В САДАХ ЛИЦЕЯ

Дарья ТАТАРЧУК. **Вольный ветер счастья** 135

ПОЭТОГРАД

Е. РУСЛАНОВ. **Круги земные** 137

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Наталья ТЯПУГИНА. **Планета Крым** 140

СТАТЬИ

Надежда ШАРТ. **«Я люблю вас, люди!»** 159

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Виктор КРЕСТОВ. **«Низко кланяюсь Саратову...»** 165

К 100-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Светлана КЛИМЕНКО. **Дом-музей Н.Г. Чернышевского
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)** 174

Александр ДЕМЧЕНКО. **Наш Чернышевский** 178

РЕЦЕНЗИИ

Елизавета МАРТЫНОВА. **Память о войне** 187

Михаил МУЛЛИН. **Том третий. Необходимый** 189

Памяти Михаила Муллина 191

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



**Светлана
КЕКОВА**

ПАМЯТЬ О БЫЛОМ

Памяти тёти Маши

Ты помнишь, как с тобой мы по дороге шли?
Терялся край земли в сиянье и пыли,
томились листья ив под тонким слоем пыли,
и только облака легко по небу плыли.

Одно из облаков нас, как звезда, вело
по местности простой в знакомое село,
где перекинут мост кирпичный через речку,
где дерево стоит, напоминая свечку.

Там, у оврага, – дом, а в доме – тишина.
Лежит в густой пыли на чердаке икона.
Я знаю, что давно закончилась война,
остался только прах от стен Иерихона,
и рухнула уже Берлинская стена.

А мой отец-солдат через Европу шёл,
молилась бабушка, и рыла мать окопы...
И память о былом, как светлый ореол,
таинственно сквозит над картою Европы.

Двух осторожных птиц я видела в окно,
сиял в снегу снегирь, как девичий румянец,
а в доме на стене – застывшее кино:
случайный блеск стекла и фотографий глянец.

Синица снег клюёт и просится ко мне.
В каком прекрасном сне, в какой волшебной сказке
я вижу целый мир, висящий на стене:
младенец в люльке, мать, солдат в железной каске?

-
- Светлана Васильевна Кекова – автор шестнадцати поэтических сборников и нескольких литературоведческих книг, в том числе посвящённых творчеству Николая Заболоцкого и Арсения Тарковского. Стихи переведены на европейские языки. Лауреат литературных премий. Доктор филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Саратовской государственной консерватории. Живёт в Саратове.

Вот это – наш погост, а это – город Брест,
здесь – стриженный малыш отважно сел на санки...
У деда на груди – Георгиевский крест,
а у отца – медаль и орденские планки.

Плачут птицы больные, вспоминают весну.
Я вас, тени родные, перед сном помяну.

Как рыдание арфы, птичий строится стан.
Спят Димитрий и Марфа, Параскева, Иван.

Никакого зазора нет в пространстве ином
между ангельским хором и провидческим сном.

Между сушей и морем, между ночью и днём,
между будущим горем и слезами о нём.

Мне как будто открыли старой хроники кадр:
в безымянной могиле спит солдат Александр.

Сколько воинов верных час свой смертный нашли
в развороченных недрах материнской земли.

Кто отпет и оплакан и Всевышним прощён,
кто невидимым знаком – красной кровью – крещён.

Снег ли в воздухе тает над молчащим селом,
или ива читает поминальный псалом,

или хочет оставить над пространством полей
крест и Вечную память вещей клик журавлей?

Жизнь наша бедная – жалость и милость.
Ива к холодной воде наклонилась.

Плачет, голубка, а ветка одна
хочет коснуться песчаного дна.

В тихом сиянии в центре вселенной
молится ива в одежде смиренной,

видит сияющий звёздный поток,
плачет, надев свой узорный платок.

Плачет о тех, кто с войны не вернулся,
в гибель свою с головой окунулся,

в вечность ушёл – и Господь их простил,
Кровью Своей перед сном причастил.

Как же слезам покаянья не литься,
как об усопших живым не молиться,
как не дарить им любовь и тоску –
иве-красавице, ветром колеблемой,
воздуху стылому, птице серебряной,
дереву, камню, речному песку?

Смерти просты законы.
Взгляд у неё безгневный.
Смотрит на нас с иконы
Лазарь Четверодневный.

Сердце больное ноет:
нет ему в мире места...
Мама тарелки моет,
бабушка месит тесто.

Ставим на стол бутылки:
в сером пальто из драпа
в дом из бессрочной ссылки
нынче вернулся папа.

Руки и ноги целы,
снова он вместе с нами,
только повито тело
белыми пеленами.

Он головой качает,
спрашивает: не ждали?
Бабушка отвечает:
– Где же твои медали?

Видишь, как покосился,
высох и сполз к оврагу
дом твой, пока ты бился
за Сталинград и Прагу?

– Смерть – не моя забота,
Есть от неё спасенье –
Лазарева суббота,
Вербное воскресенье...



**Алексей
МАНАЕВ**

ЧАС ПЕЧАЛИ, ГОД ЛЮБВИ

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

Глава первая

Герои сказок ходили за счастьем за тридевять земель. Возьмём карту, прикинем, где находится солнечная Белгородчина, откуда я родом, и не менее солнечный Татарстан, приютивший меня на пять юношеских лет. Сказочных тридевять земель не выходит, но расстояние приличное – около полутора тысяч километров.

Не жажда путешествий повлекла меня на Волгу, в Казань. Причина прозаичней – выбор профессии. Окончив десятилетку, я, несмотря на примерный аттестат и уговоры друзей, искать счастья на стороне никуда не поехал, решив, что с меня хватит и счастья местного разлива в виде хуторка, насчитывающего четыре десятка домов.

Счастье, как и несчастье, никогда не гнездится вне тебя. Они в тебе, в том, как ты чувствуешь мир и как мир понимает тебя. Днём моё счастье являлось в виде самых затрапезных вилок, которыми надо было орудовать на ферме, числившейся в официальных документах молочно-товарной. А долгими осенними и зимними вечерами – в виде карандаша или ручки с пером цвета латуни, в центре которого была выдавлена пятиконечная звездочка, и чернильницы. Щедрость пера зависела от силы нажима: энергичный нажим оставлял жирные строчки, которые долго не высыхали, а аккуратное письмо рождало скромную вязь. С помощью то пера, если сидел за столом, то карандаша, если лежал в постели, я сочинял рассказы и заметки.

Творения переписывал набело на сдвоенные, в клеточку, тетрадные листы, положенные вертикально, и посылал в район-

-
- Алексей Васильевич Манаев родился в 1949 году на Белгородчине. Литератор и журналист. В 1972 году окончил отделение журналистики историко-филологического факультета университета (сейчас Казанский (Приволжский) федеральный университет), полтора десятилетия спустя – академическую аспирантуру. Кандидат исторических наук. Работал в средствах массовой информации и в федеральных государственных органах. Государственный советник Российской Федерации I класса. Публиковался в федеральных журналах «Наш современник», «Человек и закон», в журнале московских писателей «Московский вестник», в «Литературной газете», «Московском литераторе» и во многих других периодических изданиях федерального и регионального уровня. Автор и составитель нескольких книг. Живёт в Москве.

ную газету. Рассказики назывались претенциозно: «Прости меня, папка», «Ноктюрн» и что-то в этом роде. Они были начинены, как динамитом, нештучными взрослыми страстями: несчастной любовью, одиночеством, изменами. Почему рождались амурно-романтические сюжеты, мне до сих пор неизвестно. Скорее всего, они – от начётничества, от сотен «взрослых» романов, которые читал запоем.

Рассказики публиковали из-за того, наверное, что автор – сельский житель, рабоче-крестьянский корреспондент, которого по существующим в те времена правилам газеты обязаны были привечать.

Ни денег, ни славы хотя бы на хуторском уровне публикации не приносили. (Правда, извещение о первом гонораре в рубль сорок одну копейку храню до сих пор.) На ферме подтрунивали: что, писатель, сколько навоза сегодня обязуешься вывезти, чтобы вдохновиться на очередную неразделённую любовь?

Меня ироничное отношение к увлечению обижало, и я иногда дерзил обидчикам: я могу и навоз вывозить, и стихи писать, и рассказы, а вы – только в навозе и разбираетесь.

Сейчас бы я резкое словцо попридержал. Разве они, мои коллеги, виноваты, что детство и юность пришлось на войну, на время, когда надо было с ранних лет заменять в поле и на ферме не вернувшихся с фронта отцов? Они, думаю теперь, подтрунивали надо мной, не осуждая меня, а, вполне возможно, завидуя.

Близилась пора, когда надо было определяться, что делать. Учиться в институтах не хотелось, потому что надо было уезжать из дома. А другого рая, кроме хутора, в котором каждый дом зимними вечерами окрашивали в приветливый желтоватый цвет керосиновые лампы, мне и не нужно было.

На учёбе настаивала мама.

В хуторке нашем жили три Насти. Одну, высокую, дородную, но норовистую, звали – с нескрываемой долей неприязни – Настюхой. Другую, чрезмерно полную, краснощёкую, ворчливую, и вовсе называли по подворью – Кудиниха. И лишь мою маму величали ласково – Настенька. Может быть, только в этом ей и посчастливилось.

На второй год войны, перед немецкой оккупацией, маму и ещё несколько молодых сверстниц эвакуировали. Оказались в подмосковной Шатуре. Мама выполняла изматывающую мужскую работу, добывая для московских электростанций торф. Она была ладная, статная, с аккуратным носиком греческого профиля. Никогда не видел её в дорогих одеяниях. Но даже в зрелые годы её фигура, посадка головы, взгляд, манера разговаривать излучали столько задора, что соседи говорили: хватило бы на десятерых, а досталось одной, твоей матушке. В Шатуре у неё, естественно, появились кавалеры. Предлагали руку и сердце. Не откликнулась. Как только дошло известие, что наши места освобождены, немедленно вернулась домой. Вот откуда, думаю, моё нежелание покидать родительское гнездо – оно передалось по наследству.

Оккупанты хозяйничали у нас недолго. Рассказывают, появились они в хуторке на танках жарким июльским днём 1942 года. Беззаботно сбросили амуницию у колодца, под гортанные стенования облили себя холодной водой и разбежались по дворам. Раздались автоматные очереди. Так фашисты добывали на обед «дичь» – кур, гусей, уток. Добывали каждый день. Не стало дичи, взялись за свиней, коров, коз. Отступая, две дубовые бочки сала и мяса облили бензином и подожгли.

У бабушки, с которой мама жила, на дворе не осталось даже кур. В семье была единственная ценность – отрез материи, которым мою Настеньку

наградили в Шатуре. Решили богатеть с него. Мама была лёгкой на подъём. Встала чуть свет – и в ближайший город, в Алексеевку, с сокровищем, а вернулась поздно ночью с сокровищем ещё более ценным – рябенькой курочкой с небольшим красноватым гребешком. Никто в семье в ту ночь не спал. Даже дышать боялись, чтобы не беспокоить курочку.

Слышу вопрос: что в этом такого, что может тронуть сердце? Ну, прогулялась молодая женщина на городской рынок. Не она одна устраивала дальние прогулки.

Не знаю. Вполне вероятно, что не одна. Но ведь я рассказываю о своей маме, а для меня она – одна-единственная. Думаю, редко кто отваживался на такие марш-броски, на которые отваживалась она. Дело в том, что до ближайшего города более пятидесяти километров. Прикинем, сколько в летнюю пору прошагала мама, чтобы заполучить курочку. Выходит, поход вылился в сто вёрст. В сто! Не знаю, сколько часов ушло на это. Но сто вёрст мамины ножки прощупали точно. Какая разница – за двадцать ли часов, за девятнадцать? Главное – прощупали!

Курочка ряба, конечно, не несла золотые яйца. Её желтоватые яички в голодное время были на вес золота. Правда, лакомилась ими изредка. Первым делом завели цыплят. Потом начали собирать на продажу. Продавала их на городском рынке тоже, естественно, мама. В конце сентября она вновь пошла в Алексеевку с курочкой рябой и её дарами, а вернулась оттуда – на этот раз на другой день – уже с маленькой игривой козочкой. Радости не было предела! На неё чуть ли не молились. И только тогда, когда козочка начала давать молоко, почувствовали, что жизнь в доме входит в мирные берега.

Весть о мире в хутор тоже принесла мама. Когда в доме закончился керосин, она взяла ржавый пятилитровый бидончик – и в путь. Часто вспоминала:

– Подошла к пригороду, смотрю с крутояра, а Алексеевка вся кумачом подёрнулась. Я – до ближайшего дома. Спрашиваю у худенькой, в чём душа, бабушки, что случилось? Она в ответ: «Радость великая, деточка. Войне конец!»

Какой тут керосин! Летела домой, не чувствуя ног. И хоть поздно было, стучалась в каждый дом. Смеялись взахлёб, рыдали и обнимались до судорог.

В военные годы её назначили почтальоном. Почта находилась в селе за десяток километров. А всё, что получала, надо было разносить по мелким деревянным домам в тридцать-сорок. В день выходило не меньше 30 вёрст. Но разве это было расстоянием для мамы? Так, семечки...

Самое трудное – видеть, как получит солдатка недобрую весть и зайдётся, оседая, истошным вдовьим криком. И её не бросишь, не оставишь в беде. Надо успокоить, уговорить, заставить опомниться. Вспоминала: одной женщине приходили скорбные письма каждый месяц. Сначала не стало мужа. Молчала, надвинув чёрный платок на глаза. Потом не стало старшего сына, потом среднего, потом война подобралась и к младшему. Только тогда, ловя воздух ртом, она медленно опустилась на землю. Мама для таких случаев приберегала нашатырный спирт. Но женщина упорно отводила руку с нашатырём в сторону, приговаривая: «Ради кого теперь жить? Ради кого?»

Вскоре мама поняла: так её надолго не хватит. Начала, как выражалась, мошеничать. В условленный час прислала людей собраться у какого-нибудь дома. Мол, расскажу о новостях с фронта. А после раздавала треугольники. На миру недобрая весть не становилась добрей, мир помогал привести в чувство всех, кого неожиданно окатила тяжёлой, солёной волной беда.

Иногда мама заканчивала воспоминания словами: «Ах, если бы всё можно было поправить, что натворила война, я бы пешком полмира обошла. Да разве это в наших силах?»

– Мама, – говорил я, – поглаживая её, вы не смогли – мы сможем.
Хотя знал: далеко не всё сможем.

Вспомнилась мне частушка. Её часто пели, собравшись в кружок, молодые женщины:

*Ох, проклятая война,
Ты меня обидела –
Ты заставила любить,
Кого я ненавидела!*

Только со временем понял, какой в ней полный отчаяния и драматизма смысл. Половине хуторян, ушедших на фронт, не суждено было вернуться домой. Девятнадцати-, двадцатилетние почти все полегли. Половина из тех, кто вернулся, калеки. А девичьи сердца жаждут ухаживаний, ласки. Выходили на летние гулянки, подкрашивая брови сажей и мелом рисуя на ногах носки: настоящих «аксессуаров» не было и в помине. Все были красавицами. Да не всем довелось даже пригубить радостную, хмельную чашу любви. Потому что на десять девчонок выпадало не девять, как в песне, а самое большее пяток поизносившихся кавалеров. И действительно приходилось любить того, кто вызывал неприязнь. Одним удавалось создать семьи и смириться с этой незавидной участью. А других и она миновала. Хутор расцвёл белёсыми головками малышни-безотцовщины.

Некогда популярный писатель, родившийся перед войной, заметил, что у его поколения не могло быть никаких разногласий с отцами хотя бы потому, что не многие своих отцов помнят. А у нашего поколения не могло быть никаких разногласий с отцами хотя бы потому, что не многие своих отцов знали. В метриках очень часто фигурировали вымышленные отчества. Поднимали ребят на ноги женщины, не рассчитывая на чью-либо помощь. И вот что удивительно: не оказалось среди этой ребятни моего круга никого, кому можно было бы адресовать бранное, судное словцо.

– Мир, сынок, не без червоточинки, – наставляла меня мама. – Но ты придержишься добрых людей. Гниль сама себя обрекает. А доброта – оберег от одиночества.

Образование она тоже относилась к оберегу от одиночества.

Задаю себе вопрос: что бы написала моим учителям мама, если бы возникла такая необходимость? Наверное, написала бы только одну фразу: помогите стать сыну грамотным. Грамотность для неё была абсолютной ценностью, которая автоматически включала мыслимые и немыслимые добрые человеческие начала.

Она искренне считала: коль человек способен читать мудрые книги, знает, он способен отличить добро от зла и обязан быть проводником добра. Мама снисходительно относилась к огрехам в поведении обыкновенных, то есть не имеющих высшего образования людей. Оправдывала: а что с него взять – неуч. И горестно всплёскивала руками, если узнавала, что в неблагоприятном деянии уличили какого-нибудь интеллигента нашего, местного роду-племени. Как же так, удивлялась, у него ведь высшее образование, а ведёт себя как Гришка Отрепьев.

Откуда она знала о существовании этой вполне образованной для своего времени, но страшной личности, утверждать не берусь. Но образованный Отрепьев, вопреки её же логике, был воплощением любого зла. Бражничает – Отрепьев. Ворует – Отрепьев. Лентяй, каких свет не видывал, – тоже Отрепьев. Может быть оттого, что нагло заявил о своей способности, осуждаемой в любой среде, – способности предать?

У мамы образования было, как она сама говаривала, два класса и коридор. Когда в хуторе появились курсы по ликвидации неграмотности, их называли сокращённо ликбезами, бабушка разрешила поучиться месяца два – не больше. Это и были два класса. Остальное – «коридор».

Писала короткие письма прописными буквами, которые напоздали друг на друга. Порой выпадали целые слоги, образуя фразы, которые с трудом поддавались расшифровке. Но каждая строка, составленная из самых обыкновенных слов деревенского обихода, была столь искренней, что читать её без волнения, без предательски подступающего к горлу кома было невозможно. «Моя ты дитятка, ночь на дворе, а я не могу унять своё сердце и пишу тебе письмо».

Всегда думал: вот он, первый закон общения – когда слова идут от сердца, громкие фразы не нужны. А что ночь на дворе, понятно: в летнюю пору время для письма можно было выкроить глубокой ночью.

Нелёгкая доля побуждала маму выпроваживать меня из дома в институт. Моя работа на ферме её обижала, и она не преминула высказываться по этому поводу:

– Ходил в школу десять лет, а что я, неуч, коровам хвосты кручу, что ты. Учись во что бы то ни стало! Если была бы у меня грамотешка, я была бы не хуже Косыгина.

Косыгин, Председатель Совета Министров страны, был для неё почему-то непререкаемым авторитетом. Утверждала: были бы все наверху Косыгиными, жили бы мы «как у Христа за пазухой».

Быть грамотным для мамы означало не только быть человеком, надёжным ангельскими добродетелями. Это означало возможность выбиться в люди – то есть заниматься умственным, а не тяжёлым физическим трудом. Бригадир, агроном, зоотехник – уже хорошо. Если же получил городскую инженерную профессию, отношение к тебе такое, будто слетал в космос. Работа конструктора ли, инженера ли, химика ли почему-то представлялась в деревне упрощённо – как составление бумажек. Гляди-ка, говорили, не голова, а дом советов: станки конструирует. Вот повезло так повезло: бумажки туда-сюда поперекладывал и – домой. А деньжищи-то какие платят – не чета нашим грошам! Поэтому, сынки и дочки, учитесь!

Эти доводы меня не особенно убеждали. Убеждало другое. В хуторе всё равно не жить: на горизонте маячила армия. Армия не смущала, но из части на побывку, когда захочешь, не отпустят. Оставалось одно – институт. А поскольку к тому времени я стал приметным автором районки и даже добирался до областной газеты, то и выбор профессии созрел сам собой – журналистика.

Мама, проконсультировавшись с местными знатоками жизни, выбор одобрила, сославшись на общее стороннее мнение: богатым будет! Хуторяне и сейчас не верят моим утверждениям, что богатство и журналистика – антиподы.

Это – правда, но далеко не вся.

Глава вторая

Всё-таки почему Казань? Некоторые мои приятели полушутя пытаются отвечать на вопрос. По их логике, раз подался в такую даль, значит, ехал к кому-то под крыло. Говорят: рядом Воронежский и Харьковский университеты, до МГУ рукой подать, а ты направился за тридевять земель киселя хлебать. Просто так, прокатиться? Не рассказывай, дружище, сказки...

Против логики оппонентов вроде и возразить нечего. Действительно, так было и есть. Выбьется кто-нибудь из сельских жителей «в люди», укоренится в городе – и потянутся туда братья и сёстры, родственники, а порой просто знакомые. Предоставят тебе на первых порах хотя бы кров – и то помощь. Но в Казани у меня действительно не было ни одной знакомой души. Кто ж, особенно сейчас, поверит, что повлекла в далёком городе по воле случая? Кто ж сейчас поверит, что повлекла в незнакомые края юношеская романтика, а не меркантильный расчёт?

Впрочем, был и расчёт. Месяца за три до экзаменов написал запросы во все университеты страны от Прибалтики до Владивостока, где были факультеты или отделения журналистики, попросив уточнить условия приёма. Послания одновременно опустил в синий почтовый ящик, кособоко притороченный посреди хутора к электрическому столбу, к которому вели дорожки от каждого дома: почта была единственной надёжной связью хутора с внешним миром.

Недели три спустя меня встретил наш письмоносец, женщина кустодиевских форм, которую все величали по отчеству – Романовна. Думаю, если бы её увидел знаменитый художник, обязательно написал бы портрет. Любая купчиха рядом с ней казалась бы сорным цветком. Нрава была весёлого, бойкого, хотя рано овдовела и одна воспитывала пятерых детей.

– Пляши, – сказала, – тебе какая-то татарочка из Казани письмо прислала. Не успел опериться – и сразу нос задрал, на сторону поглядываешь. А подумал, за кого я своих девок буду замуж выдавать? Сам видишь: кровь с молоком, красавицы! Тебя ждут.

Плясать я не стал, пообещав исполнить любое коленце, когда окончу университет.

– Ага, исполнишь, тогда ищи ветра в поле, – доставая конверт из пухлой сумки, продолжала шутить она. – Ладно, плясать не надо, а вот жениться должен обязательно.

Адрес на конверте был не то чтобы написан, а старательно выведен ровным круглым девичьим почерком. Наверное, отличница писала, подумал. Отличница, может, и не отличница, но то, что на мой запрос отвечал человек ответственный, было видно сразу. Некоторые университеты действительно рядом, а первым ответ пришёл из Казани. В тех ответы были стандартные. Чаще всего присылали многократно растиражированные условия поступления, хотя о них я мог узнать в любом справочнике. Иные ответы получил не на русском: мне давали понять, что я не буду успешным абитуриентом. А из Казани ответ на запрос был написан от руки и точно по вопросам, которые меня интересовали. И что после такого тёплого ответа, ответа по делу, искать?

Еду в Казань. Приезжих абитуриентов оказалось немало. У каждого – свои резоны. Одни искали приключений и впечатлений. На четвёртом, последнем экзамене по иностранному языку девушка из Грузии не проронила ни слова.

– Почему вы молчите? – удивился преподаватель.
– Я не изучала иностранный язык, – ответила та.
– А зачем было ехать из Грузии в Казань?
– Думала, до иностранного дело не дойдёт, – обескураживающе призналась абитуриентка.

Не меньше удивили и дед с внуком из Полтавы. Оба в вышиванках. Оба какие-то просветлённые, оба – хозяева тайны, которая за семью печатями. Русский и литературу устно внук похожего на Тараса Бульбу деда завалил.

– Ты винен, – упрекал Тарас Бульба подшефного украинской мовой. – Казав, поидемо в Свердловськ. Чим дали вид центру, тим меньше конкурс. Ни, упёрся – Казань та Казань. Нарвалися на пять чоловик на мисце. В армию пидеш, в армию! Дивись, поумнешь...

И добрая весть из Казани – тоже ещё не всё.

После того, как по нашим местам пронёсся ураганом фронт, остался на хуторе раненый солдат. Лечили его сначала местные знахарки, потом в лазарете, потом в госпитале, но до конца не вылечили. Оказался солдат фронту ненужным. Жил он где-то на Донбассе, но домой не возвратился. Ходили слухи, будто в дом попал немецкий фугас, и никого – ни жены, ни троих детей – в живых не осталось. Поэтому прибился солдат к хуторской женщине, тихой, скромной, беззлобной, тоже потерявшей мужа. Потери возместили, родив шестерых детей.

Жила семья дружно, азартно, весело. Дом, двор, сараи любовно ухожены и облагорожены так, будто завтра здесь собирались играть свадьбу. Выходили на огород сажать, копать, полоть или убирать картошку, копнить сено все вместе, гуртом. И каждый от мала до велика знал, что ему делать. Вроде не спешат, не торопятся, а глядишь – картошка убрана, сено в стожке, кизяки (местное топливо из навоза) высушены и прибраны.

Правда, сам хозяин был не особо разговорчив, ходил, прихрамывая. Он любил тачать большому своему семейству тапочки и сапожки. Получались они особого фасону: мягкие, лёгкие, с узорами. Напялит кусок кожи на колодку и колдует, тихо напевая какую-то песню, в которой часто повторялись незнакомые мне тогда слова «матур кыз».

Мы, детвора, звали его Эти. Что за Эти, почему Эти – никого не интересовало. Родные дети зовут Эти, и мы – Эти. Только позже, повзрослев, выяснил, что наш хуторянин – татарин, что слово «эти» означает «папа», а «матур кыз» – красивая девушка. На самом деле соседа звали Казим – терпеливый, твёрдый, стойкий. Обидит муж жену – а в деревне у нас обижали часто, – тут же слышит: «Эх, ты, хозяин, рот раззявил... Вот Казим – да, хозяин, а ты...» Впрочем, Казим относился ко мне так, что, даже повзрослев и узнав, что означает это слово, я всё равно величал его Эти.

Счастье посещало тогда сельского жителя чаще, чем городского. Жили так, что любая «поблажка» судьбы выглядела счастьем. Выплатили в кои-то веки пару десятков рублей за работу в колхозе – счастье. Выдался год урожайным для картофельных грядок – счастье вдвойне. А уж если сумел заготовить корм для коровы – ты на десятом небе.

Коровёнка, с пяток овец, поросёнок и картофельные грядки на огороде, разумеется, не могли озолотить. Но без них не выучить, не поднять детвору. Да и эту возможность окорачивали, потому что считали: личное хозяйство – рассадник частной собственности. Оно отрывает от общественных забот. Если колхозы и помогали продержаться коровёнку, то как бы нехотя, формы ради.

Однажды мама занедужила, её положили в больницу. Август – самое время заготовки кормов. Нет, не сена, его и колхозному стаду-то вволю не доставалось. Хотя бы чего-нибудь. Колхоз расщедрился. Убранное кашенничное поле разделили на равные участки. Жребий определял, кому какой достанется. Я представлял главу нашего семейства. Дрожащей рукой полез в сложенную пирожком клетчатую фуражку бригадира и вытащил бумажку с номером сто.

– Повезло тебе, парень, – сказал бригадир, – круглая цифра. Не иначе, сена огребёшь – девать некуда будет.

Позже выяснилось: он почему-то злорадствовал надо мной, одиннадцатилетним. Не мог не знать, что мне досталось. Участки выделяли для того, чтобы косить. Но не сено. Стерню. На некоторых, правда, кое-где виднелись то проклюнувшийся осот, то робкий вьюнок, то всходы вездесущей лебеды. Но на моём не было ни сорняков, ни стерни вообще. Всё выбили машины, возившие зерно от комбайнов на ток и проторившие на «наделе» дорогу.

Не знал, что делать. Дома поплакал, достал косу, пошёл к Эти, попросив отбить непослушный инструмент, предназначенный отнюдь не мальцу. Тот долго курил, искоса поглядывая на меня и о чём-то размышляя. Наконец встал со скрипучего стула и размышлял на ходу, припадая на одну ногу.

– Да, брат, задача у тебя... Не заготовишь корма, надо будет коровку со двора сводить. Сведёте коровку, пропадёте сами... Ты вот что, парень, ты на пуп не надейся. Он у тебя ещё не устоялся. Может развязаться. Бери умом. Смотри: за огородами пшеницу скосили, копны свезли. А под копнами полова осталась. Она без остей, и в ней много зерна. Корм лучше сена будет. Я сам намеревался этим промыслом заняться, да ладно, как-нибудь выкрутимся. Бери мешок и таскай полову сколько силёнок хватит.

С участием соседа на его ножной колченогой машинке «Зингер» сшили из старого полосатого матраса мешок, приладили к нему лямки. Получился вместительный, до пят рюкзак.

Полова – это то, что остаётся от обмолоченного зерна. Золотистого цвета, невесомые, скользкие, ласковые чешуйки. Я сгребал их руками в мешок, и они приятно щекотали ладони. А внизу, на самой земле, настоящий клад – до ведра отборной пшеницы. Действительно, зерно к зерну – крупное, увесистое, наливное. Подбирал всё до зернышка.

Я не просто носил полову. Я делал рейсы. Сигналил воображаемым встречным машинам. Приветствовал знакомых шофёров. Остановливался, чтобы залить в радиатор воды – попить из трофейной немецкой алюминиевой фляжки. Иногда сбрасывал мешок-рюкзак, чтобы проследить, как охотится за букашками с зеленоватым отливом ящерица, как деловито шныряет в норку серая полёвка, как заботливо следит за шустрым выводком оставшаяся без гнезда перепёлка.

Ноша была не тяжёлой. Работа превращалась в игру. Игра втягивала. Только вечерами чувствовал, как саднят босые ноги, изъеденные стернёй. Мазал их сметаной, оборачивал остатками старой простыни и блаженно засыпал, чтобы завтра, едва сойдёт роса, вновь отправиться в очередное путешествие за половиной.

Подсчитал: месяца на два корм уже припасён. На оставшиеся четыре месяца каждый день корове нужно три мешка половы. Всего необходимо сделать 360 рейсов. Значит, в моём распоряжении примерно месяц. Каждый рейс – километра в два-три. Сделал, освободив неоглядное поле от остатков урожая и тем самым подарив трактористам лёгкую, беззаботную вспашку зяби.

Когда мама вернулась из больницы, я повёл её в сарай, доверху набитый половиной.

– Смотри мам, что я натворил.

Единственный раз в жизни я видел маму плачущей навзрыд. Она опустилась на колени, нагребала пригоршни половы, пропуская её через растопыренные пальцы и сквозь слёзы приговаривая:

– Дитяtko ты моё, дитяtko... Дитяtko ты моё, дитяtko...

После зимовки мы вывели бурёнку в стадо. Полова оказалась эликсиром молодости: по оценке мамы, в стаде наша корова смотрелась не хуже невесты.

Выпадали ситуации, о которых дома я предпочитал не распространяться. За нашими огородами посеяли кукурузу. Кукуруза выросла что лес. Зайдёшь

в посевы – солнца не видать. На початки и стебли посягать не полагалось. Не ровён час, обвинят в краже колхозного добра. А промышлять сорняком считалось не грех. Междурядья посевов были чистыми, но в рядках, особенно там, где не взошли семена, находило пристанище куриное просо – густой, сочный сорняк, заканчивающийся небольшой метёлкой с семенами, похожими на просо, но помельче. Его у нас называли собачкой за длинные, острые, клиновидные листья. Неосторожно проведёшь рукой – тут же «укусит», оставив, будто бритва, на ладони кровоточащую полоску. За этой самой собачкой и охотились, подрезая её серпом и набивая мешки. Груз вываливали на огороде, он высыхал и был, конечно, не сеном, но и не соломой. За резкой собачки меня застал объездчик. Проще говоря, сторож, который разъезжал по полям верхом на лошади.

Сторож был однорук, скрытен. Он появлялся всегда неожиданно и доставлял немало хлопот всем, кто охотился за собачкой на колхозных плантациях. Теперь попался и я. Сижу на карточках, режу старым, с зазубринами серпом брызжущий соком сорняк.

– Ты что ж, щенок, делаешь? – слышу вкрадчивый голос объездчика. – Сейчас я тебя, гадёныша, проучу.

Вижу, как над всадником взвился длинный кнут, который вот-вот опустит мне на голову его левая рука. Правая лишь слегка всколыхнулась, похожая на обрезанное крыло: руку сторож потерял на войне.

Я не стал убегать. Я медленно поднялся с корточек, широко расставив босые ноги, отвёл руку с серпом в сторону и чеканил слово за словом:

– Только тронь! И тебе брюхо вспорю, и лошади!

Рука побелела, сжимая серп. Губы и ноги дрожали. Рубашка взмокла от пота.

Вид мой испугал объездчика не на шутку. Он ретировался, сказав:

– Шпаны у нас не было, так вот вылупилась.

Я приготовился к худшему. Доложит бригадиру, тот – председателю. И начнут обвинять во всех смертных грехах матушку. Пошёл к Эти, рассказал о происшествии. Тот погладил меня по голове: не волнуйся, всё обойдётся, я с ним поговорю. Не знаю, разговаривал ли. Только объездчик о моём своеволии никому не докладывал. Но встречи со мной избегал и за глаза обзывал словами, в ряду которых «гадёныш» было самым пристойным.

Поэтому постепенно под влиянием Эти у меня сложилось убеждение, что он представляет добрый, работающий, заботливый народ. Почему бы среди этого народа не пожить? И в самом деле – почему? Поехал пожить. С тех пор 50 лет прошло. Не жалею.

Глава третья

Глубинка – не синоним дну, собирающему нечистоты. Напротив, любая нечистоплотность, хоть физическая, хоть нравственная, в любом сельце гораздо заметнее, чем в самом благословенном городе. А чем заметнее пятна, тем легче их вывести. Да и отношения между людьми здесь искреннее и душевнее, без «цивилизованного» цинизма.

И в первую очередь это относится к моим учителям, к школе. Из-за особого отношения к грамоте школа воспринималась не как какое-то казённое учреждение, а как храм, куда ходят причаститься, исповедоваться.

Да, моя школа, даже отдалённо не напоминающая храм, воспринималась именно как храм. Это единственное в округе здание было крыто дефи-

цитным шифером. Высокие, до потолка (а потолки метра в три), и одновременно узковатые, похожие на готические окна просторных классов были развёрнуты на юг, на сад и пруд. Оттого-то в наших партах весной гнездились ароматы цветущих груш и яблонь, а осенью – спелых антоновских яблок. Зимой же даже в самые пасмурные, хмурые дни в классах было светло. Нетипичные для наших мест печки-голландки тоже являлись своеобразным украшением классов, хотя надо признать, что в холодные январские дни не спасали и они. Чернила в стеклянных чернильницах-непроливайках непременно замерзали.

Для полноты картины: мы, дети деревенских мазанок с повсеместными тогда земляными полами, приводимыми в порядок к престольным праздникам с помощью смеси из коровьего навоза и глины, первого сентября приходим в школу. Внешне школа тоже походила на мазанку: деревянный сруб был обмазан всё той же глиной и побелён. Но это – внешне.

А интерьер... Какую же роскошь скрывал этот самый интерьер! Заходишь внутрь, а там ликующе, празднично встречают тебя дощатые полы, выкрашенные коричневой краской. Такие полы – единственные в округе! Там подновлённые, подкрашенные парты, улыбающиеся, подмарафеченные школьные доски, на которых мелки оставляли чёткие, резкие следы. Там нарядные учителя. Там учебники, как блинчики, будто только что специально испечённые для нас. Там запахи и звуки, которых нигде более не встретишь. Непередаваемо! Незабываемо!

Метрах в двадцати от школы рос дуб. Ещё тогда ему было годов этак триста. Высотой он, пожалуй, с десятиэтажный дом, а в обхвате – метра четыре. Видимо, когда-то таких дубов было много. Они и дали хутору столь необычное название – Старый Редкодуб. Но к моим школьным годам остался один великан, который сейчас причислен к памятникам природы. Рядом с ним осины тоже почтенного возраста.

Бывало, осенью дождёшься перемены, подбежишь к дубу, приобнимешь его, хватанёшь ключевой воды из расположенного под деревьями-великанами колодца и чувствуешь себя тоже великаном. Но надо ещё сбегать к высокому, статным грушам, стволы которых обрамляла листва лишь на самом верху. Подскочишь, а тебе подарок в пожухшей под деревьями листве – несколько лежалых одичавших плодов. Схватишь этот подарок – и в школу. На уроке вытрешь плод рукавом рубашки и гоняешь во рту лежалую грушу, как конфету, решая задачи и осиливая премудрости грамматики или в какой-то сладостной истоме мысленно повторяя вслед за учителем очень уж уютные, тёплые пушкинские строки:

*...Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...*

Школьное здание было построено до войны. Пришельцы с того света, как называли фашистов в наших хуторах, устроили в школе нечто вроде госпиталя, а в конце концов превратили её в нужник. Отмывали, охорашивали, выводили запахи нечисти всем миром.

Рассказывая об оккупации, нам, детям, много говорили о «фашистском отродье», но не уточняли, кто входил в это самое «отродье». Конкретизировать было, видимо, нежелательно, чтобы не бросать тень на некоторых наших друзей. Например, венгров. Хотя они злобствовали, и злобствовали

не меньше немцев. В самом центре Старого Редкодуба венгры для профилактики соорудили виселицу. Чуть что, подведут, покажут: смотри, мол, будешь болтаться на верёвке.

Жила в этом хуторе семья деда Кобзева. Её глава – сильный, бычьей упёртости старик – отличался крутым нравом. Сказал что-то обидное прихвостням оккупантов из местных – были, увы, в хуторах и такие.

– Ах ты, красная гнида, – те в ответ, – у тебя два сына на фронте, а ты ещё и выпендриваться? По тебе виселица давно соскучилась. Ожидай, ночью придём.

Что оставалось делать? Попрощался с семейством, отправив внуков и жену к дальним родственникам. Надел чистое бельё. Сидит ждёт гостей. В руках топор. Встречать так встречать! Полночь минула – никто не идёт. Наконец под утро стук в окошко. Но стук не настойчивый, не повелительный, а сторожкий, несмелый. Дед, сжав топор и перекрестившись, пошёл открывать. Оказалось – наши, разведчики.

– Кто ж так встречает гостей? – упрекнули хозяина. – Мы с добром, а он с топором.

А дед бросил топор под лавку, перекрестился, трижды по-русски поцеловался с каждым ночным визитёром и схватился за сердце. Еле откачали.

В других местах не обошлось без крови. В соседнем хуторе фашисты мужчин расстреляли, дома, ограбив, подожгли. Погибли 49 человек. Естественно, земляки старались мстить оккупантам за эти страдания.

С моей школой тесно связана судьба двух Героев Советского Союза. Знаю, в стране есть школы, которые воспитали гораздо больше героев. Но школ, в которых педагог-герой учил ученика-героя, можно, наверное, пересчитать по пальцам одной руки. Учитель Алексей Жданов встретил только 27 вёсен. 14 июля 1944 года в Белоруссии батальон майора Жданова попал в окружение. Майор организовал круговую оборону и в течение нескольких часов отбивал контратаки фашистов. Подразделение сумело прорвать кольцо, но майор получил смертельное ранение. Стал Героем Советского Союза посмертно.

Его ученик – Михаил Чубарых – увидел только семнадцать вёсен. Наши хутора были освобождены 18 января 1943 года, а уже через несколько дней он стал семнадцатилетним пулемётчиком 569-го стрелкового полка 40-й армии Воронежского фронта. Воины 40-й армии рвались через Курскую дугу к Днепру. Рвался в бой и младший сержант Михаил Чубарых. Вот выписка из дела о награждении моего земляка медалью «За отвагу»: «Наводчик пулроты (так в тексте. – А.М.) второго стрелкового батальона младший сержант Чубарых Михаил Дмитриевич в бою за хутор Волошино Полтавской области 15 сентября 1943 года проявил бесстрашие и отвагу – ворвался в расположение боевой точки противника, гранатами уничтожил пулемёт и четырёх фашистов, чем облегчил задачу группы 2-го стрелкового батальона по овладению населённым пунктом».

Через неделю он снова отличился – при форсировании Днепра в Черкасской области Украины. Под ураганным миномётным и пулемётным огнём фашистов в составе группы захвата переправился через Днепр и захватил плацдарм.

Помнится украинская песня «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч...» Слишком широк, если мерять меркой войсковой операции. Тысячи жизней красноармейцев – вот какой дорогой ценой была оплачена оборона плацдарма. Гитлеровцы не единожды контратаковали, пытались сбросить горстку смельчаков в реку. Не получилось. Своими действиями в боях за удержание

плацдарма на правом берегу Днепра пулемётчик Чубарых «способствовал форсированию реки другими подразделениями полка», говорится в наградном листе. О том, какое значение придавало командование этой войсковой операции и каков был масштаб героизма, свидетельствует Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года, которым 137 участникам боёв было присвоено звание Героя Советского Союза. Моему земляку – тоже. Повторюсь, Михаилу Чубарых оно присвоено в 17 лет. Из 187 белгородцев – Героев Советского Союза, получивших это звание во время Великой Отечественной войны, лишь ещё один наш воин тоже стал героем в столь юном возрасте. Погиб младший сержант Чубарых в июле 1944 года в 18 лет у ныне украинского города Ивано-Франковска.

Конечно, в школе проводили военно-патриотические уроки. Писали сочинения, организовывали линейки памяти и много чего ещё. Но ведь дело не только в этих самых мероприятиях, но и в общей атмосфере, которая сложилась в тот период в стране, в районе, в школе.

Проведу аналогию. Наверное, каждый верующий грешен. Но на стезю греха он ступает с оглядкой на Всевышнего. И эта «оглядка» оберегает, «отговаривает» от многих неблагоприятных, греховных поступков. Мы, школьники, тоже не были паиньками. Мы хулиганили и дрались. Мы не учили уроки или учили их кое-как. Мы обижали девчонок и в раннем возрасте пытались покуривать, опустошая отцовские кисеты. Мы были такие, как все. Но мы всегда проецировали жизнь героев на наше поведение, и именно это проецирование избавляло нас от многих опрометчивостей. Высоцкий написал по этому поводу прекрасную фразу: «Наши павшие – как часовые». Воистину – часовые!

Только сейчас я стал задумываться, какое это своеобразное явление – школа. Животным и птицам без родительского внимания не обойтись. Но оно, как правило, непродолжительно, скоротечно. Нужная для жизни информация передаётся на генном уровне. А для того, чтобы отправить в самостоятельный жизненный полёт человека, уходит минимум полтора десятка лет. Родительского опыта уже не хватает. Нужны опыт и знания людей, специально подготовленных. Это не нанятые родителями гувернёры, мамки и няньки, не выписанные из-за кордона мастера хороших манер и заморских языков. Они – местные, от сохи. Они не киношные, не литературно намарафеченные, а живые, из плоти и крови люди, делившие с нами будни и праздники.

Будней, конечно, было больше. Порою – трагических. Однажды мои сверстники нашли ржавый снаряд времён войны. Сразу после оккупации снарядов, мин, патронов было как грибов в урожайный год. Постепенно «урожай войны» собрали и уничтожили. Но кое-что осталось в земле и иногда обнаруживалось в самых неожиданных местах. А у подростков была и есть одна страсть: копь найден снаряд, мина или граната, их непременно надо либо разобрать на детали, либо взорвать. Решили взрывать. В глубоком овраге развели костёр, положили смертоносную находку и залегли метрах в 30, ожидая взрыва. Костёр прогорел, а взрыва нет. Надумали посмотреть, что случилось. Только подошли к злополучному оврагу – и ахнуло. Нескольких искателей приключений тяжело ранило. Их спасло лишь то, что наши учителя сдали кровь для переливания. Война закончилась полтора десятка лет назад. Но исподволь она ещё искала жертв, метя даже в нас, несмышлёную и доверчивую сельскую ребятню.

Перед глазами в чуткой памяти всплывает одна картина за другой.

Первый класс. Октябрь.

Третий день лежу дома – болею. От высокой температуры наступит безразличное ползузабытьё. Познабывает. Мама в поле – всюю разыгралась свекловичная страда. Идёт мелкий осенний дождь. В горнице сумрачно и прохладно: уголь, засыпанный в печку утром, видимо, уже прогорел. Лежу и думаю о том, что заболел некстати. Пошёл в школу, не умея ни писать, ни читать, и даже не зная букв и не умея считать. Правда, в классе не один я такой. Но все учатся, а я лежу с матрасом в обнимку. Как потом навёрстывать?

Вдруг слышу знакомый голос:

– Можно к вам?

Оказалось, гость неожиданный: моя учительница Мария Ивановна. Я относился к ней насторожённо. Ходила не как все – в хромовых сапогах и тёмно-синем осеннем пальто, напоминающем френч. На щеках – паутинки красных мелких сосудов. Голова не покрыта, а как-то небрежно замотана шалью; шаль постоянно сползала на шею, открывая жидкие волосы с пробором посередине и с кудряшками по бокам. А главное – учительница курила, что было предосудительно в нашей сельской среде.

Слышу, как в прихожей гостя шумно снимает пальто, сапоги, и, предчувствуя недружелюбный разговор, съёживаюсь под одеялом.

Она как-то неуклюже, видимо, оттого что комнатные тапочки были не по размеру, вошла в горницу и прикоснулась холодной рукой ко лбу.

– Да, болеем, молодой человек, болеем, – неопределённо сказала гостя. – Уж не на уроках ли просквозило тебя?

– Нет. Воды холодной напился. Из родника, – пролепетал я.

– А как же из родника не напиться, правда? В школу хочешь?

– Хочу!

– Раз в школу хочешь, вылечимся!

Узнав, где что у нас хранится, принялась хозяйничать. Через полчаса на чугунной плите печки, наслаждавшейся очередной порцией антрацита, весело позванивала крышка кипящего чайника. На накрытом газетой стуле рядом с кроватью уместились дольки чёрного хлеба и похожее на ромашки печенье. В центре появилось самое главное – игрушечного размера керамический кувшинчик, до краёв наполненный густой массой тёмно-коричневого цвета. «Мёд, свежий гречишный мёд! – с замиранием сердца определил я. – Вот это повезло!»

Действительно повезло. Мёдом доводилось лакомиться лишь раз в году, на Медовый Спас, церковный праздник, который бывает в середине августа.

Несколько хуторян держали пасеки. Пасеки – громко сказано. Так, с десятков ульев, расставленных у дома. Хозяева не вывозили ульи поближе к цветущим полям подсолнечника, гречихи, кориандра или клевера. Всё лето пчёлы были на «подножном корму», поэтому мёда набирали немного. И лишь один старичок, обличьем напоминавший киношного отшельника – бородатый, в выпущенной поверх брюк холщовой рубашке, – делился мёдом с нами, детворой. Было это как раз на Медовый Спас. Фамилия у нашего благодетеля была Толмачёв, но все звали его дедом Толмачом.

Напоминать о празднике нам было не надо. С раннего утра мы роём вилы у колхозного амбара, находящегося недалеко от дома нашего покровителя. Мы вроде играли, но каждый косился в сторону дома, и каждого преследовала мысль о том, пригласят ли нас на этот раз отведать медку. О том, что мы не прочь полакомиться, сигнализировали вполне определённо. И у дома ни свет ни заря собрались, и играли нехотя, и смеялись чересчур громко, вызываясь, с тем расчётом, чтобы там, за подслеповатыми окнами,

знали: мы пришли и в любую минуту готовы продегустировать содержимое молочной алюминиевой фляги, закрывающейся крышкой с плотной чёрной резиной по окружности.

Наконец дед Толмач выходил на крыльцо и бодреньким голосом говорил одну и ту же фразу:

– Эй, хлопцы, прошу пожаловать к столу! Как-никак Божий праздник.

Хлопцы жаловали бегущей к дому наперегонки ватагой, кое-как мыли руки холодной водой из притороченного к вербе рукомойника и спешили в горницу, деловито, по-свойски усаживаясь на самодельные деревянные лавки за грубо сработанный стол. Против каждого – деревянная некрашеная ложка, алюминиевая кружка с родниковой водой и несколько ломтей свежеспечённого хлеба. А украшала стол большая деревянная чашка, полная мёда.

Мёд был разный. Иногда маслянисто-янтарного цвета – подсолнечный, иногда посветлей – цветочный. Но всегда свежий, с цветочными остатками. Нас дождался.

И наши ложки пчёлами кружились над чашей, норovia принести взятку пополнил. Ложки наполнялись через край, и под ними янтарными серьгами повисали медовые капли, пытавшиеся соскользнуть на стол. Надо было ловко поставить под эту падающую сосульку кусок хлеба и отправить улов в рот.

В небольшой горнице воцарялась тишина. Только сопели наши носы и глухо стучали ложки о край блюда. Что за лакомство – свежий, пахнущий всеми погожими днями лета мёд, обжигающий горло, со свежей выпечки хлебом, слегка отдающим чабрецом! А ещё родниковая, хрустальная вода. Без воды Медовый Спас нашим праздником назвать было бы трудно: мёда много не съешь. Ложек с десятков сразу, пожалуй, осилить можно. Но ведь нужно наесться на целый год! Цедишь прохладную влагу и чувствуешь, как она медленно пробирается по нутру – до самой души. Две полные ложки яства на полстакана воды в самый раз.

Дед Толмач сидит, хитро поглядывая на нас.

– Вот орлы так орлы! По еде сразу видно, кто будет работник, а кто работник. Как мёд на животах ещё не выступил?

– Не выступил, не выступил, – хором отвечаем мы, опасливо пощупывая свои животы, налившиеся арбузами.

Блюдо быстро пустеет. Мы вытираем ложки остатками хлеба, потом облизываем их и осоловело встаём из-за стола.

Хозяин стоит у двери и поглаживает голову каждого.

– Богатыри, прямо настоящие богатыри! – похваливает напоследок.

Как при таких словах, при таком угощении не распрямить плечи, не втянуть живот, расpiraемый водой, хлебом и мёдом?!

А сейчас мне персонально принесли мёд, а не я за ним ходил! Гостья подсовывает мне под спину пуховую подушку, и полужёжа я потчуюсь липовым чаем и мёдом. К печенью в виде ромашек не притрагиваюсь – так, баловство. Липовый чай с мёдом пью в первый раз. Вкус непривычно блаженный. Меня бросает в пот, я куда-то проваливаюсь и не слышу, а скорее угадываю голос учительницы, которая, сидя на стуле с чашкой чая, говорит, что завтра она придёт с фельшером, а потом, денька через три, будет ходить ко мне после уроков каждый день. Иначе действительно отстану от одноклассников, и будет худо.

Слово сдержала. Ежедневные путешествия в шесть километров по осеннему бездорожью, казалось, только раззадоривали её. Раскрасневшаяся, возбуждённая, она минут двадцать приходила в себя за чашкой чая, а потом мы

осиливали тайны букваря и арифметики. Мы быстро нашли ключик и к тому, и к другому.

Оказалось, многие буквы похожи на птиц, животных, предметы, которые нас окружают. В слове «ёж» две буквы и обе колючие, действительно похожие на ежа; колесо – вылитая буква «о», мордочка совы похожа на букву «ф», а слово «уж» тянется так змеевидно, как и сама рептилия. Цифры тоже подчиняются природе. Единица – вылитый гусь с вытянутой шеей, двойка – наш кот, который сидит на полу, греясь у печки, восьмёрка очень похожа на снеговик, а шестёрка – утка, возвращающаяся под вечер домой с пруда.

Под конец урока мы всегда учились прибавлять и вычитать. Тренировались на бокастых красных яблоках, которые учительница припасала в портфеле. Последним действием было вычитание.

– На стуле четыре яблока. Предположим, что два съел добрый молодец. Кто у нас добрый молодец? Правильно, ты. Давай, ешь.

Я налегал на яблоки. Они пахли садом. Я старался есть фрукты степенно, но не всегда мог справиться с собою. Зубы сами вгрызались в плотную белую мякоть. Она хрустела, стонала и охала, брызги кисло-сладкого сока летели во все стороны. Не успеешь моргнуть, а яблок нет.

– Ну что, справился, добрый молодец? Молодец. Так сколько яблок осталось на стуле? – интересовалась учительница.

Я отвечал и получал оставшиеся плоды в награду за правильный ответ.

Я уж стал привыкать к визитам Марии Ивановны и каждый день с нетерпением ожидал, когда раздастся заветное: «Можно к вам?»

Выздоровливать не очень хотелось. Хотелось, чтобы эти персональные уроки, подарившие маленький ключик к осмысленному усвоению букв и цифр, длились как можно дольше. Хотелось, чтобы под подушкой всегда лежали её дары – глянцевиные, крутолобые, краснощёкие яблоки. Чтобы я время от времени приподнимал подушку, поглядывая на своё сокровище. И чтобы настенные ходики заговорщицки подмигивали мне кошачьими глазами, двигавшимися туда-сюда вместе с маятником.

Из закоулков памяти, словно из тумана, медленно выплывает другая картина.

Шестой класс. Урок русского.

Только что повелительно и коротко, по-армейски школьный звонок известил о том, что парты заждались нас с перемены. Шумно, весело усаживаемся, разгорячённые игрой в лапту. У шестиклассников это не просто игра, это уже игра со значением, со смыслом.

Вот тебе подбрасывают красно-синий мячик величиной с куриное яйцо, и ты, слегка присев, молодецки развернув плечо, поднимаешь его лёгкой ошкуренной кленовой битой до самого облака, которое, наверное, в первый раз видит такой отчаянный удар.

Вот ты, изгибаясь всем телом, заячьими зигзагами бежишь в городок соперника и возвращаешься восвояси, чудесным образом избегая «салок» мячом.

Вот ты ловишь мяч, поднятый битой соперника в высокую свечку.

Ты делаешь это с такой доблестью и отвагой, будто спасаешь человечество от нашествия варваров. И всё – ради неё. Ради той, с косичками, с пышными бантами, с ажурным белым воротничком на точёной шейке, которая сидит впереди тебя. Твоя доблесть замечена и высоко оценена: прежде чем усесться за парту, она (она!) оборачивается и показывает тебе (тебе!) язык.

Но вот задвинуты в парты портфели, с глухим стуком захлопнуты крышки, заняли своё место ручки, упакованные в обложки из газет учебники и тетради. Класс замирает. Любопытное весеннее солнышко внимательно разглядывает каждого.

Мы ожидаем уроков по-разному. Одни с нетерпением, другие с равнодушием, а третьи, может быть, даже с неприязнью. Но к урокам русского языка и литературы это не относится. Они желанны. Они по душе всем. И вот как-то торжественно, радостно, будто сама собой открывается дверь, и в класс заходит наша учительница Ульяна Митрофановна с кипой прижатых к груди разноцветных тетрадей и указкой. Ничего в ней, казалось бы, особенного. Девичьи годы позади, слегка полновата, скроена по-крестьянски, с небольшим излишеством израсходованного материала. А стоит только появиться в классе, и ты оказываешься в её теплой ауре, обнимающей со всех сторон и невольно гипнотизирующей тебя.

Сегодня она непривычно торжественна. Бережно опустила стопку тетрадей на стол.

– Ох, – говорит грудным голосом, – еле донесла эту кипу. Столько хороших оценок за диктант поставила, что тетради распухли от радости. Но только один из вас написал на пятёрку. Отгадайте, кто?

Гадаем. Называем, конечно, имена отличников.

Она ходит между рядами парт, гладит каждого по голове и с удовольствием твердит: нет, не угадали.

Перебрали почти всех. Не называть же одноклассника, который перебивался с двойки на тройку! Не потому, что не хотел учиться. Ну не давался ему наш великий и могучий! Но выяснилось, что именно он и написал диктант без единой ошибки. Сенсация даже не классного – школьного масштаба! Как ему удалось вместе с учителем на занятиях после уроков отгадать загадки языка – осталось тайной. Класс цепенеет. Одноклассник стоит, сторбившись, будто его уличили в чём-то неблагоприятном, и его плечи сотрясают рыдания. Ведь эта похвала в школе, наверное, первая за шесть лет.

– Вот видите, ребята, мы всё можем. Надо только верить в себя, – говорит учительница, отворачиваясь от нас и вытирая носовым платком в клеточку так не вовремя появившиеся, непослушные слёзы.

– Мы всё можем. Надо только верить в себя... Мы всё можем. Надо только верить в себя...

«Мы всё можем. Надо только верить в себя...» Я часто повторяю эти слова сейчас – и себе, и знакомым.

Осень. Октябрьский ненастный день. Я пришёл из школы, наскоро пообедал, минут двадцать почитал книжку и, переодевшись, пошёл на огород. В те поры осенняя страда была сродни фронтовой. Родители на колхозных полях, а огороды поручались детям и старикам. На нашем осталась только свёкла. Слава Богу – не сахарная, которую из земли вытаскивать что пни корчевать, а обычная, кормовая, для домашней живности.

Я быстро надёргал кучу желтоватых головастых корней, примостился около них на невысокий деревянный стульчик, накрывшись плащом, и начал очищать свёклу от ботвы и земли. Чищу и одновременно учу иностранный. Напротив меня – накрытый осколком стекла лист бумаги, на котором переписано стихотворение на немецком языке – приём, изобретённый мной давно.

Стихотворение надо выучить сейчас. На вечер много письменных заданий. Всё не успею. Засну.

Сижу, чищу свёклу и, время от времени заглядывая в листок под стеклом, талдычу: «Майн брудер ист айн тракторист ин унзерем колхоз, унд во зайн трактор пфлюгт, да ист ди ернте райх унд гроз». В олитературенном переводе с немецкого это означает: «Мой брат – колхозный тракторист, где он пашет, там прекрасный урожай».

Слышу, кто-то сзади кашлянул раз, другой. Оборачиваюсь – и глазам не верю: преподаватель немецкого Иван Ильич. Он же – классный руководитель. Уж не случилось ли что? Не случилось. Учитель, сделав, как и я, трёхкилометровый бросок по раскисшей чернозёмной дороге, решил узнать, чем занимается его подопечный дома. Он оглядел плантацию и, видимо, уловив в моих глазах растерянность, погладил меня по плечу, приговаривая: «Ничего, не тушуйся. Осталось денька на два. Ты у нас сильный мужик. Ты справишься!»

Потом выяснилось, что в течение недели он побывал у каждого одноклассника. А ведь жили они в хуторах, разбежавшихся веером на расстояние в три-пять километров от школы. На уроке рассказал нам о впечатлениях, рассказал, разумеется, только о хорошем. Упомянул о моём «опыте» подготовки домашних заданий по немецкому, заметив только, что читать шестикласснику «Угрюм-реку» Вячеслава Шишкова, пожалуй, рановато.

Школа наша была сначала семилеткой, а потом восьмилеткой. До среднего образования мы добирали в школах соседних крупных сёл. И вот что закономерно: и в новых коллективах наши ребята и девчонки, как правило, задавали тон. И не было в стране университетов и институтов, двери которых они бы не смогли открыть.

Глава четвёртая

Рассказываю подробно о школе, чтобы подчеркнуть: живя в глубинке географической, мы никогда не жили в глубинке образовательной. В знании физики, химии, литературы или истории мы могли потягаться со сверстниками, выросшими на асфальте. Но отдалённость, отрезанность от городской среды рождала странные представления о ней и комичные, а то и нелепые попытки в неё вписаться. Могло ли быть по-другому, если, например, в первый раз даже в заштатный городок я попал лет в 16, а на первый театральный спектакль сходил отнюдь не в школьном возрасте? Но Казань была снисходительна ко мне, старалась, чтобы моё бледное брэнное тело деревенского паренька постепенно покрывалось благородным загаром городской цивилизованности.

Когда ехал в Казань, почему-то казалось, что абитуриент непременно должен быть с гитарой, в спортивном хлопчатобумажном трико и модных тогда кедах. Поехал. Приложение к этим аксессуарам – два чемодана с книгами.

На экзамены я приехал раньше времени, рассчитывая в тишине библиотек и в отрыве от домашних забот быстрее устранить огрехи в школьной программе, которые оставили и лень, и вечная занятость хозяйством, и, конечно, ночные гулянья.

Студенты на каникулы ещё не разъехались, поэтому на общежитие надеяться не приходилось. Решил остановиться в гостинице. Разбитной таксист за считанные минуты подбросил меня до ближайшего отеля и получил вознаграждение в виде горсти пятак. На вид много, а на поверку всего 50 копеек. Таксист хмыкнул, но пересчитывать мелочь не стал. Он не знал, что, подчиняясь хуторским наставлениям, пятаки я приготовил заранее, чтобы не показывать кошелек и не быть обчитанным. Меня, брат, не обманешь!

Отелем оказалась гостиница «Казань».

Тут меня будто кипятком ошпарили: свободных мест нет. Как нет? А куда девать два чемодана книг и гитару? Не мотаться же на такси по всему городу в поисках приюта? Я остался сидеть в небольшом зальчике, с удручённым видом время от времени прикладываясь к звонким струнам гитары тёмно-вишнёвого цвета.

Наступил вечер. Моего обидчика, пожилую усталую женщину, сменила девушка с едва заметными восточными чертами лица. То ли я донял её несмелыми минорными аккордами, то ли вид у меня был как у мокрого воробья, но она смилостивилась. Слышу, обращается по-свойски:

– Менестрель, давайте ваш паспорт, кровать в трёхместном номере досрочно освободилась.

А паспорта у меня не было и быть не могло. В те времена жителям сельской местности их без особой нужды не выдавали. Даже для поездки на экзамены мне на половине тетрадного листа в клеточку написали справку, согласно которой её обладатель такого-то года рождения проживает там-то. И сельсоветская печать. Всё. Фотографии, других примет моей персоны справка не содержала.

Протягиваю злополучный листок в клеточку. Девушка, повертев его в руках, с улыбкой сказала:

– Да-а-а... редкий документ. Вас будто специально замаскировали. Слушайте, а вы часом не агент вражеской разведки?

– Закордонным агентам выдают подлинники. Колхозным вот такие, в клеточку. Чтобы все знали: не свой, – отшутился я.

В номер я был определён.

Живу.

Узнал, что «Казань» – старинная гостиница города. Знаменитостей, которые хаживали её коридорами, не счесть. Говорят, даже Троцкий выступал с её балкона перед горожанами с пламенными революционными речами. Но главным для меня было то, что отель находился в десятке минут ходьбы до университета. Местом подготовки к предстоящим экзаменам выбрал почему-то бетонное обрамление речки Казанки – рядом с мостом, под который ныряла река. Почему облюбовал это местечко? Наверное, потому, что бетонное ложе не позволяло вздремнуть и было рядом с кремлём. Любопытный кремль для меня и сейчас что-то сказочное. Тогда, увиденный вживую впервые, – тем более. Разыгралась фантазия.

Ага, решил я, в этом сказочном кремле должны обитать богатыри вроде Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича. Примощусь-ка рядом с ними. На всякий случай.

На этих прогретых жарким летним солнцем плитах целыми днями загружал абитуриентскую кладовую нужными и ненужными знаниями.

Оказалось, переусердствовал. На экзамене по литературе мне потребовалось охарактеризовать фамусовское общество по «Горе от ума» Грибоедова. Характеризирую:

*А судьи кто? – За древностью лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Вреён Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже...*

– Пойдите, пойдите, – замахал руками молодой, высокий, с медного цвета лицом и волосами экзаменатор, – вы что, монолог Чацкого наизусть знаете?

– Всё «Горе от ума» знаю.

– Это ваше любимое произведение?

– Люблю Лермонтова.

– А зачем учили «Горе от ума»?

– В справочнике сказано: знать – я и выучил.

– Но там сказано, что надо знать и «Евгения Онегина», и «Маскарад».

– Я их тоже выучил.

Экзаменатор переглянулся с коллегой, моложавой женщиной. Улыбнувшись, они отпустили меня с миром.

Я несколько забежал вперёд. Почти сразу, до экзаменов, обнаружилось, что меня поджидает мель. Финансовая мель. Приехав в Казань с несметным богатством рублей в 150, хранящихся в тайничке, сделанном в чемодане, я рассчитал всё. Отложил сумму, которая пойдёт на оплату гостиницы с учётом самых благоприятных обстоятельств, деньги на обратную дорогу. На еду приходился рубль в день. Рублей с десятков было заначено на карманные расходы.

Как-то решил заглянуть в университет, поинтересоваться новостями приёмной комиссии. Вышел к нему не по улице Ленина (ныне Кремлёвской), как обычно, а с фасада, оттуда, где сегодня новое гуманитарное здание. Вышел и обомлел от потрясающего вида: навстречу мне, будто гостеприимный хозяин, широко распахнувший руки, белым лебедем спешит КГУ. Позже доводилось видеть здания разных университетов. Однако ни один из них не произвёл впечатления более благоприятного, чем Казанский. МГУ, конечно, великолепен, но слишком давит громадой, будто заранее требуя признания во всех земных грехах. Санкт-Петербургский почему-то показался похожим на гусарские казармы, а Вильнюсский с его многочисленными двориками – на приходящую в упадок древнюю крепость.

Тогда, несколько десятилетий назад, на миг подумалось, что я уже в университетском седле. Не может же такой гостеприимный хозяин разочаровать меня!

Оказалось, может. Подходя к зданию, я вдруг обнаружил, что на меня смотрят как-то странновато. Нет, не с презрением, а скорее с сожалением. Слышу, высокая накрашенная девица говорит спутнику:

– Смотри, дорогой, вон ещё одна деревня приехала покорять alma mater.

– С чего ты взяла?

– Надел какую-то халабудину и шастает. Думает, модно...

Диалог выбил меня из казавшегося освоенным абитуриентского седла. Надо было срочно забираться на него вновь. Решил приодеться. Между решением приодеться и покупкой – целая пропасть. В магазинах на мой рост – шаром покати. Пришлось покупать в ателье рубашку и кожаные туфли на высоком каблуке и шить на заказ расклешённые брюки модного тогда цвета хаки. Всё обошлось рублей в сорок. Сшили аккуратно к экзаменам. И сшили хорошо. Хуторские мадонны после возвращения из Казани язвительно предполагали, что я не экзамены сдавал, а тайно ездил на модные показы. Заодно в университет поступил.

Знали бы они, чего мне это стоило! Непредусмотренные покупки опустошили финансовый тайник. Надо было тратить на еду максимум 50 копеек в день. Вот тогда-то я понял, что такое жить, пребывая с хлеба на воду. Понял тогда, а в университете это понятие основательно закрепил.

В самый разгар экзаменов мне ещё раз несказанно повезло: в номер поселили лётчика. Ему было за тридцать. Невысокого роста, живой, общительный подполковник, представившийся Андреем, быстро выведал у меня тайны пребывания в Казани. Не рассказал я ему только о финансовой мели.

Новый знакомый повёл себя странно. По вечерам он стал приглашать меня на танцы. Одному, мол, неудобно, а вдвоём мы с тобой таких девчонок закадрим... Любое увеселительное мероприятие начиналось с обязательного ритуала – посещения столовой. Рассчитывался за еду, естественно, он. Мои возражения в расчёт не принимались.

К походам на танцы я даже стал привыкать. Думал: как хорошо, что подполковник увлекается этими самыми плясками на танцплощадке. Только странное какое-то увлечение: приедем в парк, придём на летнюю веранду, а он стоит и скучает. Говорит, что дамы не те. Минут через 40 возвращаемся домой.

Вскоре странность объяснилась. Как-то вечером вернулся со своего каменного пляжа на берегу Казанки, а подполковника нет. На столе, в тарелке, гроздь винограда и 25 рублей – деньги в те дни для меня просто сказочные. В записке сообщил, что вынужден срочно возвратиться в часть. Водить меня в столовую теперь некому, поэтому оставляет в качестве братской помощи купюру. Возвращу, когда разбогатею и прославлюсь. Вышло, что подполковник меня просто подкармливал. Благодаря ему, его словам – не в долг, а в честь! – моё судёнышко благополучно миновало финансовые мели и добралось-таки до университетской гавани. Деньги, увы, не возвратил и больше моего благодетеля я не встретил.

Как же после этого забыть Казань?! Как же она, Казань-матушка, ко мне, человеку, прибывшему из других краёв, была милостива!

Историю принимали у нас мужчина и женщина. Кто попадал к мужчине, тот выходил довольный: меньше тройки, и то редко, он не ставил. У женщины же получить даже тройку могли до меня редкие счастливицы. А мне как раз выпало общаться с этой тонкогубой экзекуторшей. На вопросы отвечал бойко. Особенно подробно живописал переход Суворова через Альпы и его значение. Она слушала безучастно, попивая время от времени чай, и неожиданно сердито перебила меня:

– Вы в какие-то дебри полезли. А вот простенький вопрос: когда родился Суворов?

Я напомнил, что даже сам Суворов называл разные годы рождения. Какой из них верный, историкам установить не удалось.

– Прошу не ссылаться на историков, не они экзамен сдают, – оборвала меня оппонентка. – Какого мнения лично вы. Обоснуйте ответ.

Такая задача мою голову никогда не посещала. Судорожно пытаюсь хоть за что-то зацепиться, чтобы просто не молчать. В это время дверь широко распахнулась, и в аудиторию синичкой впорхнула улыбающаяся молодая особа. Семеня на высоких каблуках, она процокала к экзаменаторше и попросила порекомендовать абитуриента, хорошо знающего отечественную историю, чтобы написать о нём в университетской многотиражке.

– Он перед вами, – коротко бросила тонкогубая женщина и поставила пятёрку.

Материал о моей персоне в многотиражке не появился. А вот от возвращения домой с поля боя битым журналистка меня спасла точно. Жаль, что так и не удосужился узнать, кто она.

Пару-тройку дней после экзаменов надо было подождать решения комиссии. Но возникло чувство, которое, догадываюсь, возникает у всех юнцов

деревенской закваски, впервые оказавшихся в большом городе: соскучился по дому. С ним просыпался и ложился спать. Оно преследовало меня, с каждым днём становилось внятней, острее, непреодолимей.

То привидится, будто по стёжке устало идёт, возвращаясь с работы, мама. На плече деревянные грабли, придерживаемые одной рукой. В другой – узелок. В белом, в горошек, платочке что-то объёмное. Закатные лучи солнца делают маму сказочной.

– Мама! – кричу, выбегая навстречу. – Не спеши, я сейчас помогу.

Мама останавливается, нагибается, приобнимает меня. Я хватаю узелок и тут же начинаю дегустировать содержимое – пахнущие свежим коровьим маслом румяные пирожки с яйцом и луком. Я ведь не знаю, что они испечены ранним утром для полевого обеда. Я ведь не знаю, что несколько припасено специально для меня.

Один пирожок, другой, третий...

Помогаю.

– Это тебе лисичка передала, помощничек, – говорит мама, – маме лисичкин подарок хоть один оставь.

– Оставляю, оставляю, обязательно оставляю, мама, – обещаю я, а самого так и подмывает запустить руку в тёплый узелок и продолжить дегустацию, запивая топлёным молоком из бутылки.

Как ни говори, а лисичкин подарок не чета домашнему топлёному молоку. Он гораздо вкуснее. Капли молока сползают с губ на рубашу, и я, вздохнув, вытираю их ладонями.

Кап... кап... кап...

Кап... кап... кап...

Это куранты маминой игры, через много лет дошедшие до Казани.

То пригрезится весенний апрельский поздний вечер. Хутор окутан туманом. Дома – таинственные корабли, от которых шупальцами тянутся в вязкий туман снопы света и вязнут в нём. Вечер глубоко вздохнул и затаил дыхание. С цебарки – так на украинский манер у нас называют колодезное ведро – срываются капли воды и в дрожащей тишине гулко разбиваются о невесту откуда взявшийся изношенный каменный мельничный круг, который положен порошком у сруба. Разбиваются метрах в ста, а слышатся по всему хутору.

Кап... кап... кап... кап...

Умиротворённость полнейшая.

Кап... кап... кап...

Такие вот позывные весны, тоже через много лет услышанные в Казани.

То приснится бешеная скачка на вороном коне с белой звёздочкой на лбу. Это не бег, а скорее полёт. Ты впился в конские бока голыми ногами, вжался всем существом в остро пахнущий потом круг, и...

Да что говорить, когда весь земной шар ложится под ноги застоявшегося скакуна! Но вот и колодец, вот длинные деревянные корыта, вытянутые в одну линию и расположенные уступами одно под другим и наполненные водой. Это водопой. Конь пьёт колодезную воду медленно, приравливаясь к обжигающему холоду влаги. Время от времени он поднимает голову, оглядывает, прядая ушами, окрестности и недовольно посматривает на устроивших разборку крикливых воробьёв.

С мягких шелковистых губ срываются капли и опускаются в дощатое корыто, образуя круги. Они расплываются, а вместе с ними расплывается и отражение коня.

Кап... кап... кап...

Наконец вороной напился. И вновь ты вдавился в его круп, ёкающий селезёнкой. И вновь синяя сатиновая рубаха надувается на тебе пузырьём. И вновь вздымающаяся грива скакуна щекочет твоё лицо. До конюшни от водопоя метров четырёста – не более. Ты летишь, на зависть всем: птицам, облакам, ветру.

Завтра этот полёт повторится. Если удастся на время водопоя улизнуть из дома от дел и если смилостивится конюх.

– Ладно, – скажет, – выводы из стойла вороного, да не лихачь, не лихачь! За бедой не надо гнаться, она сама, не ровён час, найдёт. И как потом Настеньке, твоей матери, в глаза смотреть?

Кап... кап... кап...

Кап... кап... кап...

Это куранты водопоя.

Ностальгия по хутору, воспоминания вроде бы самые обыденные, бытовые однажды подчинили всё моё существо. Я собрал вещи и уехал домой.

Дома – переполох. Матушка вновь напомнила, что всё равно в хуторе мне не жить: не поступлю – осенью заберут в армию.

Подействовало. Немедля отправил в Казань телеграмму с оплаченным ответом, попросив сообщить результаты моих стараний. Хуторские скептики утверждали: напрасно. Возьмут на моё место какого-нибудь «блатного». Ничего подобного, говорил я. Казань – не такой город.

Жаль, что не заключил пари. Заключил бы – обязательно выиграл! Дня за три до начала учебного года почтальон Романовна принесла ответ.

– Держи, – на этот раз она была краткой, – улизнул ты от чар моих девок, улизнул. А так хотелось быть твоей тещей...

Сообщение принимали по телефону: телеграмма была написана от руки на стандартном синем бланке. Связисты спешили уведомить меня о благополучно сданных экзаменах. Выходило, что мои претензии на университетское студенчество оказались небеспочвенными. И вновь я покатыл в Казань – теперь уже в качестве полноправного студента. Не в общем вагоне, а – как человек бывалый, заслуживший льготы – в плацкартном...

Глава пятая

Казань-матушка повлекла нас по журналистской тропе в особое время. Журналистика в годы хрущёвской оттепели благодаря усердию его зятя, Алексея Аджубея, была помещена в святой угол. На неё не молились. Её боготворили. В брежневские времена журналистику из святого угла убрали, но преклонение осталось. Именитый режиссёр Сергей Герасимов даже снял фильм «Журналист», сценарий которого написал сам. Фильм пользовался необычайным успехом и был удостоен престижнейших международных наград.

Тут вот что удивительно: в своё время литератор Семён Бабаевский написал роман «Кавалер Золотой Звезды», по которому вышел одноимённый фильм. По сюжету вернувшийся с фронта домой Герой Советского Союза вступает в борьбу с косностью, получает поддержку первого секретаря райкома партии, становится председателем райисполкома и женится на колхознице. На лекциях по литературе, анализируя роман и фильм, мы считали женитьбу «кавалера» (да, именно так, в кавычках) неудачным примером взбесившейся фантазии автора, склонного к лакировке жизни.

Фильм «Журналист» появился почти 20 лет спустя, в то самое время, когда мы костерили роман. В нём преуспевающий газетчик, помотавшийся по Швейцариям и Франциям, женится на провинциалке из заштатного город-

ка. И мы, самые взыскательные критики, не подвергли сюжет сомнению. Журналисты могут всё! Они ниспровергают авторитеты и рожают новые. Они наказывают зло и утверждают добро. Они вездесущи и многолики. Они Атосы, Портосы и Арамисы, для которых не существует непреодолимых препятствий. Мы, студенты, добровольно становились под их знамёна.

Правда, в том же фильме были показаны и не очень успешные газетчики типа спившегося международника и начинающей карикатурной журналистской звезды районного масштаба. Но кто ж себя в пору студенчества причисляет к неудачникам? Мы – круче! А творческий конкурс, который был у нас, в отличие от других абитуриентов, только подчёркивал нашу исключительность, хотя состязались между собой иной раз одна-две заметки из многотиражки или районки. Но ведь конкурс! Следовательно, мы – особая каста: журналисты!

Кастовость эта проявлялась порой самым необычным образом.

Когда приезжаю в Казань, всегда задерживаюсь в университетском квартале. Особенно у здания химического института. Оно построено в начале пятидесятых годов и отличается «сталинским» стилем – чёткостью форм и сдержанностью декора. Шесть колонн, опирающихся на аркаду, напоминают мне кадровых офицеров. Всё подогнано до мельчайших деталей. Стройны, высоки, моложавы. Они будто вытянулись в струну и, приложив руки к фуражке-фронту, добродушно, хотя и несколько официально приглашают пожаловать в храм науки. Широкая, под стать дворцовой, лестница то растекается на два рукава, то вновь сливается в один и ведёт на самую верхотуру, на четвёртый этаж, приютивший наш историко-филологический факультет.

Три из тех, что ниже, отданы химикам. Соседство с наследниками и наследницами Менделеева особых неудобств не приносило. Изредка, правда, какой-то джинн, не выдержав своего неприятного запаха, выпрыгивал из их колб и реторт и добирался до наших аудиторий. Мы шутили: химики изобретают специальные вещества, воздействующие только на журналистов, и втихаря испытывают их на нас. Преподавателей аммиачные ароматы тоже раздражали. Они грозились написать докладную «куда следует». Но энтузиазм быстро иссякал, поэтому анонимную инстанцию «куда следует» никто не пытался тревожить – до нового происшествия.

А вот химики от соседства с нами кое-что выигрывали. Это кое-что представляло собою стенную газету, которая была необычайной длины и поэтому именовалась верстовкой. Над газетой целыми днями колдовала специальная группа, собранная со всех курсов отделения. С утра до вечера наш андеграунд, измазавшись в краске, выводил заголовки, переносил на ватман с помощью одного ему ведомых ухищрений рисунки, составлял сложные коллажи, клеивал в отведённые места отпечатанные на машинке заметки и чудом добытые фотографии. Иногда даже – цветные. Газета не была лишена изящества, в меру приправленного студенческим юмором и молодой, задорной критикой курсовых профсоюзных и комсомольских активистов.

Не раз наблюдал: спускается по лестнице троюлька представителей нашего отделения и, добравшись до этажей химфака, начинает намеренно громко обсуждать «проблемы» международной журналистики в зеркале стенной печати. О, проводить такие дискуссии мы были большие мастера!

Я ничего не выдумываю, не домысливаю. Всё это действительно было. Но было и другое. Казань старалась сместить наш восторженный взор с киношных идолов на реальных героев не только журналистской нивы.

Глава шестая

В школе нам немного рассказывали о Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве. А в Казани довелось даже беседовать с ним. Сейчас иногда достаю пожелтевшую фотографию 1936 года, скачанную из Интернета. На меня глядит разухабистый, среднего роста юноша, стоящий у тумбочки. Нога за ногу. В шляпе, лихо заломленной на затылке. В распахнутом тёмном костюме и съехавшем набок коротком галстуке. В светлых брюках в мелкую клеточку. Большой палец левой руки как бы не поместился в кармане брюк и надменно расположился на животе. Подумал бы: франт, фраер, мажор, если бы не знал, что это фотография человека редчайшей судьбы – самого Михаила Петровича Девятаева. Того самого, о котором в Книге рекордов Гиннеса говорится, что он единственный в мире лётчик, за один подвиг сначала посаженный в тюрьму, а позже удостоенный высшей государственной награды.

Поэтому, наверное, кажется, что по-молодецки вызывающе смотрит он не на меня, не на нас, а насторожённо и одновременно дерзко вглядывается в своё будущее. Будто чувствует, что его ожидают нелёгкие времена. Что ему уготована судьба похлеще дорожного серпантина на горных кручах, и он внутренне готов к её вызовам. Во всяком случае, вся его долгая, в 84 года, жизнь свидетельствует и о том, что вызовы судьбы его не заставляли врасплох, равно как и о том, что это был человек поступка.

«Иду на «вы», – говорил князь Игорь врагам.

«Иду на «вы», – бросал Михаил Девятаев обстоятельствам.

И выходил победителем.

Как и многие мальчишки и девчонки, в тридцатые годы он «заболел» небом. Мечта казалась знакомым иллюзией, детской блажью. Многодетной семье, жившей в глубинном селе в Мордовии, не до небесных сфер. Дай бог, был бы хлеб насыщенный. И тут судьба припёрла его к стенке в первый раз. В августе 1934 года с друзьями Пашей Паршиным и Мишей Бурмистровым набрали колосков с убранныго поля. Кто-то донёс – тогда за это сажали. К приходу милиции ржаную кашу сварил и съел. Но акт милиционеры составили.

– Посадить, может, и не посадили бы, – вспоминал Михаил Петрович, – но, коль составили акт, надо убежать.

Побежали, взяв справки, в Казань, в авиационный техникум. В техникум не приняли – не оказалось каких-то документов. Пошли на Волгу. Чтобы время даром не терять, решили хоть пароходы посмотреть. А есть хочется – у нас ни куска хлеба. Видим: рыбаки ловят рыбу, а ершей выбрасывают. Мы, голодные, набросились на этих ершей. Один мужик что-то по-татарски сказал. Понял, что не понимаем, и говорит по-русски: «Чего это вы сырую рыбу едите, идите сюда». Покормил он нас.

В это время по берегу ребята в форме бегали. Рыбак говорит: «Вот их в речном техникуме готовят на этих «лебедей». – И показал на пароходы. Приходим в речной техникум к директору Маратхузину. Жаль, имени-отчества не помню. Если бы не он, судьба у меня была бы совсем другой.

Он сказал, что мы опоздали (а это было 11 августа), что приём документов уже закончен. Посмотрел на нас – мы босиком, одежда тоже еле тело прикрывает. Майка у меня была сшита из флага. А флаг я снял с крыши райисполкома. Говорит: «Как же вы будете учиться?» Мы: «Будем! Только бы поступить».

Таким вот макаром – где хитростью, где знанием, где изворотливостью – и взяли наши Робинзоны непреступные, казалось бы, редуты техникума.

Правда, друзья не выдержали, ушли с первого курса. Михаил учился охотно, но и мечту о небе не оставил, одновременно посещая занятия секции аэроклуба. Стал инструктором-общественником.

Но и тут показала свой норов судьба. Однажды нелицеприятно отозвался о знакомой. Та обиделась и состряпала в отместку в органы на своего обидчика донос: мол, участвуя в переписи населения, все данные передал иностранной разведке. Обвинение, если здраво судить, было шито белыми нитками. Какой иностранной разведке нужны данные о рабочих лесозавода, которых переписывал Девятаев? Но это сейчас так кажется. А в тридцатые годы прошлого века была другая логика. Информация есть? Есть. Девятаев участвовал в переписи населения? Участвовал. Следовательно, дыма без огня не бывает. Шесть месяцев обнюхивали этот дым со всех сторон, прежде чем выпустить Михаила из тюрьмы.

Вышел на свободу. В техникум дорога закрыта. А все друзья-товарищи из аэроклуба уехали в Оренбург (тогда Чкаловск) осваивать военные премудрости лётного дела. Вроде, опять тупик. Но ведь Девятаев – человек поступка! Оренбург так Оренбург! Поехал. Здесь и стал лётчиком-истребителем.

А затем война. Сначала финская, потом Великая Отечественная. Вспоминая о Девятаеве, я пытаюсь остановиться только на тех ситуациях, когда надо было проявить волю и характер. Но тогда, если иметь в виду военное время, надо упоминать о каждом дне жизни лётчика-истребителя, о каждом полёте. Потому что эти дни, эти полёты, воздушные схватки с фашистами – не что иное, как жонглирование над пропастью на натянутом канате, как схватка с судьбой. И эта схватка не всегда завершалась подбитыми вражескими самолётами, уничтоженными фашистскими позициями. Враг ведь тоже не был из числа простачков. На его стороне опыт и нередко – более совершенная военная техника. Поэтому приходилось покидать небо и побитым. Первый раз это случилось в Тульской области. «Погостив в госпитале 13 дней», Девятаев сбежал в полк. Но полетать долго не пришлось и на этот раз. 23 сентября 1941 года сбил очередной немецкий самолёт, но и сам был тяжело ранен. Еле-еле дотянул до аэродрома и отключился от большой потери крови. И пошло путешествие... по госпиталям. В конце концов обескураживающий вердикт врачей: к полётам на истребителях не годен. Дозволялось летать только на тихоходной технике. Был он вначале командиром звена связи, а потом перевели в отдельный санитарный авиационный полк. Но в любом случае подымался в небо на «кукурузниках», о которых шутили: курица не птица, кукурузник – не самолёт. Доставлял партизанам оружие, продовольствие и боеприпасы, вывозил раненых с передовой в тыл.

Однажды даже спас жизнь тяжелораненому генералу. Его надо было срочно доставить в госпиталь, но погода оказалась нелётной. Решили воспользоваться железной дорогой, хотя знали: живым на поезде не довезти. Отправили. Через некоторое время погода улучшилась. Девятаев поднимается в воздух, чтобы перехватить состав на одной из станций, взять раненого и доставить его по назначению. Подлетает к станции и обнаруживает, что она в руках врага. Что оставалось делать? Пришлось искать затерянный в зимней степи поезд, идти на него буквально в лоб, чтобы заставить остановиться и продлить путешествие генерала на самолёте. Боевые полёты на «кукурузнике» оценили по достоинству – орденом Красного Знамени.

Но Михаил Девятаев не терял надежды возвратиться в истребительную авиацию. Случайно встретив своего командира эскадрильи Владимира Боброва, посетовал на судьбу – судьбу «небесного тихохода».

– Только и всего? – удивился Бобров. – Идём к командиру соединения Александру Покрышкину. Он умеет уговаривать медицину.

Действительно – уговорил. Через несколько дней семья истребителей Александра Покрышкина пополнилась ещё одним опытным лётчиком – Михаилом Девятаевым. Как видим, и на эту высоту Девятаев забрался сам. Высоту, с которой пришлось падать в бездонную пропасть. Спасли не чудеса, спасла предрасположенность к поступку, а значит – к подвигу.

Число тринадцать было для Михаила Петровича знаковым. Хотя в метриках было указано, что появился на свет божий 7 июня 1917 года, на самом деле произошло это 13 июня. Был тринадцатым ребёнком в семье. В тот роковой день – 13 августа 1944 года – в небе над Львовом завязалась очередная схватка с «Люфтваффе». Немецких машин было больше. Подбили. Самолёт превратился в пылающий факел. Покинул его в самый последний момент. Приземлился в беспомощности. Очнулся – плен. Дальше концлагеря, побои, допросы, изнуряющая работа, гибель товарищей – всё, что постепенно превращает человека в тень раба. Он не превратился. В Кляйнкёнигсбергском лагере начали рыть подкоп. Заговор был раскрыт. Зачинщиков, содержа в карцере, этапировали в концентрационный лагерь «Заксенхаузен», который назывался лагерем смерти и который находился под непосредственным руководством Гимлера.

– Отсюда не уходят, а вылетают через трубу, – сказал Михаилу Девятаеву улыбочивый переводчик, показывая на крематорий.

Михаил понимал, что вот-вот настанет его час покинуть этот мир через трубу душегубки, как покинули его сто тысяч узников «Заксенхаузена». Впрочем, если вам, читатель, доведётся покопаться в архивах Третьего рейха, вы можете натолкнуться на документ, согласно которому Девятаев был уничтожен в «Заксенхаузене». Многим своим собеседникам Михаил Петрович показывал копию списка казнённых, в котором значится и его фамилия.

– Яшу из Магадана и меня приговорили к смерти, – рассказывал он. – Приговорённых посадили на баржи и утопили...

На самом деле жизнь Девятаеву спас лагерный парикмахер-антифашист, который накануне расправы заменил ярлык смертника, выданный Девятаеву, на ярлык, принадлежавший замученному узнику с Украины. Так лётчик Девятаев стал учителем Никитенко. А вскоре его перевели в Пенемюнде, на остров Узедом, где зачислили в команду, обслуживающую аэродром, то и дело выводимый из строя советскими бомбардировщиками. И вот тут-то у Девятаева зародилась, укрепилась, укоренилась дерзкая мысль – улизнуть от фашистов на их же самолёте.

Сложилась небольшая группа единомышленников. Выдирали из разбомблённых фашистских машин приборы и изучали их.

Девятаев вспоминал: «Я прикидывал план захвата машины, рулём, взлёта под горку в сторону моря. Но сумею ли запустить, сумею ли справиться с двухмоторной машиной? Во что бы то ни стало надо было увидеть приборы в кабине, понять, как, что, в какой последовательности надо включать – в решительный момент счёт времени будет идти на секунды. Главное – запустить, управлять и взлететь...

Случай помог проследить операции запуска. Однажды мы расчищали снег у капонира, где стоял такой же, как «наш», «Хейнкель». С вала я видел в кабине пилота. И он заметил моё любопытство. С усмешкою на лице – смотри, мол, русский зевака, как легко настоящие люди справляются с этой машиной – пилот демонстративно стал показывать запуск: подвезли, подключили тележку с аккумуляторами, пилот показал палец и опустил его прямо

перед собой, потом пилот для меня специально поднял ногу на уровень плеч и опустил – заработал один мотор. Следом – второй. Пилот в кабине захотел. Я тоже еле сдерживал ликование: все фазы запуска «Хейнкеля» были ясны».

Наизусть выучили распорядок дня фашистов, взяли на учёт ещё много того, без чего побег оказался бы невыполнимым. Побег намечали на март, но его пришлось ускорить: за непослушание Девятаева приговорили «на десять дней жизни». В результате истязаний бедолага больше десяти дней не выдерживал. Силы быстро покидали лётчика. Стало понятно, что больше полутора недель он действительно не проживёт. Надо было бежать, бежать во что бы то ни стало.

Самым подходящим днём оказался 8 февраля. До конца декады оставалось только два дня. Облюбовали самолёт-бомбардировщик. Расправились с охранником. Кое-как, проделав отверстие в дюралюминиевом корпусе машины, открыли кабину и быстро забрались в неё. Попытались запустить моторы – не заводятся. Оказалось, в самолёте нет аккумуляторов. На счастье, рядом стояла тележка со вспомогательным аккумулятором. Расчехлив, завели моторы, вытащили тормозные колонки из-под колёс, сняли струбцины с элеронов и рулей. И всё это в бешеном темпе, из последних сил, под стук выпрыгивающих из грудных клеток сердец.

Завести-то завели, а с первого раза взлететь не удалось. Только вторая попытка оказалась удачной, когда, разгоняя бежавших навстречу фашистов, самолёт с большим трудом взлетел: Девятаев никогда не управлял «Хейнкелями» и не знал, что система, регулирующая взлёт-посадку, была настроена на посадку. Выяснилось это в лишь ходе полёта. Командиру звена «Люфт-ваффе» было приказано догнать и уничтожить беглецов. Но выполнить он приказ не смог. Беглецов искали в польском небе, а они сначала полетели в сторону Швеции и только потом развернули самолёт на юго-восток.

Через два часа «Хейнкель», перелетев линию фронта, приземлился на польской земле, изрядно потрёпанный советскими зенитками. Пришлось «отбивать атаку» советских солдат, решивших, что к ним пожаловали немцы. Долгое время надо было держать круговую оборону от «компетентных органов», которые никак не хотели верить, что перелёт Девятаева с девятью товарищами из фашистского плена на фашистском же бомбардировщике не розыгрыш, не провокация, а действительно дерзкий побег. Действительно беспримерный подвиг!

На этом, собственно, и заканчивали многие журналисты и литераторы очерки о Девятаеве. Они казались убедительными. Но однажды в конце шестидесятых годов прошлого века автору этих строк посчастливилось побывать на встрече с Михаилом Петровичем. Был просто очарован им. Заодно возникло и смутное подозрение, что Девятаев что-то не договаривает. Например, запись в документах, что он артиллерист, а не лётчик-истребитель, объяснял ошибкой «компетентных органов». Хорошо, пусть ошибка. Но её легко устранить, подняв архивы. Значит, думал я, либо Девятаев сам не хочет установить истину, либо ему по каким-то причинам запретили ворошить прошлое.

С течением времени кое-что прояснилось. Когда Михаила Петровича не стало (а случилось это в 2002 году), начали появляться публикации, в которых суть и значение его подвига приобрели более масштабный и едва ли не исторический характер. Дело в том, что на острове Узедом у городка Пенемюнде ещё в 1937 году немцы построили полигон («Пенемюн-

де-Запад») и исследовательский центр («Пенемюнде-Восток») для разработки, испытания и производства «оружия возмездия» – ракет.

Малонаселённое болотистое место, со всех сторон отрезанное от материка водой, обеспечивало секретность работ. Учитывались возможность подвезти морем крупные грузы и близость к концентрационным германским лагерям в Польше, снабжавшим полигон рабочей силой. Одним из них был концлагерь «Узедом», находившийся прямо на острове, около озера Готензе. Третий рейх делал ставку на «Фау-1», которую по нынешней терминологии можно назвать крылатой ракетой, и баллистическую ракету «Фау-2». Это первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. Ракеты предназначались в первую очередь для военного применения. Ими вермахт обстреливал Лондон и другие английские города.

Но была и дальняя цель. Главный конструктор «Фау-2», после войны оказавшийся в США и усердно работавший на Америку, уже тогда задумывался о реализации полёта человека в космос. «Фау-2» – первая ракета, совершившая суборбитальный космический полёт, достигнув при вертикальном запуске высоты в 188 километров. А угнанный немецкий «Хейнкель-111» с везелем «Г.А.» – «Густав Антон» был не просто самолётом, а воздушной станцией управления полётами ракет «Фау-2» со всеми контрольно-измерительными приборами, с секретной телеметрией. Вот на какие цели вывел Девятаев наши «компетентные органы»!

Реакция последовала незамедлительно. Представленная Михаилом Петровичем информация – свидетельствует один из историков – позволила разбомбить не только ракеты на старте, но и подземные цехи по производству «грязной» урановой бомбы. Это была последняя надежда Гитлера на продолжение Второй мировой войны. Немецкими разработками заинтересовался Королёв, который под фамилией полковника Сергеева прибыл в Пенемюнде. Сергей Королёв вместе с Валентином Глушко разрабатывали реактивный двигатель «РД-1» для самолёта «Пе-2». На Узедом Сергей Павлович приехал «перенимать опыт» по части ракетостроения. Будущему отцу советских ракет удалось попасть в институт фон Брауна, но этого было мало. Королёву нужен был свой ключ доступа к секретам Узедома. Вот тут Сергею Павловичу кто-то и шепнул: дескать, сбежал отсюда наш, русский, и, вроде, живой ещё, в лагере сидит. Позвали...

– Мы с Королёвым-Сергеевым ходили осматривать ракеты, – рассказывал Девятаев журналистам. – Трофеи – детали ракет, из которых впоследствии была собрана целёхонькая «ФАУ-2», – доставили в Казань. Её двигатель, кстати, до сих пор хранится в Казанском технологическом университете как феномен конструкторской мысли. Два года спустя, в ноябре 1947 года, состоялся первый пуск трофейной ракеты, восстановленной советскими и пленными немецкими конструкторами. Ещё через год на полигоне Капустин Яр прошло успешное испытание уже первой советской ракеты. В 1957 году СССР запустил на орбиту первый искусственный спутник и получил возможность донести ядерный заряд до любой точки земного шара. За десять лет советские учёные в области ракетостроения вырвались далеко вперёд, оставив позади американских коллег, коими руководил тот самый Вернер фон Браун.

Теперь, спустя десятилетия, можно предположить, что Девятаева засекретили именно потому, что он невзначай прикоснулся к самой глубокой, самой секретной нашей тайне-мечте – подготовке полётов в космос. Засекре-

тили так, что жилось ему в первые послевоенные годы нелегко. Ему не доверяли даже компетентные органы. Поверить в побег из фашистского плена на самолёте – всё равно что поверить в существование преисподней. Недоверие это публично не выказывали, но настоятельно советовали о побеге на самолёте не распространяться. А к «простым» военнопленным было отношение недружелюбное. После долгих мытарств еле-еле устроился грузчиком в порту, затем капитанствовал на небольшом судёнышке. Начальство говорило: «Ты был в плену, скажи ещё спасибо, что держим».

Трудно предположить, как сложилась бы судьба Девятаева, если бы не встретил на своём пути казанского журналиста Яна Винецкого, который впервые рассказал о подвиге. Только тогда, через 12 лет после войны, героя «зауважали». Только тогда, спустя 12 лет, он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Я познакомился с Яном Борисовичем в редакции газеты «Советская Татария». Ян Винецкий был к тому времени человеком именитым, но не чванливым, чрезвычайно демократичным. Принёс мэтру заметку о работе Дворца культуры химиков. Мэтр бегло просмотрел её и сказал убеждённо и резко:

– Ерунду написал. Не пойдёт.

– Признаки у ерунды есть?

– Конечно. У тебя что ни фраза, то загадка. Пишешь: «вызывает какое-то необъяснимое чувство...» Это признак чуши и есть. Появилось чувство: ты, если ты журналист, объясни людям, что за чувство и чем оно вызвано, а не ребусы загадывай. Ты заметку сонный писал? Души не видно, хотя бы её каракулей.

– Хм, – усмехнулся я, – образно сказано: каракули души...

– Как написано, так и сказано...

Однажды, глядя в живые карие глаза Винецкого, доверчиво, по-мальчишески смотревшие на собеседника из-под крутого лба, украшенного вьющейся шевелюрой, я спросил, откуда у него страсть к журналистским открытиям.

– Откуда, откуда... Оттуда! – неожиданно обиделся он. И повторил по слогам: – От-ту-да.

Я расшифровал его фразу так. Оттуда – значит из Испании, в небе которой, будучи лётчиком, воевал в 1937 году. Оттуда – значит с неба Казани, с фронтового неба, где испытывал новые самолёты в годы Великой Отечественной войны. Получалось, что это «оттуда» – там, где легко расстаться с жизнью. Может быть, поэтому серьёзно отвечать на мой вопрос он не захотел. Наверное, ему неудобно было говорить о том, что настоящий журналист – тот, кто, защищая героя, способен вызвать огонь на себя. Винецкий вызывал его до последнего дня. Даже когда полностью ослеп.

Вот так в моём сознании и сложилась эта пара. В тандеме обычно один ведущий, другой ведомый. Для меня они оба – Девятаев и Винецкий – ведущие!

Глава седьмая

Жизненный парадокс. Казалось бы, подвиг что факел, который виден всем. Но иногда, чтобы донести этот факел до людей, нужно проявить мужество сродни подвигу. В школе нам рассказывали и о татарском поэте Мусе Джалиле. Запомнилась фотография его памятника – Джалиль пытается разорвать опутавшую его колючую проволоку. Тоже попал в плен и за попыт-

ку создать движение сопротивления среди пленных был казнён. Нам говорили, что сразу после Великой Отечественной войны его считали изменником Родины. Джалиль даже был включён в список особо опасных преступников. Слухам о том, что поэт числился в легионе «Идель-Урал», наши «соответствующие органы» нашли подтверждение, а подтверждений о его антифашистской деятельности на первых порах не было никаких. И только благодаря нескольким соотечественникам с него были сняты обвинения в предательстве. Только после войны ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Только после войны поэт был удостоен Ленинской премии и ему воздвигли величественный памятник.

Герой не был атлетического сложения. Писатель Варлаам Шаламов, который жил с Джалилем в общежитии МГУ, в новелле «Студент Муса Залилов» подтверждает: да, на атлета Джалиль явно не тянул: «Муса был очень опрятен: маленький, аккуратный, с тонкими, маленькими, женскими пальчиками, нервно листавшими книжку русских стихов. Вечерами не то что часто, а каждый вечер Муса читал вполголоса на татарском своё или чьё-то чужое – тело входило в ритм чтения, тонкая ладошка Мусы отбивала чужие ритмы, а может быть, и свои. Мы все были тогда увлечены приближением ямба к жизни и восхищённо следили за упражнениями Мусы при восхождении на Олимп чужого языка, где так много неожиданных ям и колдобин. Муса смело углублялся в подземное царство чужого языка, подводных коряг и идиом».

Узнали мы о нём, атланте духа, благодаря моему преподавателю Миргази Кашшафутдинову, литературное имя которому Гази Кашшаф. В ту пору Миргази Султанович работал на кафедре журналистики. Первый раз, представляясь аудитории, пошутил:

– Меня зовут Гази Кашшаф. Прошу учесть, что Кашшаф не от слова «каша».

Знакомство не обрадовало. Подумал, что с преподавателем не повезло. Но постепенно выяснилось, что за невыразительной дикцией скрывается упорная, упёртая натура. Он не любил рассказывать о перипетиях реабилитации поэта. Спрашивал:

– А если бы вашего друга оклеветали, вы что, остались бы в стороне?

Поход за доброе имя Джалиля Гази Кашшаф начал еще в 1944 году, издав сборник поэта «Письмо из окопа». Кашшаф первым составил научные комментарии к «Моабитским тетрадам», подготовил трёхтомник его избранных произведений на татарском и однотомник на русском языке, собрал и издал воспоминания о поэте.

Вспомним, в какие годы он это делал. Едва ли не каждая семья пострадала от фашиствующих «сверхчеловеков». Едва ли не в каждой семье был солдат, нахлебавшийся фронтового лиха. Раны ещё не затянулись. Они кровоточили и болели беспрестанно. А тут появляется человек, который заступает за военнопленного, сотрудничавшего с немцами. Значит, тоже не наш. Значит – ату его! Словом, шёл Миргази Султанович по минному полю. Слава Богу – не взорвалось.

Потом о Мусе Джалиле много и ярко будут писать другие исследователи. Пожалуй, нередко ярче Гази Кашшафа. Только минных полей у них уже не будет. Их разминировал мой преподаватель. Также из когорты тех, кто вызывает огонь на себя.

Не только в прошлом, но и сейчас, в наши дни.

Продолжение следует.



**Валерий
КРЕМЕР**

ОСТРОВ

Вот осень, и закат,
И всё, что будет после.
Никто не виноват,
Что жизнь проходит возле.
Что можно посреди
Картонных декораций
Вынашивать в груди
Двенадцать вариаций.
Но различает взгляд
Застывших и идущих,
Покинувших свой ад –
Убежище для лгущих,
Где не струной должны
Быть души, а стеною
И деревом вины,
Цветущим и зимою.

Живу и больше не перечу,
Не проклиная, не пророчу.
Лишь вслушиваюсь среди ночи
В круговорот воды и речи.
Душе так хочется поверить,
Но видишь напряжённость спин,
И нарисованные двери,
И жестов цепкий пластилин.

-
- Валерий Адольфович Кремер родился в 1954 году в Саратове. Окончил филологический факультет СГУ. Служил в армии, работал учителем в сельской школе, корреспондентом в различных газетах Саратова. Член Союза писателей России. Публикуется в периодической печати с 1973 года. Стихи печатались в саратовской периодике, коллективных сборниках Приволжского книжного издательства, журналах «Волга», «Волга–XXI век», «Новая Немига литературная» (Беларусь), в литературно-художественных альманахах «Саратов литературный», «Зелёный остров», «Сюжет», «Моргенштерн» (Союз российских немецких писателей), «Тритон» (Москва), «Трёхцветная кошка» и «Сквозь тишину» (Санкт-Петербург). Лауреат фестивалей поэзии в Волгограде и Сызрани. Автор восьми книг стихов: «Путь» (1990), «Время вдоха» (2000), «Путешествие к Центру Вихря» (2005), «Свидетельство о жизни» (2007), «Под небом молодым» (2010), «Другие дни» (2014) «Любольш» (2016), «Странник» (2018) и прозаической книги «Спрятанный свет» (2015).

Вот и всё. Наигрался. Я – пас.
В лес, в берлогу, чтоб выпасть из круга
И надеяться, что не предаст
Ни единственный друг, ни подруга.
В тишине полумёртвых ночей,
В дебрях прятков глухих, нелюдимых
Петь про то, что ты здесь и ничей,
Ты – никто, ты – лишь облако дыма.
Но и здесь настагает тоска
И несказанных дней пантомима,
Воронённый зрачок у виска,
Запах прежнего неустрашимый.

Когда-нибудь проскачет это время
Отрядом конармейцев удалых,
И, скинув в день печальный тела бремя,
Я мифами останусь для живых.
А что в остатке? Лишь совсем немного:
Лепил из слов неясный идеал,
Старушку перевёл через дорогу
И женщину навек поцеловал.

Ниоткуда и нипочему
Появляется слово летучее.
На мгновенье себя я пойму,
Удивляясь прекрасному случаю.
Ну а дальше живу, как всегда, –
За грехи неизменно караемый.
Просто с неба слетела звезда,
Мне оставив свой след несгораемый.

Поутру выходишь ты из дома.
Всё, что знаешь, знаешь ни о чём.
Вроде, эта улица знакома.
Вроде, этот мир тебе знаком.
Он знаком, но слишком непонятен.
Вот идёт знакомый человек.
Столько в нём пустот и белых пятен,
Что не ожидаешь и вовек.
А вокруг тебя летают звёзды,
А вокруг сшибаются миры.
Кем ты создан? Для чего ты создан?
Для какой таинственной игры?

Всё получилось так, как получилось,
Сложилось в пазл, понятный лишь душе.
И сетовать, увы, смешно уже,
Что главного, быть может, не случилось.
Как знать, как знать... Настойчивые тени
Былого так же властны надо мной.
Но главное летит, как лист осенний,
Освобождая сердце тишиной.

Ты смотришь на часы
В любое время года.
Старинные весы
Прихода и ухода.
К кому-то ты пришёл,
Одевшись по погоде.
Побыл – и час прошёл.
А это жизнь проходит.

ОЧЕРЕДЬ

Синева над головами.
Белый свет ещё не роздан.
Вы последний? Я – за вами
В этой очереди к звёздам.
Затуманен мир словами.
Не нашарят твёрдость руки.
Вы последний? Я за вами
В этой очереди к скуке.
Накопилось под словами
Столько горечи и соли!
Вы последний? Я за вами
В этой очереди к боли.
В этой очереди к Стиксу
Вы последний? Я – за вами...
Просыпаясь, бьёт крылами
Ангел, что подобен иксу.

Что наша жизнь? Мешок без дна,
В котором сущность не видна.
А ты всё смотришь в пустоту,
Найти пытаешься высоту.

Её там нет. И прост ответ:
Кто создал нас, не знаем мы,
Мы – дети Света, дети Тьмы,
И ясно, что предела нет.

Не знаю, о чём. И не знаю, зачем.
Проиграна жизнь. Догорает душа.
Сквозь чуткое пламя бессонных ночей
Река всё течёт и течёт не спеша.
Когда не даётся прожить вопреки,
А плоть ненасытна, увы, до поры,
В тумане теряется профиль строки,
В пустынных скитаньях меж правил игры.
И даже потери уже не горьки:
Душе всё равно не дано разгадать
Мерцание смысла в движенье реки,
Спокойно несущей себя в никуда.

Всегда один. Всегда с самим собой.
Так было с детства. С дальних тех минут.
Теперь он округлился, остров мой,
Который одиночеством зовут.
Здесь хорошо. Здесь птицы и цветы.
Нет толкотни, и сплетен, и вранья.
И знание, что где-то рядом – ты.
Моя навек. Одна. Навек моя.
Когда мне вдруг невмочь, и жизнь – беда,
И я забуду, этот остров где,
То ты ко мне приходишь иногда
По верной, затвердевшей вмиг воде.
И всё как прежде: мы с тобой вдвоём –
И говорим о жизни, говорим.
Потом друг друга за руки берём
И, словно свечи, до утра горим.

На дне слепых, прокуренных ночей,
В плену ненужных будничных шагов
Я напрочь забывал, зачем и чей,
Под тяжестью невидимых оков.
И было мне безрадостно идти,
Как школьнику, не знавшему ответ.
Тогда тебя встречал я на пути
В обличье разном, но всегда как свет.
Ты исчезала, становясь звездой,
Была легка ты, и слова просты:
«Ты всё поймёшь, когда ты станешь Ты
И сам ответишь перед высотой».
Прогромыхали годы, пронеслись,
Таща куда-то... Ты была права.
Жизнь – это только сам и только ввысь,
Как облака, и птицы, и трава...

Ну что ж, пора расставить точки
Над «и», над жизненной борьбой.
И написать четыре строчки,
Что будут навсегда с тобой.
Душа пока ещё в ремонте,
Дрожит и зябнет среди льдин.
Нет никакого Пиндемонти.
Есть только Пушкин, он один.

Вдруг проснёшься рано.
Небо серебрится.
Заживают раны.
Новая страница.
Новая страница
Прежней неизвестней.
Может, глянет птицей.
Может, грянет песней.

Снова год прошёл.
Шумное веселье.
Вроде хорошо,
А в душе метельно.
Вот таков итог
Без тоски и боли:
Каждый одинок
Средь людей – как в поле.
Гости в ночь ушли.
Звёзды появились –
Теплятся вдали,
Словно Божья милость.

Душа текуча и вольна.
И на неё управы нет.
Она одна, когда больна,
Она одна, узревши Свет.
Никто друг друга не поймёт,
Но помнят все грехи свои.
Мгновенье истины мелькнёт
И растворится в бытии.
И, неизбежное верша
Или спасая мир от бед,
Не забывай: твоя душа –
И оправданье, и ответ.

Лишь открыл глаза, и снова песня
Зазвучала в утренней душе.
Ничего на свете нет чудесней
Музыки, подаренной уже.
Кто-то создал вечный дар мелодий,
И тебе певуче и легко,
Потому что солнце снова всходит,
Потому что небо высоко.

Скорее музыка, чем слово,
Скорее слово, чем напев.
Беззвучие преодолев,
Стремишься к истине ты снова.
Опять неведомый полёт
Под небом необъятно-низким.
И то, что ты найдёшь, поймёт
Далёкий кто-то, ставший близким.

Ты понимал, что слова,
 как живые созданья,
Дышат, страдают,
 боятся пустынных ночей.
Любят искать тишину
 в пестроте мирозданья
И устают от пустых,
 равнодушных речей.
Не был героем, но главное,
 не был предателем
Имени, смысла и голоса лишь своего.
Жизнь и жестока,
 но и милосердна к создателям,
Тем, кто рождает нежданное из ничего.

Во льдах зимы, бездонной ночью
Век умирал.
На небе ставя многоточья,
Дышал хорал.
Но сердце знало: вечна песня,
А смерти нет.
И завтра снова всё воскреснет –
И синь, и свет.
Слова и звёзды не случайны,
Как боль и грех.
А жизнь и смерть – цветенье тайны
Одной на всех.

Как хорошо, что есть куда прийти
Из немоты печальных песнопений.
Как хорошо, что нет конца пути,
А тени прошлого – всего лишь тени.
Как хорошо, что в мирозданье сём,
Одновременно дивном и унылом,
Мы, может быть, кого-нибудь спасём,
Став навсегда единственным и милым.

А ты из вечности и праха,
И это путь, а не вина,
Тогда вперёд, вперёд без страха –
Туда, где призрачно видна
Дорога, по которой долго
Идти, разматывая нить,
К ларцу с кощеевой иглой,
Чтоб наконец её сломить.



**Алексей
СОЛОНИЦЫН**

ВОТ Я, ГОСПОДИ

**Повесть о Пушкине и Моцарте
в достоверных фактах и сновиденьях актёров,
воссоздающих их жизни и судьбы**

ВСТУПЛЕНИЕ

Сказать своё слово о природе творчества, его рождении и назначении так или иначе стремится каждый писатель. Конечно, здесь скрыта тайна, но её неизбежно разгадывает каждый, кто взялся за перо или решил посвятить жизнь музыке, живописи, театру или другим видам художественного творчества.

Давно хотелось и мне высказаться со всей определённо-стью, как эта тайна разгадывалась и мною. Но я всё не решался взяться за столь многотрудное дело, да и повода не находилось, и задача казалась непосильной.

Но вот пришла пора подведения итогов сделанного за шестьдесят лет труда в литературе и кино, и, как всегда, неожиданно явилась подсказка: один мой знакомый актёр, заболев, рассказал, что ему надо передать роль Моцарта, которую он очень хорошо играл, другому, молодому актёру.

И это был толчок, давший старт моей фантазии, которая сразу же включила и весь мой жизненный и литературный опыт, дающий возможность высказать всё то, о чём я думал долгие годы.

-
- Алексей Алексеевич Солоницын – писатель, кинодраматург, родился в 1938 году в г. Богородске Горьковской области. Окончил факультет журналистики Уральского университета в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1960 году, много ездил по стране, работал в газетах Киргизии, Латвии, на телевидении, в кино. С 1973 года живёт в Самаре. С 1972 года – член Союза писателей России, с 1984-го – член Союза кинематографистов России. За 55 лет творческой деятельности в Москве, Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Рязани и других городах России и зарубежья издано более сорока документальных фильмов. Дипломант Патриаршей литературной премии св. Кирилла и Мефодия 2012 года, лауреат первых Всероссийских литературных премий им. Александра Невского (С.-Петербург), Ивана Ильина (Екатеринбург), Серафима Саровского (Нижний Новгород), международного кинофестиваля «Золотой витязь» (Москва).

Мне представилось, что роль Моцарта передаёт молодому актёру мой старший брат Анатолий, с которым так много связано в моей жизни: и разговоров о театре и кино, и наших стремлений посвятить свою жизнь – ему в театре и кино, мне – в литературе. И сразу вспомнились и его первые победы, и трудности пути как в жизни, так и в творчестве.

И, передавая эту роль, уже не Анатолий, а мой герой Николай Седов начинает сочинять свой спектакль, прямо противоположный по смыслу тому, в котором он играл.

Главными героями его спектакля становятся Пушкин, автор трагедии «Моцарт и Сальери», и сам Моцарт. Мне представилось, что там, в Царствии Небесном, два гения встречаются и запросто разговаривают, как давние друзья, о музыке и поэзии, о любви и коварстве, о жизни и смерти.

С ними встречается и мой герой и говорит о тех вечных вопросах, которые ставит перед собой каждый творец – будь то поэт, композитор или актёр. И ответы дают те, кто и олицетворяет поэзию и музыку. Ибо Пушкин – это сама поэзия, Моцарт – сама музыка.

В повести немало цитат – все они строго документальны. А сами тексты бессмертных произведений цитируются для того, чтобы вы лучше представили, о чём думают и спорят мои герои, как они постигают сокровенный смысл творений гениев.

А что касается ситуаций, в которых оказываются мои герои, то они написаны по законам литературы. Судьбы обоих гениев трагичны, но посмертная слава даёт нам повод говорить о том, что истинное творчество бессмертно. Эту мысль проводит в своём спектакле и мой Николай Седов, сам по ходу постановки преодолевая те же преграды, которые пришлось преодолевать и его героям, которые светят ему как маяки спасения.

Он увидел свет и другого маяка, самого яркого – свет Христовой любви. Этот свет даёт ему возможность отличить то падение, которое сопровождает сегодняшний так называемый «постмодернистский» театр, от подлинного театрального искусства, настоящую любовь – от её имитации, подлинность чувств – от притворства и лжи.

В повести вы найдёте немало отсылок к реальным персонажам и произведениям театрального и киноискусства. Это сделано для того, чтобы события повести были и современны, и в то же время сопряжены с теми персонажами и их творениями, которые для всех нас являются непререкаемыми авторитетами.

Эти отсылки могут быть разгаданы знатоками театра и кино, но вовсе не обязательно догадываться, «кто есть кто» – автор старался просто-напросто дать наиболее характерные приметы сегодняшней жизни актёров.

Моя повесть заканчивается на той же ноте, на какой заканчивается и «Реквием» Моцарта, и «Пророк» Пушкина. Эта нота пророческого назначения творчества, победы жизни над смертью, победы Любви над злом и предательством. Ибо, как сказано в бессмертном Послании апостола Павла коринфянам, если ты не имеешь Любви, то ты – ничто. А если обрёл её – то твёрдо знай и иди с ней по жизни, ибо вечно пребывают «сии три – Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше».

Алексей Солоницын

*И услышал я голос Господа, говорящего:
кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?
И я сказал: вот я, пошли меня.*

Книга пророка Исайи, глава 6, стих 8

ГЛАВА ПЕРВАЯ ВЫБОР

В пустом репетиционном зале они были вдвоём: Николай Седов сидел на стуле, а Константин Гусельский стоял, привалившись спиной к краю бордюра, окаймлявшего невысокую авансцену. Чёрные шторы наглухо закрывали окна, лишь один боковой софит освещал пространство зала, полутёмного, нежилого без зрителей и безмолвного без голосов актёров.

Николаю уже перевалило за пятьдесят, стало чаще давать о себе знать сердце, и ноги отказывали в самое неподходящее время, вдруг становясь неуправляемыми.

Константину недавно исполнилось двадцать восемь, третий год, как он пришёл в театр, уже прочно заняв место молодого героя-любовника. Он высок ростом, волосы острижены по последней моде – коротко, чубчик наползает на лоб. Глаза у него карие, миндалевидные, лицо несколько даже восточное, броской красоты. Только вот небритость на висках и на подбородке, вошедшие в моду, выглядят как неопрятность, хотя Константин большое внимание уделяет своему внешнему виду.

Седов оторвал взгляд от тетрадки с текстом роли, протянул её Гусельскому:

– Бери.

– Но... – Глаза Константина расширились, выразили недоумение. – Ты будешь показывать мизансцены... без текста?

– Хромают мои ноги, а не память.

Гусельский опёрся о край бордюра и запрыгнул на авансцену – он был спортивен, хорошо танцевал и недурно пел.

– Ну, с чего начнём? – Глаза его теперь из приветливых стали нетерпеливыми. – Ты будешь подавать реплики или как?

– «Или как», – повторил Николай. – Сначала поговорим.

Константин перестал разводить руки в стороны и приседать, разминаясь перед репетицией. Иронически посмотрел на Седова, который продолжал сидеть на стуле метрах в трёх от авансцены. Кресла в репетиционном зале стояли вдоль стен, один ряд над другим – здесь располагалась Малая сцена и игрались так называемые экспериментальные спектакли.

– Ну ладно, давай.

Гусельский сел на край авансцены, свесив ноги. Нарочито вяло листал тетрадку с ролью.

Николай всё понял.

– Видишь ли, Костя, давай сразу договоримся: тебе придётся слушать меня. Я и сам не хотел становиться режиссёром – но меня очень попросили. Я актёр такой же, как ты, – не лучше и не хуже, *просто другой*, понимаешь? Но Моцарта играл я, как говорят, неплохо. И я заинтересован, чтобы и ты играл неплохо, понимаешь, о чём я?

– Да я ничего, что ты... – Гусельский выпрямил спину, серьёзно посмотрел на Седова. – Я к тебе хорошо отношусь, иначе бы не согласился. Я о том, что лучше бы сразу разминать роль с текста.

– В спектакле я многое хочу поменять, – перебил его Седов, – и поэтому должен объяснить, почему.

Подумав, Костя прыгнул с авансцены, нашёл стул и поставил его напротив Николая.

– У Бергера над сценой светился плакат: «*Чёрт догадал меня родиться в России с душой и с талантом*», – начал Николай. – Он придумал пролог, где Пушкин пишет «Моцарта и Сальери» у себя в Михайловском. Во-первых, там он набросал лишь план, а сам текст написал спустя четыре года, в Болдинскую осень. Бергер¹ сместил время для того, чтобы показать Пушкина *в неволе*, в ссылке. Пушкин у него гений потому, что он рвётся из оков, живёт в ужасной стране. Моцарт живёт в прекрасной Европе, но и там полно безобразий. Нужны посредственности, как Сальери. Да, зависть, но главное, Моцарт не нужен обществу *вообще* – вот что говорит Лукас Бергер своим спектаклем. Поэтому так у него думает и Пушкин.

– А что в этом плохого? Даты спутаны?

В голосе Гусельского послышалась издёвка.

– Не в датах дело, – спокойно возразил Седов. – Важно, где эти слова сказаны и почему. Австрия хотя и узнал Пушкина благодаря многоумудрому Рабинеру, но всё равно промахнулся. Он не разобрался в письме Пушкина к жене. А уж в России – тем более.

– Не разобрался? Рабинер? – изумился Гусельский. – Пушкиноведа? И знаменитый Бергер?

– Ты само письмо помнишь? – спокойно спросил Николай. – По какому поводу Пушкин так зло сказал о России?

– Это экзамен?

– Не ерпенься, просто ответь, помнишь или нет?

– Если и не помню, так что? Какое отношение это имеет к Моцарту?

Седов вздохнул, опустил голову.

– Так помнишь или не помнишь?

Не услышав ответа, Николай продолжил:

– Открой тетрадь. На первой странице текст письма. Читай, что подчёркнуто красным.

Гусельский нарочито небрежно раскрыл тетрадь, прочёл: «*Будучи ещё порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры...*»

– Стоп. Эта фраза означает, что Пушкин *уже* находился под надзором полиции. А теперь *уже* стал журналистом, издаёт «Современник». А журналисты для власти да и элиты придворной *уже* считаются не порядочными людьми.

– Да знаю я, не надо меня экзаменовать!

– Хорошо, что знаешь, – продолжая сохранять спокойствие, сказал Николай и поднял глаза, глядя прямо на Гусельского. – Надеюсь, кто такой Брюллов, ты знаешь. А кто такой Мордвинов? И почему Пушкин более всего боится, что именно *этот* человек будет на него смотреть как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого? То есть самых крупных издателей, журналистов того времени. Которые были агентами Третьего отделения – шпионами. По поводу Николая Полевого Пушкин ошибался, а вот Фаддея Булгарина определил точно.

– Ты стараешься меня уличить, – злобно сказал Гусельский, и миндалевидные глаза его сузились.

¹ Здесь и далее фамилии вымышлены. Названия спектаклей и фильмов тоже вымышлены. Если есть совпадения, то они случайны.

– Я стараюсь тебе объяснить, – снова перебил его Седов, – почему у Пушкина *вырвалась* фраза, которую не только Бергер и Рабинер, да и многие другие сейчас вдруг стали брать на вооружение. Выслушай, а потом поспорим, если хочешь.

– *Хочу!* – с нажимом, решительно ответил Гусельский.

– Ладно. Мордвинов, между прочим, единственный, кто во время суда не подписал приговор, смертный приговор декабристам. Не только адмирал, но и выдающийся государственный деятель, с которым был вынужден считаться Николай Первый. Не замешан ни в каких интригах, авторитет даже для врагов. Вот почему Пушкин более всего ценит отношение к себе именно этого человека. Вот какая Россия близка ему. Но есть и Россия завистников, шпионов. Читай теперь со слов: «*Брюллов сейчас от меня*».

Гусельский прочёл:

– «*Брюллов сейчас от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи ещё порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры... Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона...*»²

Гусельский посмотрел на Седова, и снисходительная ухмылка несправедливо обиженного человека медленно сползала с его лица. Невольно он пытался понять, к чему же клонит Николай.

Нельзя сказать, что Константин был глуп, как многие красавцы-актёры. Он умел схватывать нужные ему мысли, знания *на лету*, но не углубляясь в них, стараясь запомнить то, что было *на слуху*. И потому про него говорили: «Гусельский? Да он неглул! К тому же хорош собой. А что ещё надо для актёра?»

Николай не относился к *мозглякам*, как презрительно называли актёров, которые всё знают, но знания эти нисколько не помогают им играть. Он стремился докопаться до сути, приученный к постижению смысла того, что предстояло ему сыграть. Помогало ли это ему, он не знал. Какие пружины срабатывали внутри него, в душе, он тоже не знал. Но то, что знание точно не мешало ему, он знал наверняка. Тем более сейчас, когда ему поручили не только передать роль, но и попробовать свои силы в режиссуре, выпустить спектакль *в своей редакции*, знания особенно были нужны.

И потому он, как ему казалось, добирался до сути не только того, что написал Пушкин в «Моцарте и Сальери», но и самой сути творчества.

Думал он об этом не один год и сейчас надеялся, что, занимаясь Пушкиным, всё же сумеет дать ответы самому себе хотя бы на некоторые вопросы, которые мучали его.

– Вот, Костя, отчего можно считать, о какой России говорит Пушкин. И почему у него *вырвалась* такая фраза. На глаголе «*вырвалась*» настаиваю. Недаром же он говорит, что «*чёрт догадал*» его родиться в России. Понимаешь, о чём я?

– Не очень. Так что же останется в прологе?

– Он будет другим – если останется вообще. Тогда и Пушкин должен быть совсем не таким, как у Бергера. И вообще, мне не нравится, когда классику кроют вдоль и поперёк, выражая себя, любимого. Мне всегда хочется сказать таким режиссёрам, даже Бергеру: если ты такой умный и талант-

² Пушкин А. С. Письма к жене. Л.: Наука, 1986. Письмо от 18 мая 1836 г. из Москвы в Петербург.

ливый, так сам напиши «Гамлета» или «Бориса Годунова». И ставь их, как тебе вздумается.

– Но ведь текст пролога написал Рабинер! Пушкиноведа! И если бы он Бергеру не понравился...

– Как не понравиться! – перебил Николай. – Для них Россия – грязная и тёмная. Вот блеснул огонёк – родился гений, и тот сразу давай костерить Россию. «*Догадал меня чёрт с умом и талантом родиться в России*!» Обрати внимание на слово «*чёрт*». А наши либеральные критикессы сразу закричали от восторга! «Какая находочка! Bravo, Бергер! И как в Пушкине разобрался! Гений!»

Константин, опять скептически улыбаясь, внимательно смотрел на Седова, словно впервые видел его.

– Как же ты с ним работал? Если он так тебе неприятен, почему же ты...

– А ты? – перебил его Николай. – Разве не знаешь, что наша профессия зависима? Да попробуй я откажись от роли! Где бы я оказался?

Он видел, как на него смотрит Гусельский, и лицо его сейчас изменилось: спокойствие ушло, сменившись злою усталостью.

– Да, ты прав, по глазам вижу. Работать со знаменитым режиссёром... Моцарта играть... как тут откажется... Но теперь у нас есть возможность самим сказать то, что мы хотим.

– Я вовсе не осуждаю тебя, – сказал Гусельский, поняв, что его взяла, что он поставил Седова на место. – Ну так всё-таки, что у нас-то будет? Чего мы хотим, если нам Бергер не подходит?

Николай успел собраться и твёрдо сказал:

– У нас будет «Моцарт и Сальери» Пушкина, а не Бергера! Пушкин и Моцарт должны стать живыми персонажами спектакля, а не резонёрами, которые связывают части действия. Нас должны интересовать вопросы творчества, а не бытовой жизни Пушкина и Моцарта. Уберём всё лишнее, что напридумывал Бергер с подачи Рабинера. У Бергера ещё аншлаг:

*Не знаю, отчего
Я так мечтал
На поезде поехать.
Вот – с поезда сошёл,
И некуда идти.*

Это японец Исикава Такубоку. Красиво? Да. Но говорит о тщетности жизни, её бессмысленности. Но ведь Пушкин и Моцарт утверждали противоположное! Я нашёл прекрасное высказывание Моцарта: «*Чем уродливее жизнь вокруг, тем прекраснее должна быть музыка*». Знаешь, Костя, сейчас эксперимент заключается не в том, чтобы «осовременить» классику, перенести действие на войну, или в космос, или в современный стеклобетонный офис, а вернуть героев туда, где они и находились. Одеть их не в скафандры или в футболки и рваные джинсы, а в камзолы и кружева, в туфли на каблучках. Рукава у камзолов чтоб были с батистовыми манжетами, а парики напудрены, такие, знаешь, пышные, завитые... И чтобы была у нас с тобой та глубина, которая есть в душе и стихах Пушкина, музыке Моцарта. Пушкин несколько не уступает Шекспиру. А с кем сравнить Моцарта? Нет такого композитора. Моцарт – это же сама музыка. А Пушкин – это сама поэзия. Как и Шекспир...

Николай встал, отодвинул стул, поднял голову, откинул руку в сторону и заговорил совсем другим голосом, преобразившись:

– «Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал: легко и без запинки. Если же вы собираетесь её горланить, как большинство из вас, лучше было бы отдать её городскому глашатаю. Кроме того, не пилите воздух так вот фуками, но всем пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре и, скажем, урагане страсти учитесь сдержанности, которая придаёт всему стройность. Как не возмущаться, когда здоровенный детина в саженном парике рвёт перед вами страсть в куски и клочья, к восторгу стоячих мест, где ни о чём, кроме немых пантомим и просто шума, не имеют понятия. Я бы отдал высечь такого молодчика за одну мысль переифродить Ирода. Это уж какое-то сверхсатанинство. Избегайте этого».

И ту же изобразил уже не Гамлета, а Первого актёра, который со своей группой приехал в Эльсинор:

– *Будьте покойны, ваша светлость.*

А потом снова за Гамлета:

– *Однако и без лишней скованности, но во всём слушайте внутреннего голоса. Двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям, с тою только оговоркой, чтобы это не выходило из границ естественности. Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет: держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблести её истинное лицо и её истинное – низости, и каждому веку истории – его неприкрашенный облик. Если тут перестараться или недоусердствовать, несведущие будут смеяться, но знаток опечалится, а суд последнего, с вашего позволения, должен для вас перевешивать целый театр, полный первых.³*

В это время раздались аплодисменты в глубине зала, и из темноты на свет вдруг вышла быстрыми лёгкими шагами молодая женщина и направилась к Седову.

– Вы так хорошо читали, что я не удержалась, чтобы не захлопать! Простите меня, ради Бога! Вы будете играть Гамлета? А мне сказали, что вы восстанавливаете «Моцарта и Сальери». Я у вас в театре впервые, видимо, сбор труппы не в этом зале, ещё раз простите...

Она говорила быстро, улыбалась, смотрела и говорила с такой искренностью, что на неё нельзя было обидеться, как на ребёнка, который случайно попал в комнату, где говорили о чём-то важном его родители.

На самом деле Любовь Венчанова, которую пригласили в театр на роль Эсмеральды в мюзикл «Собор» по знаменитому роману Виктора Гюго, приврала: она вошла в репетиционный зал ещё до того, как Николай стал читать монолог Гамлета. Услышав, как Седов спорит с Гусельским, она затаилась. Можно было в темноте выскользнуть из зала так же незаметно, как она сюда вошла.

Но у неё был свой интерес, и поэтому она решила выйти из темноты прямо к тому, с кем давно хотела ближе познакомиться. Она и предложение главного режиссёра театра, в котором работал Седов, приняла с удивлением и радостью, про себя сказав: «Это судьба».

И вот теперь она попала в этот репетиционный зал и увидела наконец того, о ком давно думала.

Всё началось с того дня, когда она посмотрела фильм, который принёс Седову известность не только у нас в стране, но и в Европе. Она так хотела встретиться с Николаем, что сразу решила найти его. Но в это время ей при-

³ Шекспир. «Гамлет». Акт 3, сцена 2. Перевод Б. Пастернака.

шлось заниматься бракоразводным процессом с лидером рок-группы «Мерлин Монро» Бабасовым, у которого она была солисткой. Потом пришла безработица, потом устройство в театр оперетты, где опять пришлось сражаться за место в театре. И вот теперь, когда, кажется, всё устроилось, мысли её вернулись к Седову, и она снова стала искать встречи с актёром, который ей так понравился после фильма «Путь».

Встреча состоялась на фестивале, когда она попросила знакомого режиссёра представить её Седову. Но Николай лишь вежливо улыбался, говорил самые обычные слова, да и сел далеко от Любы. После просмотра фильма она ждала, что Николай подойдёт к ней. Отбивалась от поклонников, прошивших автографы и «селфи».

Седов прошёл мимо с каким-то незнакомым ей человеком, даже не остановившись.

И вот примерно через полгода её вдруг пригласили в театр, где служил Николай. Она теперь была загружена работой сверх всякой меры и обязательно отказалась бы, если бы не знала, что там служит тот, с кем она желала встретиться.

Встретилась.

– Ещё раз извините за вторжение, – всё так же мило улыбаясь, сказала она. – Так получилось...

– Да что вы, мы как раз закончили, – живо сказал Гусельский, ответно улыбаясь Венчановой. – Нам тоже идти на сбор труппы. Я вас провожу в зрительный зал. Надо пройти через актёрский буфет и там по переходу выйти в главное здание.

– Вот как, спасибо. Я вспомнила.

И Николаю:

– А ведь мы знакомы. Помните, на фестивале летом?

– Да, помню, – сухо ответил Николай.

Он испытывал чувство раздражения, что эта опереточная красотка прервала разговор, который только-только стал налаживаться. Да и Гусельский, похоже, тяготится работой с ним.

И вообще – стоил ли браться за всё это дело?

– Вы тогда пообещали подождать меня после просмотра, помните?

Уже другая улыбка играла на мягких, чувственных губах Любы. Лицо её, чистое, свежее, несмотря на перенесённые испытания, измену человека, которому она поверила, сохранило природную красоту и обаяние, вложенное в неё от рождения.

Нос у Любы слегка вздёрнутый, глаза светятся добротой и лаской, вся она стройная, ладная, самой природой будто бы созданная для того, чтобы петь, легко двигаться по сцене, танцевать и радовать всех, кто смотрит на неё. Но мало кто знал, в том числе и Седов, что у Любы крепкий характер, что она умеет выстоять в самые тяжёлые моменты жизни, которые в её судьбе случались уже не раз и не два.

– Разве? – ответил Николай на вопрос Любы и пожал плечами. – Если так, то извините.

– У вас есть возможность исправить оплошность, – сказала Люба. – Вы сейчас проводите меня туда, где меня ждут.

Гусельский, иронически улыбаясь, видел, что Венчанова заинтересована не им, а Седовым.

«Забавно, – подумал он. – Ладно, ещё посмотрим...»

– Так что, Коля? – обратился он к Седову.

– Завтра здесь же в это же время.

– Хорошо. До встречи, Любовь Венчанова. Очень рад, что мы будем работать вместе.

И он, поклонившись нарочито торжественно, пошёл к двери, широко открыв её.

Из коридора в зал ворвался свет.

Седов невольно сощурил глаза.

– Идёмте, – сказал он Любе.

По коридору шли молча. Навстречу попалось несколько человек, с которыми Николай мимоходом поздоровался. Но каждый встретившийся им, конечно же, отметил про себя, с кем идёт Седов.

– Меня должны представить коллективу. Вы, конечно, останетесь?

Седов ответил утвердительно.

Когда они подошли к зрительному залу, она сказала:

– Надеюсь, в этот раз вы меня не обманете? Подождёте меня? Я давно кое о чём хотела спросить вас.

– Что? Спросить?

Он не мог скрыть удивления.

Увидев, что Венчанова вошла в зал, многие повернулись к входу и захлопали.

Главный режиссёр театра Пётр Соломонович Домнин, седой, благообразный, с небольшой, тоже седой бородкой, в очках, улыбнулся, хлопая, и показал, чтобы Любовь шла на сцену, где стоял стол, за которым он и находился.

Люба бегло посмотрела на Седова, сказала: «Ждите» – и быстрыми лёгкими шагами прошла по залу и поднялась на сцену.

ГЛАВА ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

После того, как закончился «сбор труппы», на котором первой представили Любовь Венчанову, Пётр Соломонович рассказал, о чём будет новый спектакль «Собор». Он назвал и своих помощников, которые будут руководить сценографией, музыкальной и танцевальной частями спектакля. Потом, заключая собрание, как бы мимоходом сказал и о спектакле на Малой сцене – «Моцарте и Сальери», возобновить который поручено Николаю Седову.

Но вот собрание закончилось, и Николай Седов хотел было уже уйти из театра, направившись к служебному выходу, как вспомнил, что обещал Венчановой подождать её.

Неприятное чувство возникло в душе, когда многие актёры проходили мимо, направляясь к своим машинам, а он продолжал стоять у выхода, опершись на перила, отделявшие проходную будочку, в которой сидела неизменная Ксения Васильевна, мощная дама, много лет служившая в театре вахтёром. Она знала всё про всех, могла рассказать много разных историй. При чём персонажами могли стать все – от директора театра до уборщиц и билетёров.

Сейчас Ксения Васильевна с сочувствием смотрела печальными глазами, которые мгновенно могли стать и грозными, на Седова, про которого она, конечно, знала, что у него больные сердце и ноги и что у него нет машины.

Показалась Венчанова – она шла быстрой походкой в сопровождении самого Петра Соломоновича и его помощников.

– Машина вас ждёт, – услужливо сказал Домнин.
– Спасибо, спасибо вам, – улыбаясь, ответила Люба. – У меня своя, не беспокойтесь.

Она пожалала на прощанье руки начальствующим.

– До встречи на репетиции.

Кивнула Николаю:

– Идёмте.

Пётр Соломонович явно удивился, что Седов, оказывается, *близко знаком* с Венчановой, раз они уходят из театра вдвоём. «Видимо, по кино знают друг друга», – мелькнуло в его сознании.

И все присутствующие тоже отметили, кто идёт провожать *звезду*. А Ксения Васильевна, симпатизирующая Седову, слегка наклонила голову, чтобы прикрыть довольную улыбку.

Николай не мог идти так резво, как Венчанова. Ей пришлось сбавить шаг.

Она открыла дверцу «Мерседеса», усадила Николая на переднее сиденье, а сама села за руль.

Повела она машину уверенно, привычно, и это не мог не отметить Николай.

– Вы же на Мосфильмовской живёте?

«А откуда вы знаете?» – хотел спросить Николай, но сдержался.

– А я чуть дальше, ближе к цирку. Там ещё базарчик есть, знаете?

«Цирк, базарчик... оперетта», – подумал Седов и нехорошо улыбнулся.

– Нет, на базарчике мы уже побывали с вами, – мрачно сказал он.

Люба засмеялась. Смех её звонкий, девичий. Седов вспомнил, что по смеху лучше всего определяется характер человека. Кажется, Чехов это сказал.

– Я тоже не люблю, когда труппа собирается. Много лишнего, правда?

– Лицемерия.

– Да, но и искренность всё же есть, – серьёзно сказала она. – Разве у вас в театре нет друзей?

– В театре – нет.

Она помолчала.

На улице, по которой они ехали, движение шло без задержек, и машина Любы катилась легко, мягко. Обычно здесь возникали замедления, а то и пробки. Впрочем, «поверху» в последнее время Седов ездил всё реже – чаще на метро. Москва менялась прямо на глазах, и Николай не без любопытства смотрел на дома, фасады которых отреставрировали, привели в порядок. Появились и новые скверы, дорожки для велосипедистов.

– Так о чём вы хотели меня спросить, Люба? Если позволите, я так буду вас называть.

– Очень даже позволю. И вас буду звать Николаем. Можно?

– Перейдём «на ты»?

– Конечно. Вы не такой уж «возрастной» артист. А я уж не такая «молодая героиня».

Люба повернула руль направо, слегка наклонившись к Седову, русый хвост её волос колыхнулся.

Она улыбнулась, боковым зрением видя, что Николай оживился, мрачноватое настроение его проходит.

– Куда вы повернули? Разве...

– Во-первых, мы же договорились перейти «на ты». А во-вторых... – Она свернула ещё в один переулочек. – Я этот район хорошо знаю. К тому же посмотри навигатор...

- Так мы едем не в ту сторону! Люба!
- Успокойся, Николай. Я думаю, ты не будешь возражать, если я заеду на базарчик. Там хорошие овощи и фрукты. Наши. И мясо отличное – тоже наше, не привозное. А потом тебя отвезу. Не возражаешь, надеюсь?
- Куда же деваться.
- Ну вот и договорились.

«Однако в настырности ей не откажешь», – подумал Седов.

Но почему-то эта бойкость, которую он назвал «настырностью», естественность поведения Любы, её задорность, девичья, молодая, этот хвост волос – густой, пшеничного цвета, чёлка, глаза – всё нравилось ему, хотя в этом он боялся себе признаться.

На «базарчике» Любу, конечно, узнали, наперебой предлагали ей свой товар, особенно кавказцы, радостно ей улыбаясь. Николаю пришлось осаждать слишком ретивых продавцов, выступить в роли если не мужа, то близкого ей человека. Одна тётенька узнала и его и сказала, когда взяли у неё жёлтые медовые груши:

- Как я рада за вас! Берегите её.

Николай ошалело посмотрел на женщину, а Люба, всё слышавшая, весело рассмеялась.

Вернулись к машине с двумя большими пакетами. Поставили их на заднее сиденье, и, когда снова помчались по улицам Москвы, освещённым мягким осенним солнцем, Люба сказала:

– У меня дома стоит подаренная ещё весной бутылка французского «Бордо» – всё никак не могу его попробовать. Столько читала и слышала о нём, теперь вот и дома стоит, а всё не могу откупорить эту бутылку. Поможешь мне?

Николай понял, что попался.

Она играет с ним? Но для чего? Разве может он, больной, уж почти *отыгранный*, всерьёз понравиться молодой, красивой женщине? Или ей нужен он как старожил театра, авторитет?

«Но ведь пригласил её Соломоныч. Он, поди, влюблён в неё по уши. И прекрасно знает, что сейчас она одна. Бабасов-то её кинул. Или она кинула Бабасова? Неужто в оперетте никого себе не выбрала? Ладно, рискну. В конце концов голову-то не потеряю. Годы-то у меня не те».

– Спасибо, за приглашение, Люба. Честно признаться, не ожидал такой чести.

Она смотрела на дорогу, продолжая уверенно вести машину.

– Просто давно хочу поговорить серьёзно. Да не с кем.

– Неужели?

– Представь. А после твоего «Пути» хотела поговорить именно с тобой.

– Фильм не мой, а Восковского.

– Восковский в Париже. А может, в Милане. Или ещё где-то там.

Она припарковала «Мерседес», видимо, «в своём месте» – так уверенно поставила машину.

Он взял пакеты, и они вошли в подъезд нового дома, построенного в глубине двора. На лифте поднялись на третий этаж и вошли в квартиру, которую Бабасов оставил Любове, когда завёл себе новую жену – «восходящую звезду эстрады», взявшую себе сценическое имя Гюзель. Вообще-то звали её Галина, а фамилия была Капустина. А сам популярный рокер Алик Бабасов звался по паспорту Александром Магомедовичем Каримовым. Никакого отношения к президенту Узбекистана не имел, хотя и намекал на родство с древним узбекским родом.

Пока Люба собирала на стол, Николай рассматривал картины и фотографии на стенах просторной гостиной. Внимание его привлекла неожиданная здесь икона, стоящая с края книжной полки. Икона небольшого размера, на доске века, скорей, восемнадцатого. А может, и семнадцатого. Местами краски потрескались; лик святого, изображённый в три четверти, обращён к свитку, который он держит в правой руке. Лик потемнел. Но это не мешало увидеть его глаза со взглядом, как бы погружённым в созерцание тайны, может, её поймёшь, когда прочтёшь, что написано на свитке. Святой сосредоточен, спокоен, и сразу видно, что он не от мира сего.

Сначала Николай подумал, что это Иоанн Креститель. Но потом обратил внимание, что рядом с левой рукой святого изображён не крест, а какой-то странный предмет, что-то вроде клещей. В клещах – если это клещи – что-то красное... Что? Может, это кто-то из святых пустынножителей? Если разобрать, что написано на свитке, тогда всё станет ясно. Но буквы мелкие, да к тому же и почти стёртые от времени.

Обычно все, кто приходил в эту гостиную, прежде всего подходили к парадному портрету Любы, висевшему на самом видном месте. Она в белом платье, с букетиком васильков в руках, с неизменным жёлтым тугим пучком волос, перекинутым через плечо на грудь. Слишком, пожалуй, красивая. И цвет глаз, который подчёркивали васильки в руках, и лёгкое платье, облежавшее стройное молодое тело, – всё было изображено слишком открыточно. Хотя и не без мастеровитости художника, который явно ею любовался.

Николаю достаточно было одного взгляда, чтобы оценить портрет. Он переключился на пейзажи, тоже хорошие, но опять-таки слишком красивые. Видимо, написанные тем же художником, что писал её портрет.

Висело на стенах и несколько фотографий Любы в ролях, которые она, видимо, считала лучшими – фотографии хорошего качества, в хороших рамках. Но их Николай уже видел в журналах, и поэтому они тоже не остановили его внимания.

Но вот икона... Откуда она у неё? И чей же это образ?

После фильма «Путь», где он сыграл роль Богомаза, его стали считать актёром, способным передать внутренний мир творческого человека. Поэтому и роли в основном ему предлагали этого плана. Спросить, чей лик изображён на иконе, неловко. Но сам определить не мог, хотя какие-то догадки мелькали в его сознании.

– Откуда у тебя эта икона? – спросил Николай.

– От бабушки. Она дала мне её, когда я поступать поехала. В Москву. Я ведь с Севера, архангельская.

Она протянула ему ту самую бутылку «Бордо».

– Открывай.

– Из самого Архангельска?

– Нет, Каргопольский район, деревня Сенькино. Ты правда этого не знал?

– Не знал, – растерянно ответил Николай.

– И ничего обо мне не читал?

– Нет, про роли твои знаю...

– Какие?

– Ну, в кино... В этом фильме... как же он называется...

Он занялся бутылкой, чтобы скрыть смущение.

Пробка громко чмокнула, освободив горлышко бутылки.

Она ждала, когда он вспомнит название фильма, где она сыграла главную роль. Лучшую, как она считала.

– Ну, ты там молодая героиня... которая остаётся одна...

Люба весело засмеялась.

– Это ты про «Весенние встречи», где у Верченко Риты главная роль. Говорят, она чем-то на меня похожа.

– Может быть... Прости меня, я теперь редко хожу в кино.

– А в театр? У нас ты, конечно, ни разу не был.

– Почему же... был...

– Когда?

Николай вспомнил, что в театр оперетты он ходил, когда только приехал в Москву. Лет двадцать пять тому назад... Что же он тогда смотрел? Какую-то советскую оперетку...

– Там про моряков. Вспомнил: «*Севастопольский вальс, помнят все моряки*», – пропел он искусственным голосом, подражая опереточным солистам.

Люба так и покатилась со смеху – смешно у Николая получилось.

– Тебе бы комиком быть!

– Да, иногда и самому хочется комедийную рольку рвануть.

Он наполнил бокалы.

– Давай выпьем, Люба. И ты мне расскажешь о себе – мне казалось, что ты из Питера, из актёрской среды. Столичная такая дива. А ты из Каргополя...

– Каргопольского района, – поправила она.

– Вот! Опять всё напутал! Прости. За тебя, Люба. Дай Бог тебе всего самого хорошего.

– Нет, пить будем за нас. Ведь ты тоже приступаешь к новой работе.

Бокалы их сошлись, они выпили.

Вино показалось Николаю совсем невкусным, но он сказал:

– Замечательно.

– Да? А мне не очень. Ой, у меня там в микроволновке отбивные... – И она торопливо поспешила на кухню.

«Вот это да! – думал Николай, глядя на разносолы, выставленные Любой на стол, фрукты в стеклянной вазе, которые они купили у восхищённого кавказца, который глаз не мог оторвать от самой Любви Венчановой. – Деревенская! С Севера! И как ладно всё у неё получается!»

Он вспомнил, как Жанна, бывшая его жена, собирала на стол, как томились гости, когда приходили к ним на застолье. Она всё причитала «минуточку, сейчас-сейчас», и кто-нибудь из женщин обязательно шёл ей помогать, и всё равно дело двигалось медленно, и настроение у Николая портилось, исправляясь только после нескольких выпитых рюмок водки.

Люба вернулась, принесла поджаренные отбивные. Они шипели, капельки жира слегка пузырились. А глаза у Любы поблёскивали.

– Знаешь, Николай, не нравится мне это «Бордо». У меня есть коньячок. А? Под отбивные?

– Принимается.

Выпили по рюмке коньяка, с аппетитом ели отбивные. Люба следила, чтобы Николай не забывал и про овощи, и про соусы.

Давно так не потчевали Николая. Год прошёл, как он развёлся с Жанной. Она теперь с этим Горенко, режиссёром, к которому он же, Николай, устроил её работать. Взяли её заведовать литературной частью, потому что Жанна закончила МГУ, философский факультет. И судила обо всём очень веско, грамотно. Хотя только в общих театрально-киношных застольях, так как

нигде не работала. Всё училась – то на филологическом, то решила перевестись на философский. А то и вовсе не училась, взяв академический отпуск. А потом перевелась на заочное – родился Алёшка.

Николаю приходилось сниматься в ролях, от которых прежде бы он отказался. Да и театр не бросал – всегда нужны были деньги. Чтобы обустроиться в Москве, не снимать квартиру, а занять свою, устроить Алёшку в садик. Потом собрать деньги на стиральную машину, холодильник, потом на хотя бы завалющую «Ладу» – и так далее, и так далее.

И вот, когда всё вроде наладилось, Жанна стала целить выше – теперь ей понадобился главный режиссёр.

О романе с Горенко Николай, как водится, узнал последним. Ушёл куда глаза глядят – опять мотаться по съёмным квартирам, где он и сейчас мыкает своё одиночество и болезнь.

– Ты мне так и не сказала про икону, – напомнил Николай, снова увидев её на краю книжной полки.

Святой как будто ждал, что Николай поймёт, кто он такой. И тогда даст правильный ответ на какой-то очень важный вопрос.

– Как не сказала? Икона бабы Фроси. Она меня и воспитала. Отец от нас уехал на заработки в Архангельск, да так и не вернулся. Другую нашёл, а мать заболела. Очень она его любила. И рано умерла. Я тогда в первый класс пошла... Вот я у бабы Фроси и росла. Между прочим, она замечательно пела. И меня выучила. Если бы ты слышал, как мы пели на два голоса! Вся деревня у наших окон собиралась! Она и в Москву меня отправила. Не сомневалась, что я стану певицей.

Николай смотрел на Любу совсем другими глазами.

– И что же дальше?

– Приезжала к ней на каникулы... в отпуск... В Москву взять её не могла... сам понимаешь...

– Похоронила её где?

– Там же, в Сенькино... Ну, хватит обо мне. Давай ещё по одной.

Выпили.

Люба приготовила кофе.

– Вот ты теперь обо мне кое-что знаешь. А я о тебе знаю побольше.

– Ну?

– Угу! – Она пила кофе маленькими глотками, не манерничала. – Вот ты, например, не знаешь того, что должен знать.

– Это про что?

– Да про твою учёную даму. Её ведь Горенко уволил.

Николай от неожиданности вздрогнул. Резко посмотрел на Любу. Они теперь сидели в креслах у журнального столика. Николай поставил чашечку с блюдцем на стеклянную столешницу. Выпрямился.

– Точно знаешь?

– Да. Моя подруга Настя в театре Горенко работает. Мне и сказала.

Николай натужно улыбнулся:

– Видишь, весёлая жизнь у меня.

А про себя подумал: «Значит, опять я всё узнаю последним».

– Я тебе это сказала... чтобы ты... ну, понимаешь, бабы, они такие...

– Какие?

– Ну, начнёт тебя атаковать... Ребёнка вперёд выставлять...

– А ты атаковала?

– Что ты. Во-первых, у меня ребёнка нет. Да Алик и так всё мне оставил, так что какие уж тут алименты... Он хороший мужик. Но бабник. Я за него

пошла, потому что верила: мы с ним в песне всю жизнь будем вместе. Только песня оказалась короткой.

– Это я знаю, читал.

– Мне бы сразу понять. Но мы всё понимаем задним умом.

Она смотрела на него как-то слишком участливо.

– Но ты... держись.

– Не беспокойся, Люба. Бывало и хуже.

Он встал.

– Спасибо за обед... За этот день... Ты сама не понимаешь, как много для меня сделала... Я... не знаю, как сказать... Но, кажется, что-то для себя решил...

– Что? – в её голосе прозвучала надежда.

– Не знаю, Люба. Ещё не разобрался.

– Разбирайся.

Они вышли в коридор.

– Я бы отвезла тебя, но нельзя – вино, коньяк.

– Да тут троллейбус рядом. А там на метро.

– Точно.

– До свиданья, Люба.

– До встречи, Николай.

Он хотел поцеловать её, но не решился.

И она видела это.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПЕРВЫЙ СОН

Когда он приехал домой, уже стемнело.

Снимал он однокомнатную квартиру в мосфильмовском доме у художницы Вали, которая тайно любила его. Любви своей Валя никому не открывала, поскольку была замужем за художником-постановщиком Ефремом. Он взял Валу к себе, и квартиру Валя с большим удовольствием сдала Николаю, когда узнала, что он развёлся с Жанной. Свою квартиру, добытую с таким невероятным трудом, Николай оставил Жанне и ребёнку. Забрал вещи, часть книг и свой ноутбук. Считай, поступил так же, как Алик Бабасов.

Когда он подумал об этом, то даже засмеялся.

Умывшись, сел к рабочему столу, открыл ноутбук и стал искать фотографию иконы, которую увидел у Любы. Почему-то ему казалось важным выяснить, чей же это образ написал неведомый ему иконописец.

Сначала он просмотрел множество икон Иоанна Крестителя, но потом понял, что ищет совсем не там. Иоанн Креститель всё же должен быть с крестом. А на иконе у Любы подобие креста. Что-то похожее на скрещенные палки... Напоминающие клещи... Пстой-пстой, я же об этом пророке что-то читал...

Да-да, о пророке...

Иеремия?

Иезекииль?

Перед ним на дисплее проходили один за другим лики ветхозаветных пророков, но ни один из них не походил на того, кого он искал.

Утомившись, Николай лёг в постель.

«Что же я завтра скажу Гусю? – подумал он про Костю Гусельского. – С чего начать? Сразу с текста?»

Потом он снова подумал о Любе. Он интересен ей? И что она хотела спросить у него? Какие серьёзные вопросы хотела задать? Про Жанну? Нет, она понимает, что я никогда не вернусь к «учёной даме», как она выразилась. Или всё про меня выясняет? Просто бабье любопытство... А может... хочет, чтобы и я был в её окружении...»

Но тут же себе возразил:

«Нет, она, вроде, не такая... Надо же, деревенская девушка! С Севера! А в Бабасове ошиблась... Хотя он взял её солисткой... Разве я не знаю, как бабе приходится пробиваться? Да ещё в нашей профессии?»

Он скинул лёгкое одеяло и встал. «Позвонить? А что я ей скажу»? Он снова лёг и стал читать про себя молитву, которой научил его батюшка Сергей. К этому священнику он в последнее время всё чаще навещался. *«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, буди милостив мне, грешному...»*

Повторив молитву и раз, и другой, и третий, он стал засыпать.

...И вот увиделся ему господский дом, не особо богатый, деревянный. Аллея, ведущая к нему, веранда. Вот он входит в дом, осматривается... Боковая дверь отворяется, оттуда выходит человек в светлой визитке с чёрным шёлковым бантом под отворотами белого воротничка, брюках со штрипками того же цвета. Чуть улыбаясь, он протягивает вперёд руки, и Николай радостно идёт навстречу.

– Ну вот, наконец-то, – говорит хозяин. – А я жаждался вас, честное слово.

– Вы простите меня, я...

– Не оправдывайтесь, Николай. Садитесь вот сюда, на диванчик. А я сяду сюда. Кресло хорошее, я его люблю. Не знаю, чем вас потчевать. Ведь Люба чем только вас не угощала!

– Вы и это знаете?

Пушкин откинулся на спинку кресла, приветливо засмеялся.

– Ну что же вы, Николай. Нам здесь известно даже то, о чём вы и не подозреваете. Здесь же всё не так, как у вас.

– Простите, Александр Сергеевич. Я так рад видеть вас, что совершенно сбился...

– Может, всё-таки морсу? Или квасу? Что вы так на меня смотрите? Я вот визитку надел, потому что ещё гостя одного жду. Для вас интересного, между прочим.

Он опять улыбнулся.

И весь вид его, такой знакомый, родной, так растрогал Николая, что он не мог вымолвить более ничего – только смотрел на обожаемого человека.

– Ну полно, полно, Николай. Я же вас давно знаю – ещё с тех пор, как вы моего «Онегина» наизусть выучили в студенческие времена. А я-то не таким был, как вы. В лицее, как вам известно, «читал охотно Апулея, а Цицерона не читал».

– Так и я Цицерона не читал. Зато вами прямо-таки упивался. И, знаете, целыми кусками наизусть выучивал «Онегина» каждый вечер, как ложился спать – а утром уже наизусть повторял. И сейчас помню с любого места! Не верите?

И он прочёл:

*В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озабилась: муза в ней
Открыла мир молодых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.
И свет её с улыбкой встретил;
Успех нас первый открыл;
Старик Державин нас заметил.
И, в гроб сходя, благословил.⁴*

Пушкин тихо улыбался, совсем по-отечески смотрел на Седова.

– Вот, Николай, и ваша студенческая келья была всё-таки сродни моей... А теперь года к суровой прозе клоняют... Знаете, вы сегодня Гусю... – он именно так произнёс фамилию Гусинского, как за глаза называли Константина за позёрство, которое нет-нет да и проглядывало у него, особенно когда он выступал на телевидении. – Вы всё говорили правильно, – продолжил Пушкин, становясь серьёзным. – Действительно, рогатый порой вздумает да и заставит нас что-нибудь эдакое сказать, как я сказал в раздражении. Да разве ж я не люблю России? Уж если и брат эпитаграф, то из другого письма.

– Чаадаеву?

– Вот видите, вы об этом уже думали.

– Да, я очень люблю эти ваши слова:

«Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предвзвешенными – я оскорблён, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал».⁵

– Вы хорошо всё помните, Николай, – одобрил Пушкин.

– Да какое там, Александр Сергеевич! Вот считают меня знатоком иконописи, а я сегодня не мог сказать, чей это лик изображён на одной прекрасной иконе.

– У Любы? Вспомните в своё время, не огорчайтесь. А понравилась вам эта женщина? Честно скажите.

– Вам скажу. Всё было так неожиданно... Да, она мне понравилась. Но ведь как мне опять бы не врехаться...

Пушкин засмеялся:

– Врехаться! Ну и глагол! А вы как следует к ней присмотритесь. У вас будет время... Да, хочу вам сказать, что мыслите правильно, никаких плакатов с цитатами над сценой вешать не надо. Это слишком уж в лоб. И что внимание сосредотачиваете на стихах, тоже правильно.

⁴ «Евгений Онегин», гл. 8. Все поэтические тексты А. С. Пушкина цитируются по книге, изданной к 200-летию поэта фондом подвижничества и просветительства «И возродится Великая Русь». Москва – Париж, 1988 г.

⁵ Пушкин А. С. Собрание сочинений в десяти томах. – М.: Государственное издательство «Художественная Литература», 1962. – Т. 10. Письма 1831–183(?)



Пушкин-лицеист.
Рисунок Нади Рушевой

Но ведь это всё-таки театр... И если у вас будут только мои стихи, спектакль получится слишком коротким.

– Вот и главный мне об этом же говорил.

– Он прав. Надо обязательно придумать нечто именно театральное. Что, однако, не должно заслонять смысл трагедии, а, наоборот, укрупнять его... Вы же сами читали из «Гамлета».

– И вы так думаете? – оживился Николай. – Слава Богу! Я пришёл вот к какому выводу, дорогой Александр Сергеевич. Позвольте мне высказаться.

– Прошу.

Николай встал с диванчика, вышел на середину гостиной.

– Если каждое нарушение меры отступает от назначения театра, то это значит: если вас вписывать, дорогой Александр Сергеевич, в само действие трагедии, то именно ваши мысли

должны быть основополагающими. И ни в коем случае не мои, или Домнина, или хоть любимого мною Восковского. Но они должны быть представлены не дидактически, а именно театрально, то есть художественно. Вот мой кредо. Другое дело, если я сочиняю пьесу или прозу какую-нибудь и делаю героем ну хоть вас, например, – продолжал Николай. – Но тут я обязан взять какие-либо страницы вашей судьбы, желательны неизвестные, и представить их во всех подробностях, так, как я их увидел. Но опять-таки эти подробности не должны вступать в противоречие с вашими представлениями о смысле жизни и вашей судьбе. Я смогу угадать эти подробности и точно их воспроизвести, если мне Господь поможет.

И ещё... Я убедился, что в этом именно и заключается талант творца.

Николай выдохнул, сказав наконец то, о чём давно хотел сказать самому себе. Но всё не мог собрать воедино мысли, которые мучали его, разрозненно бродили в сознании. А тут в конечном итоге удалось их сформулировать.

Он ждал, что ответит любимейший поэт.

Пушкин слушал внимательно, подперев кистью правой руки свою курчавую голову.

– Теперь остаётся найти вам, Николай, эти подробности, о которых вы так хорошо сказали.

– Но я надеялся, что вы... что если мне выпадет счастье увидеть вас...

– О нет, не надейтесь, Николай. Нам этого говорить нельзя... Запрещено.

– Но как же мне быть?

– Жить дальше... Искать... Вам самому надо дойти до конца... до самой сути, понимаете?

– Но...

– А вот и наш долгожданный гость! – сказал Пушкин, вставая.

Протянув руки вперёд, так же, как встречал Николая, он пошёл навстречу вошедшему в гостиную человеку.

Гость был в красном камзоле с белым батистовым жабо, такими же батистовыми белыми манжетами, в напудренном парике. Стуча каблуками своих башимаков с золотыми пряжками, он тоже быстрыми шагами шёл навстречу Пушкину.

Они обнялись.

– Друг Моцарт, рад приветствовать тебя!

– И я рад, друг Пушкин!

Увидев Николая, стоящего у столика, за которым они сидели, разговаривая с Пушкиным, Моцарт подошёл и к нему.

– А с вами рад познакомиться, Николая. Александр мне рассказывал про вас, и я рад, конечно. Вы же знаете, что я всегда любил актёров. Среди них были мне и друзья.

– То правда, Николай, – сказал Пушкин, кладя руки на плечи Моцарта и Седова. – Друзья, прекрасен наш союз! Ибо и поэту, и композитору никак не обойтись без исполнителей, то бишь актёров!

Моцарт улыбнулся, но почему-то грустно:

– Верно, друг Пушкин. Но тут ждут нас, творцов гармонии прекрасной, немалые опасности. Особенно когда встречаются певицы...

Пушкин откинул голову, засмеялся беззаботно:

– Так разве мы боимся этих опасностей, не бросаемся им навстречу? Особенно в молодые лета?

– Да и не только в молодые, а Николая? – спросил Моцарт Седова, не без доброй иронии глянув на него.

«Он совсем не такой, каким я представлял его, – подумал Николай о Моцарте, сравнивая его облик с теми портретами, которые видел. – У Пушкина портрет вышел живее, потому что Александр Сергеевич наш. И воображение быстро нашло портрет... и Моцарта!»

– Правильная мысль, – сказал Пушкин, слегка повернувшись к Николаю. – В этом как раз сила поэзии. Она даёт полёт мысли не только актёрам, но и музыкантам, композиторам. Не так ли, друг Моцарт?

Пушкин предложил гостям садиться, но Моцарт увлёк собеседников за собой, направляясь в сад.

– Там сейчас так хорошо. Пойдёмте гулять!

В саду всё дышало летней свежестью. Под вековыми липами и дубами прохлада давала ту благодать, при которой так хорошо идти неторопливо. И так же неторопливо разговаривать с близкими тебе собеседниками, с которыми давно хотелось поделиться заветными мыслями.

Аллея тениста и как будто давно знакома. Как будто Николай уже шёл по ней. Но только, конечно, не с этими людьми, о которых он и помыслить не мог, что они не только явятся ему, но и позволят говорить с ними.

– Вы хотели спросить, Николай, почему действие уже не сказок, а драм и комедий происходило в моё время в таких каких-то странах, которых и вовсе не было. И почему-то на Востоке, в Персии, – сказал Моцарт. – Вот Сальери написал оперу «Тараф». Её любила публика. Друг Пушкин вспоминает о ней в своей маленькой трагедии...

Николай почти восторженно подхватил, обращаясь к Пушкину:

– У Вас, Александр Сергеевич, Моцарт говорит Сальери:

Да, Бомарше ведь был тебе приятель.
Ты для него «Тарафа» сочинил.
Вещь славную...

...И мне пришлось доставать «Музыкальную энциклопедию», – продолжил Николай, – читать про Сальери, про его «Тарар». Никто теперь, кроме музыковедов, эту оперу не знает. Да и не все музыковеды знают! Двум или трём звонил – не знают! А Сальери помнят только потому, что Александр Сергеевич про него написал. А у вас? В Австрии? Германии?

– У нас помнят, конечно. Хотя «Тарара» никто сейчас не ставит. Но Бомарше помнят...

– Потому что вы «Женитьбу Фигаро» на музыку положили! – горячо воскликнул Николай. – А у Бомарше чего только не нагорожено! Я прочёл. Там и похищение жены героя, и коварный царь. И поединок соперников. Конечно же, побеждает герой, а коварный царь убивает сам себя. Вот и весь «Тарар».

Пушкин засмеялся, а Моцарт лишь улыбнулся:

– Ах, Николая, любой сюжет, если пересказать, как вы пересказали, получится глупым. Для оперы и нужен такой сюжет, какой Бомарше придумал. Нет, он был мастак выдумывать интриги – что в жизни, что в своих сочинениях!

– И главное, что у него порок наказан, – добавил Пушкин. – Вот почему «Тарар» нравился и публике, и самому Иосифу Второму. А к вам, друг Моцарт, он относился совсем по-другому, чем к Сальери. Сначала восторгался, а потом остыл... И принимать не стал...

– А разве вас, друг Пушкин, царь жаловал? Не относился ли к вам, как ко мне мой государь... как к придворному слуге... Скажите, что такое камер-юнкер? Это высокое звание?

– Один из низших придворных чинов в табели о рангах, – сказал Пушкин. – Мне пожалован как лицу девятого класса – это лицо соответствовало званию капитана военного ведомства. Стал с 31 декабря 1833 года камер-юнкером. Ура!

Моцарт участливо смотрел на Пушкина.

– Да, друг Пушкин, всю жизнь приходилось и вам, и мне доказывать, что мы не либретейные слуги. Что с нами надо обращаться всё-таки иначе...

Они на несколько минут замолчали.

У Николая вертелся на языке вопрос, и он всё-таки задал его:

– Скажите, Моцарт, Александр Сергеевич написал, что Сальери... это так и было?

– Ах, Николая... Разве друг Пушкин вам не сказал, что на эти вопросы нам отвечать нельзя?

– Но... ведь разрывали могилы... проводили экспертизы...

– Да знаем, знаем. А что толку? Разве что-то изменилось? Люди стали думать иначе? – сказал Пушкин.

– А всё же неприятно, что копаются в могилах... Ваша известна, друг Пушкин. А вот моя...

– Не печальтесь, друг Моцарт. Есть нечто посильнее, чем могилы и надгробья! И даже величавые памятники!

– Музыка! – воскликнул, оживившись, Моцарт.

– Поэзия! – воскликнул и Пушкин.

И Николай смотрел, как два гения, отделившись от него, удаляются по аллее всё дальше и дальше, пока совсем не растворились в сиянии неземного света.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ МИФ И ЖИЗНЬ

Он проснулся внезапно, оторвал голову от подушки, сел на постели, диковато осматриваясь.

Штору на окне он не закрывал, так как под его балконом успели вырасти сильные ясени, прикрывающие утреннее солнце. По тому, как оно пробивалось сквозь листву, Николай определял время. Сейчас сплошная стена листвы, подсвеченная солнцем, чуть колыхалась под утренним ветерком.

Так, примерно восемь часов. На всякий случай он включил мобильник, лежащий рядом на тумбочке. Верно, восемь утра.

Скорее записать, что увиделось. Может, так и начать спектакль. Все трое встречаются. Актёр спрашивает, они отвечают. Потом вступает Сальери...

Он почти бегом направился в ванную, чтобы умыться, выпить стакан чая и поскорее записать, пока не расплескал увиденное...

Потом резко остановился.

Да разве *такое* возможно забыть?

Нет!

Сон помнился во всех мельчайших подробностях, и, когда он ехал сначала на троллейбусе, потом на метро, потом шёл пешком к театру, всё увиденное чётко всплывало в сознании.

И блаженная улыбка нет-нет да и появлялась на его лице.

И он повторял без конца: «Надо же!»

Лишь когда поздоровался с вахтёршей Ксенией Васильевной, и она, улыбувшись ему, сказала: «Я пирожки с малиной вчера испекла. Тебе к чаю не дать?» – он словно опомнился.

– Конечно, дать! – И открыл свою сумку, которая всегда висела у него за спиной, и бережно уложил туда пирожки.

– Тёпленькие, – сказал он и чмокнул губами, благодаря тучную Ксению Васильевну.

– Рада, что у тебя всё хорошо, – сказала она.

– По моей морде лица видно? – отозвался он.

– Именно. – Она дала ему ключ от репетиционного зала. – Соломоныч уже здесь. И *она* тоже.

– Ага. Спасибо вам, возлюбленная моя Ксения Васильевна. Вечный я ваш должник.

– Иди-иди. Некогда мне с тобой любезничать.

Он пошёл к лестнице, хотел было пойти быстрее, как в молодые годы, прыгая через две ступеньки, но резкая боль в ногах вмиг отрезвила его. Он замер, ожидая, когда боль отпустит.

Хорошо, мимо никто не проходил, а то начались бы расспросы, и пришлось бы что-то отвечать.

Он выждал минуту-другую, стал вспоминать, не забыл ли дома лекарства. Открыл молнию сумки, ощупал боковой кармашек. Лекарства на месте. И таблетки, и мази.

Медленно пошёл по ступенькам вверх по лестнице, открыл ключом дверь репетиционного зала, уселся на режиссёрское место. Пока никто не пришёл, стал натирать икры ног индийской мазью. Она пахучая, запах слишком острый. Зато помогает – боли утихают на несколько часов, а если меньше двигаться, то и до вечера.

«Как же это я дома забыл намазаться?.. Сейчас придёт Костя, унюхает. Начнутся расспросы... Охо-хо...»

Но Гусельский всё не приходил. Николай, разложив перед собой текст трагедии и свою тетрадь, сделал несколько записей, решив объяснить Константину, как он решил выстроить спектакль. А потом можно будет почитать первую встречу Моцарта и Сальери в трактире. Послушать, как звучит текст у Гусельского...

«Ведь если подумать хорошенько, то Сальери похож на Понтия Пилата. Ведь он в первом монологе оправдывает себя, готовясь к отравлению Моцарта... Убеждает себя, что иного выхода нет, как убрать гуляку праздного, которому почему-то Бог дал такой талант...»

Он записал в тетради: *«Понтий Пилат. Сальери считает, Господь серьёзно ошибся, дав талант Моцарту. Надо было дать ему, Сальери»*. Подумал: «Может быть, Сальери умывает руки перед тем, как они садятся за стол трапезничать с Моцартом? Или это будет слишком в лоб?»

И вспомнил, что выписал из заметки Пушкина, которая так и называется: «Сальери». В ней он пишет, что Сальери во время премьеры «Дон Жуана» Моцарта не удержался от зависти, видя, с каким восторгом публика принимает оперу, и засвистел пронзительно.

Заметка Пушкина кончалась так:

«Завистник, который мог освистать «Дон Жуана», мог отравить его творца».⁶

«Вот и ответ, почему отравлен Моцарт», – подумал он.

Гусельский опоздал на сорок минут.

– Я был у главного, – предупреждая вопрос Николая, сказал он. – У него всё новые идеи, прямо не знаю, куда от них деться.

Он был в цветной шёлковой рубашке, в белых джинсах, на ногах модные мокасины. Сел напротив Николая, заложив ногу на ногу. Светло-коричневые мокасины невольно бросились в глаза Николаю. Почему-то именно они более всего вызвали в душе Седова глухое раздражение.

– Мог сказать главному, что у тебя репетиция. Ты пришёл в девять сорок...

– Да я сказал ему! – повысил голос Костя. – А он ответил: «Ничего, подождёт».

– Так и сказал?

– Так и сказал, – подтвердил Гусельский.

– Ладно, проверим, – сдерживая раздражение, сказал Седов. – Могу предположить, о чём у вас был разговор...

Он посмотрел на Константина мрачным взглядом, поняв, что перед ним сидит никакой не Моцарт – слишком разителен вышел контраст с тем, что он увидел во сне.

– Скажи прямо, Костя, ведь ты ходил отказываться от Моцарта, ведь так? Ведь ты выбрал Феба в «Соборе», сказал, что две роли репетировать одновременно тебе не хочется, что за двумя зайцами не угонишься... Ведь так?

– Не так, – соврал Костя, потому что Домнин убедил его, что репетиции у Седова – это лишь ввод, это дело второстепенное, всё можно уладить. Репетиции и спектакли развести по времени, тут нет ничего сложного. – Он сказал, что впредь расписание будет составлено так, чтобы одно не мешало другому.

Седов молчал, размышляя, как поступить. Выдержать хамство Гусельского? Заставить его работать как следует? Или сразу послать его куда подальше?

⁶ А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 т. Т. 6. «Сальери».

ше? Он найдёт Моцарта... В театре много хороших актёров. Можно и пригласить кого-то из других театров... А Пушкина сыграет сам.

– Слушай, Костя. Вот что я тебе скажу. Тебе стоит задуматься над своей фамилией. Ведь каждая фамилия дана человеку совсем неслучайно.

– Куда ты клонишь?

– Сейчас поймёшь.

Он сделал паузу, хотел выпить таблетку от сердечной боли, но не стал, решив сначала высказаться.

– В школе тебя наверняка дразнили Гусем. В институте тоже дразнили, но реже. Мне говорили, что ты однажды даже дрался. Но в твоей фамилии, если вдуматься, есть и другой смысл... Гусельский... *Гусли*, ты слышишь? *Гусли*, понимаешь? – Он в упор смотрел на Константина. – Я о тебе думал и вспомнил одно стихотворение раннего Вознесенского:

*Ходит поэт синеокий,
Гусельки навесу,
Очи его как омуты
Или окно в весну.*

Здорово, правда? Так вот, самим Господом или судьбой, если ты в Бога не веришь, тебе дан выбор: быть *Гусляром*, то есть поэтом и музыкантом, или *Гусем*, который важничает и красуется собой. Но всё равно годится лишь для того, чтобы его украл Паниковский.

Он замолчал, ждал, что ответит Костя.

– Кому же не хочется быть поэтом и композитором... – сказал наконец Гусельский. – Гусляр... это ты хорошо придумал.

– Я ещё лучше придумал, – сказал Николай. – Садись рядом. Смотри сюда. – Он подвинул тетрадь на середину стола. – Ты будешь Актёром – тем, кто сочиняет спектакль. Он мучается, ищет решение... И вот ему является сам Александр Сергеевич. Его буду играть я. А потом и Моцарт является... ты. На сцене у нас будет две площадки – одна для снов, разговоров Актёра с Пушкиным и Моцартом, а другая – для Моцарта и Сальери.

– Но как же... как же я буду успевать гримироваться, переодеваться... если буду Актёром и Моцартом?..

– Это не проблема! У нас же будет ещё одно действующее лицо – Музыка! Не забывай, ведь Моцарт – Гений! Равного нет в мире! Представляешь, четырёхлетним мальшом он уже сложнейшие вещи играл, да как! Вся Европа с ума сходила! Отец возил его по всем столицам. Он даже в дороге музыку сочинял! Отец придумал для него специальный столик... А в одиннадцать лет написал музыкальную драму «Аполлон и Гиацинт» – изумительную музыку! Мы с тобой в отдельную сцену её развернём. Потому что детство – это всё... Знаешь, недавно я услышал: *Гений – это формула детства*. Шарль Бодлер сказал, французский классик...

Он видел, что Костя слушает всё внимательней.

– У нас сны... То Пушкин, то Моцарт будут появляться из сумрака, как видения...

– *Как гений чистой красоты*, – подхватил Константин.

– Верно! – обрадовался Николай.

Он вдруг понял: аллея, по которой шли они втроём во сне, это же аллея Анны Керн! Пушкин прогуливался с той, о которой написал бессмертное

стихотворение. Передал его Анне с только что законченной главой из «Онегина». Второй, кажется...

– Можно будет ввести и Анну Керн, – сказал Николай.

– Прекрасно! Какой же спектакль без любви?

– Подумать...

И он записал в тетради:

«Анна Керн. Аллея».

– Ты прав, без любви вообще нет ничего. Моцарт тоже был влюбчив, как и Пушкин. *«Но сердце вновь горит и любит оттого, что не любить оно не может»*.⁷ Помнишь?

– Конечно, – приврал Гусельский.

Он где-то слышал эти строки, но не знал, откуда они, из какого стихотворения то ли Пушкина, то ли Лермонтова.

– И у Моцарта, вот, я выписал...

Он взял тетрадь, нашёл нужное место в ней и прочёл:

«Ни высокий интеллект, ни воображение, ни то и другое вместе не творят гения. Любовь, любовь и любовь – вот в чём сущность гения».

А? Крепко сказано? Знаешь, Костя, все поражались, как это мальчишка Моцарт мог выражать чувства, которые переживают взрослые люди. Ведь он был не только маленький виртуоз, но в музыке вполне взрослый, серьёзный композитор. В одиннадцать лет рассказал о любви, ревности, зависти, коварстве... Да о чём угодно! Вся палитра человеческих чувств в его музыке! В этой самой музыкальной драме или оратории «Аполлон и Гиацинт». Никто этому поверить не мог! Решили так. Архиепископ, желая убедиться в чудесном даре Вольфганга, повелел запереть его у себя. Чтобы тот никого не мог видеть. В этом заточении Вольфганг должен был написать ораторию на стихи, данные ему архиепископом. Но Моцарт написал музыку для первой части оратории за один день! Вместо недели, кажется, ему данной. Стал колотить в дверь и кричать: «У меня всё готово!» Представляешь? Заточение малыша прекратили. Убедились – гений! Я нашёл эту музыку и прослушал. Она, конечно, немного архаична, но замечательна! Как и миф... Я его, признаюсь, не знал. А он прекрасен!

– Даже так?

– Да, Костя. Нам с тобой необязательно рассказывать зрителю, в чём там дело у Бомарше и Сальери в «Тараре». А вот миф про Аполлона и Гиацинта можем даже показать.

– Зачем?

– Он хорошо ложится на историю дуэли Пушкина с Дантесом. Как будто Моцарт предвидел, как развернётся судьба Пушкина. Да и его самого.

– Мальчишка Моцарт? Забавно, – удивился Гусельский. – Напомни, что там случилось.

– Нет, не забавно, Костя. Печально. Трагически даже.

Он грустно посмотрел на Гусельского.

– Допустим, в нашем спектакле Актёр рассказывает, что миф этот о влюблённых – дискоболе Гиацинте и красавице Мелии. Но есть и ветренный дискобол Зефир, коварный, ненавидящий Гиацинта. Он соперник Гиацинта не только на состязаниях, но и в любви – любыми путями он пытается овладеть Мелией. И вот на состязаниях он кидает диск не вперёд, а прямо в соперника. И убивает его.

⁷ Строки из стихотворения Пушкина «На холмах Грузии...»

Об этом узнает Аполлон, покровитель искусств и атлетов. В гневе превращает Зефира... в ветер!

Аполлон, видя горе Мелии, чтобы утешить её, превращает Гиацинта в прекрасный цветок...

Гусельский молчал, прикидывая, кто же из героев мифа Дантес, кто Пушкин, кто Натали? А царь? А барон Геккерн, покровитель Дантеса? Благородный отец или старый развратник?

– Вспомним про аллею, по которой идут наши герои, – продолжил Николай. – И вот они выходят к цветнику, где растут прекрасные гиацинты. Представь, что Гиацинт превращается в Пушкина... Зефир – в Дантеса...

Они идут навстречу друг другу по снегу, выставив пистолеты вперёд...

Дискоболы готовятся кинуть свои диски...

Первым стреляет Дантес...

Диск Зефира попадает в Гиацинта...

Пушкин падает, смертельно раненный...

– Не кончено! – кричит он, поднимая голову и целясь в Дантеса...

Выстрел!

Дантес дёргается – пуля попала ему в руку – ею он прикрывался, стоя боком к сопернику.

– Bravo! – выкрикивает Пушкин и отбрасывает пистолет в сторону...

А Дантес...

Внезапно возникает снежная замья. Она начинает крутить всё сильнее, сильнее...

Кружит бешено даже...

И вот уже от Дантеса ничего не осталось, кроме ветра...

А Пушкин...

Пушкин стоит у клумбы и смотрит на прекрасные гиацинты...

Гусельский во все глаза смотрел на Николая.

– Неплохо, Коля! Даже очень! Но ведь это киносценарий! Как это сыграть в театре? Разве возможно?

Николай улыбнулся:

– Возможно, Костя. У нас будет хороший сценограф. И, может, будет кинопроекция. Посмотрим. Сама идея-то тебе нравится?

– Да! Теперь я начал видеть спектакль!

– Вот и я тоже. Чем дальше мы будем репетировать, идей будет приходить всё больше. Так всегда бывает. Надо только встать на правильные рельсы. И они поведут нас по правильному пути...

Он замолчал, радуясь, что Гусельский, кажется, понял его.

– Теперь обратимся к стихам Пушкина. Сальери начинает:

*Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня
Всё это ясно – как простая гамма.*

Он прервал чтение.

– Понимаешь, Костя, эти слова тоже толкуют так, как будто говорит сам Пушкин. Но ведь это кредо Сальери! Надо же помнить, где у Пушкина написано, по какому поводу и кто эти слова произносит! Это я к тому, о чём мы уже говорили, когда разбирались в письме Пушкина к жене. И фразе насчёт того, где его рогатый подкараулил, помнишь?

– Помню, – согласился Константин.

ГЛАВА ПЯТАЯ РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ. ВТОРОЙ СОН

Шёл уже второй месяц, как начались репетиции. Николай втянулся в работу, но стоило только прекратить работу над спектаклем и перестать думать о нём, как сразу тревожная смута наваливалась на душу.

С одной стороны, его радовало, что Гусельский стал единомышленником, на лету схватывал и воплощал то, о чём он просил. Спектакль они создавали отдельными кусками, и Костя всё чаще спрашивал, когда же у них будет полная ясность – с чего начать, как встроить те куски, которые у них как будто были уже сделаны, в ткань спектакля, и чем всё закончится.

– Подожди, не торопись, – успокаивал его Николай. – Шекспир, говорят, приносил в театр отдельные акты своих трагедий и комедий. Актёры не знали, чем всё закончится. И это, считают некоторые режиссёры и сейчас, даже к лучшему.

Гусельский не соглашался, говорил, что Николай ему не доверят, прячет от него свои мысли.

Николай отбивался, успокаивал Костю, говорил, что тот всё узнает в своё время.

Но после инцидента, который произошёл в один из этих дней, смутная тревога, которая жила в его душе, неожиданно приобрела зримые очертания.

Как-то в обеденный перерыв, когда он зашёл в актёрский буфет, уже заполненный почти до отказа, заметил, что за одним из столиков сидят Гусельский и Люба. Гусельский о чём-то оживлённо говорил, забыв про обед, а Люба с одобрительной улыбкой его слушала.

Всё бы ничего, не в первый раз он замечал их вдвоём, но в этот раз Люба слишком уж приветливо, как-то очень даже ласково смотрела на Костю.

Свободное местечко нашлось как раз рядом со столиком, за которым сидели Люба и Гусельский.

Николай сел так, что Люба оказалась лицом к нему, а Костя – спиной.

Люба кивнула Николаю, он тоже. Сердце почему-то дрогнуло. Он принял равнодушный вид, принёс себе еду, сел.

Но почему-то не мог успокоиться.

«Что это со мной? – спросил он себя. – Она с ним, ну так что же... Репетируют... поэтому и вместе...»

Невольно он слышал, о чём говорил Гусельский:

– Представляешь, что я открыл? Аполлон будет в нашем спектакле – потому что о нём идёт речь в оратории Моцарта «Аполлон и Гиацинт». Эту вещь он в одиннадцать лет сочинил, представляешь? У нас оратория – ещё её называют музыкальной драмой – будет оживать. Аполлона буду играть я. Читаю про Аполлона. Он, оказывается, *дитя света*, то есть *солнечный*. А как звучит *солнечный* по-латыни, знаешь?

– Нет, – ответила Люба, избегая взглядов, которые время от времени бросал на неё Николай.

– Феб! – радостно возгласил Гусельский. – Вот как всё сошлось! Феба я играю в «Соборе», Феб вдруг обозначился и нашем «Моцарте»!

– Действительно здорово! – Люба допила какой-то напиток, что-то вроде кока-колы, продолжая улыбаться Гусельскому. – Ну, пошли?

И она прошла мимо Николая, кивнув ему на прощанье и бросив в оправданье своей торопливости: «Репетиция». Костя, только теперь увидев Седова, ни капельки не смутился и пошёл вслед за Любой. Их видели все, кто

пришёл в буфет. Хотя делали вид, что не обращают на них никакого внимания.

– Вот и хвостик появился у нашей дивы, – иронически сказал комик Дронов, сидевший за одним столиком с Николаем.

Он с аппетитом ел гамбургер, широко разевая рот и откусывая большими кусками мягкую булку так, чтобы захватить побольше начинки. Прожевал, добавил:

– Один хвост у неё на голове, а второй – сзади.

– Не удивительно, Павел Иванович, – как можно равнодушнее отозвался Николай. – Какая же дива без хвоста сзади? Таких див не бывает.

– И то верно, – согласился Дронов, опять примериваясь, как бы побольше откусить от гамбургера.

Щёки у него были полненькие, глаза голубые, а язык острый – во всех смыслах.

– Вот смотри, я еле-еле умудряюсь откусить от гамбургера. Рот маловат! А Костя выбрал гамбургер не только с котлетой, но ещё и с овощными прослойками! Они куда как и толще, и аппетитнее моих. Разве откусит?

– Ну, Павел Иванович, ваши гастрономические метафоры слишком уж прямолинейны.

Он допил компот, кивнул Дронову и направился к выходу.

«Выходит, не один я заметил, что Гусь от неё не отходит. Со мной она просто полюбезничала... А я-то... Размечтался... Анна Керн...»

Несколько раз после той встречи, когда он побывал у неё в доме, Николай намеревался встретиться с Любой. Но то она спешила, то ему надо было идти куда-то по срочным делам.

«А Гусь-то хорош! Соловьём пел! Все мои слова себе приписал. Показывает, какой он умный и талантливый! Пускай, так мне и надо... На Анну Керн приглашу другую актрису. Да разве бы она согласилась эпизод у меня играть? Держи карман шире, мечтатель...»

Так он себя казнил, продвигаясь по коридору к своей гримёрной. Но только он подошёл к ней, как его остановила Софья, секретарша Петра Соломоновича. Если Ксения Васильевна, вахтёрша, всё знала про всех в театре, то Софья, или Софочка Адамовна, знала, как и с кем связаться по всей Москве, во всех нужных Петру Соломоновичу инстанциях. Даже и в Кремле у неё были свои связи – там тоже сидели у ответственных господ-товарищей свои Софьи Адамовны.

– А я-то вас обыскалась, Николай Иванович, – сказала она, со значением глядя на Седова.

Была она маленького росточка, вся такая ладненькая, ухоженная. Всё ещё миловидная только потому, что всю свою недюжинную энергию тратила на омоложение.

– Пётр Соломонович вас вызывает.

– Когда?

– Прямо сейчас.

Кабинет Петра Соломоновича напоминал музейную комнату. На стенах висели уже как бы заранее приготовленные экспонаты. Сбоку от письменного стола огромный белый стенд. На нём автографы всех выдающихся людей, кто побывал у Домнина.

Многочисленные крупные фотографии иллюстрировали, что с Петром Соломоновичем, оказывается, дружили и Жан Марэ, и Ив Монтан с Симоной Синьоре, и ещё какие-то мировые знаменитости, не столь узнаваемые, как прославленные актёры, но, по всей вероятности, тоже не менее знаменитые.

О них так и хотелось спросить: «А это кто?» И если спрашивали, то Домнин небрежно отвечал: «Габриэль Маркес» – знаменитый колумбийский писатель, Нобелевский лауреат, действительно был в Москве и посетил театр Домнина.

Вид Петра Соломоновича сегодня был как-то слишком официален – это Николай отметил, как только вошёл в кабинет главного. Домнин не встал из массивного кожаного кресла, оторвал взгляд от каких-то бумаг, которые просматривал, указал рукой на кресло, которое стояло по ту сторону от его мемориального стола.

– Садись.

Он ещё досматривал какие-то важные бумаги, потом наконец взглянул на Седова, послушно занявшего место, ему указанное.

– Как здоровье?

– Да ничего, терпимо.

– Ты в прошлый раз говорил про ноги...

– Да всё в порядке, – отмахнулся Николай, зная, что не для выяснения же его здоровья вызвал его Домнин.

– Ну хорошо, – Домнин тяжело вздохнул. – Вот о чём хочу тебя спросить. Скоро два месяца, как ты начал репетировать... Хотелось бы знать, как идут дела.

– Нормально, – ответил Николай.

– Нормально? – подхватил Домнин и несколько наклонил своё тело над столом, словно лучше разглядывая Седова. – А мне говорят, что ты до сих пор не решил, о чём будет спектакль и каков его план – хотя бы в общих чертах.

– Кто говорит? – Николай внутренне насторожился, уже понимая, что разговор предстоит нелёгкий.

– Неважно, кто. Ты вот мне скажи: концепция спектакля у тебя есть? Ведь ты мне сказал, что спектакль будет в новой редакции. Но я до сих пор не знаю, *какая* это будет редакция. И никто не знает.

– Но мы же договорились, Пётр Соломонович, что вы мне даёте полную свободу. Вы же сами сказали, что верите в меня. И даже просили, чтобы я передал роль Гусельскому.

– Совершенно верно. – Домнин пристально смотрел на Николая сквозь стекла маленьких очков, напоминающих пенсне – только цепочки на них, как у Станиславского, не хватало. – Я сказал, что полностью тебе доверяю как актёру. Потому что актёр ты очень хороший – никто в этом не сомневается. Но... Коля, милый, режиссура – это ведь другая профессия...

– Вы хотите сказать, что я сел не в свои сани? Но ведь мой спектакль только-только начал строиться. Я же вам сказал с самого начала, что у меня будет не спектакль Бергера, где Пушкину отведена роль резонёра, а нечто другое. Я хочу, чтобы Пушкин у меня был *живым, как и Моцарт*. Поэтому я ишу такой материал, который бы мне помог выполнить эту задачу.

– Но, Коля, два месяца прошло, а у тебя ничего нет!

– Как это – ничего? Ведь встреча Актёра с Моцартом и Пушкиным уже готова.

– Да, но мне сказали, что она никак не монтируется с текстом самой пьесы «Моцарт и Сальери».

Это мог сказать Домнину только Гусельский.

«Но ведь он так радовался этой сцене! Так хвалил меня! В чём же дело? Для чего наушничал?»

– Концепция у меня готова... в голове. Но теперь я могу её вкратце изложить на бумаге. Что же касается самого текста новых сцен, то естественно, что пока есть только отдельные куски...

– Как это так – *естественно*? Как можно ставить спектакль под фу-фу? Нет, Николай, так нельзя... У тебя рождаются всё новые и новые идеи. Мне говорили, что ты уже видишь спектакль на большой сцене. И Анна Керн у тебя появилась... Это правда, что ты хочешь Венчанову просить в твоём спектакле играть?

Игра обнаружилась: кроме Гусельского, про Анну Керн, которую может сыграть Люба, он никому не говорил. Даже ей ещё не успел сказать. Но почему Гусь так напугался, что прибежал к Домнину?

– Пока это действительно только моя задумка, – сказал он вслух. – О ней я говорил только с Гусельским.

– Но ведь ты... – Пётр Соломонович ещё ближе придвинулся к Седову, согнувшись над столом, – ты ведь хочешь сделать это? Хочешь? – проговорил он со значением.

Николай попытался понять, почему для Домнина так важно, будет ли Люба занята в его спектакле или нет.

– Вы боитесь, что если Венчанова будет занята у меня, это помешает вашему спектаклю?

– Да! – решительно сказал Домнин и выпрямился. – Да!

– Но, Пётр Соломонович... Я ещё не получил её согласия. И вам не стоит так волноваться. Соперник вам не я. Судя по всему, Гусельский. Иначе он бы не прибежал к вам ябедничать.

– Ты так действительно считаешь? – прямо спросил Домнин.

Щёки его покрылись розовыми пятнами, голос потерял властность.

«Боже, он действительно *врюхался*? – мелькнуло в сознании Седова. – *В этом всё дело?*»

– Давайте договоримся так, Пётр Соломонович. Я в течение недели напишу план будущего спектакля и содержание основных сцен. Сейчас октябрь. К новому году представлю вам текст новой редакции спектакля. Что же касается Венчановой, то здесь я вам мешать не буду. Другая актриса на роль Керн найдётся. Мало ли у нас красивых женщин.

Глаза Домнина изменились, он вздохнул облегчённо. Снял маленькие очки, стал протирать их – словно они запотели.

– Я рад, Коля, что ты меня понял, – сказал он. – Я всегда знал, что ты умный актёр. И можешь стать умным режиссёром.

– Стараюсь. – Николай встал. – До свиданья, Пётр Соломонович. И берегите себя.

– До свиданья, Николай. Как будет готов макет, покажешь. Подумаем и о большой сцене.

«Вот это да! Он готов даже на это! Седина в голову – бес в ребро!»

Он направился к двери кабинета, а Пётр Соломонович глядел ему вслед из-за своего массивного, мемориального стола, как определил его назначение Николай.

В театре сегодня он не был занят, а потому направился домой. Пока шёл к троллейбусной остановке, понял, что надо бы побереечь себя, а не советовать это Соломонычу. У Домнина скоро юбилей, семьдесят лет, а ему пятьдесят два, на восемнадцать лет он моложе, годится ему в сыновья. А у кого здоровье крепче – это ещё вопрос.

Опять болят ноги, поскорее надо присесть. Хоть на скамейку эту, на остановке. Она под навесом, значит, немокрая. Но всё равно холодная.

«Как же теперь работать с Гусельским? – подумал он. – Ведь он меня сдал. Но почему? Скорее всего, решил перестраховаться. Или отгораживает меня от Любы? Или в душе считает, что я режиссёр нукудышный? Но ведь

сам говорил, что ему нравится со мной работать. И вон как Любе в буфете заливал про Феба...»

В троллейбусе оказались свободные места, и он с облегчением сел у окна.

«Соломоныч, конечно, быстро поставит его на место. Или уже поставил? Может, ему донесла та же Софочка, что он от Любы не отходит. Но откуда Гусь узнал, что главный сам рвётся к Любе? Да мог ему прямо сказать: уймись, мальчик. Не твой это гамбургер, как Павел Иванович Дронов определил... И всё, с Гуся пёрышки быстро слетят... Да мне-то, в сущности, что за дело до них?» – зло спросил он себя.

И себе же ответил: «Жаль разочаровываться в очередной раз. Я же *другой* представил себе северную девчонку. Из деревни Сенькино Каргопольского района... Таковую русскую... совсем не опереточную диву... А серьёзную актрису... которые, конечно же, есть и в оперетте... Да хоть Татьяну Шмыгу⁸ взять. Разве она плохая актриса?»

Так он мучал себе, пока наконец не лёг в постель у себя дома и попытался думать о чём-то другом, чтобы успокоиться.

Всё сильнее ныло сердце, и надо бы ему встать, принять хотя бы корвалол, но сил никаких не осталось. Он смог лишь лечь так, чтобы сердце ныло поменьше. Попытался заснуть, но впал в смутную дрёму. Перед глазами возникали лица – то раздумывавшегося от внезапного волнения Домнина, то смеющегося Гусельского, то комика Дронова. А вот появилось и лицо Любы.

Она пристально смотрела на него и вдруг спросила:

«Так ты действительно хочешь дать мне роль? Или это приманка, как у Петра Соломоновича?» – *«Да ты что, Люба. Просто я столько узнал про Керн... Она совсем не такая, какой я её представлял. Думал, светская красавица, да и всё. А оказывается, она много страдала...»* – *«Неужели?»* – *«Да! Её в шестнадцать лет отдали за престафелого генерала. По тем временам 52 года – уже старик. Этот Ермолай Керн настолько ей был чужой, что она даже его возненавидела. По дневнику это видно. Но на людях, конечно, не показывала этого... Тем более за ней всегда волочился хвост поклонников, молодых офицеров. Да и гражданских... И всем казалось, что она живёт легко, припеваючи.»* – *«Она ему изменяла?»* – *«Кто знает... Представь, красавица с поэтической душой, в свете весела, остроумна. Пушкин впервые её увидел восемнадцатилетней... Конечно, был поражён... Она тогда не поняла, кто перед ней... И он не понял, что за душа у этой красавицы.»* – *«И где же потом они встретились?»* – *«Я не знал, что она была родственницей тех самых Вульффов, которые были его соседями, жили рядом в Тригорском. Прасковья Александровна была ему как мать, когда он томился в ссылке в Михайловском. Дочери её, между прочим, во многом стали Ольгой и Татьяной в «Онегине». Анна Керн была племянницей хозяйки Тригорского. Вот там снова он её и встретил...»* – *«Они полюбили?»* – *«Вернее сказать, открыли друг друга. Она уже читала «Бахчисарайский фонтан», его лирику. И поняла, что он не просто талант, а нечто большее... Вон на столе моя рабочая тетрадь, возьми. Найди страничку, где крупно написано: «КЕРН». – «Нашла». – «Читай».*

Она прочла: «Он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, но нескончаемо любезен, то томительно скучен – и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через

⁸ Т. И. Шмыга – единственная в СССР актриса оперетты, удостоенная звания «Народная артистка СССР».

минуту... Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его...⁹

Она грустно посмотрела на него: «Теперь я поняла. Это ведь не только про Пушкина написано». — «Разве?» — «Не притворяйся». — «Я...» — «Думаешь, я не поняла, почему ты про Ермолая Керн сказал? Вообще, сколько можно держать меня за дуру?» — «Люба, о чём ты...» — «Подумаешь, 52 года! Сам сказал, что в то время таких мужчин стариками считали... Старый хрыч — Соломоныч, а не ты». — «Но ведь... почему же с тех пор не подошла, не поговорила...» — «А не залетело в твою буйную головушку, что, может, я проверяла себя? И тебя?» — «И как проверка?» — «Да как тебе сказать... Интересно, Анна Керн Пушкина всерьёз полюбила?» — «По-моему, всерьёз». — «А он?» — «Разве по стихотворению непонятно?» — «Так это же в стихотворении! А в жизни как? Почему отпустил, не погнался за ней?» — «Люба, милая, стихотворения поэта и есть его жизнь...»

Она положила ладонь на его лоб.

«У тебя температура. Ты заболел». — «Какая у тебя лёгкая ладонь. И прохладная. Знаешь, сердце что-то сильно щемит... Надо бы встать... В столе лекарства...»

Она встала, подошла к столу. Открыла ящик.

«У тебя слишком много лекарств. Встань, сам выбери, что нужно».

Он с усилием приподнялся. Открыл глаза, испуганно озираясь. Уже сгустились сумерки, в комнате стало темно. С трудом он нашёл выключатель, зажёг настенное бра. Простыней вытер холодный пот. «Плохи твои дела, Седов. Придётся вызывать скорую. Или обойдётся?»

Он хотел встать и принять лекарства. Но силы покинули его. Всё-таки он дотянулся до телефона. Позвонил в «скорую» и художнице Вале, хозяйке квартиры. Попросил её приехать и открыть дверь врачам — сам он сделать это уж не мог.

ГЛАВА ШЕСТАЯ БОЛЕЗНЬ

Его привезли в районную больницу, которая находилась в старом здании, где, видимо, давно не было и ремонта, и субсидий, чтобы наладить нормальный уход за больными. Район стремительно разрастался, а больница и поликлиника оставались старыми, новые все были «в ближайшем будущем».

Больные лежали даже в коридоре, и Вале с большим трудом удалось буквально втиснуть Николая в палату, где лежали уже шесть человек. Седова уложили на операционную кровать, у стены, седьмым.

Он это понял, когда утром его разбудила медсестра. Она по очереди ставила всем привезённым в эту палату капельницы. Николай смотрел, как по прозрачным трубочкам стекает в него какая-то оздоровительная смесь препаратов.

Двигаться нельзя, лежать надо на спине, глядя в потолок когда-то белого цвета, а теперь посеревший от времени. По краям потолка есть даже какая-

⁹ Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. — М.: Правда, 1989.

то лепнина – узоры в стиле «сталинского вампира», как определил послевоенный стиль архитектуры тот же комик Дронов.

Сердце не ныло, Седов чувствовал слабость после вчерашнего приступа. Интересно, что же произошло? Раз он здесь лежит под капельницей, значит, что-то серьёзное?

Спросить сестру? Но у неё какое-то холодное, неприступно официальное лицо, которое он всё же успел рассмотреть, когда она ставила капельницу.

Вот она обошла всех семерых, и он окликнул:

– Сестра!

Она подошла к нему.

– Что со мной?

– Сейчас будет обход, врач всё скажет.

Она пошла к двери, а Николай услышал, как один из больных, лежащий на койке у противоположной стены, сказал:

– Да ни хрена он не скажет! У них тут пересылка, как в лагере, понял, новенький?

Николай повернул голову к говорящему, сумел разглядеть небритое лицо и лысую голову.

Лысый продолжил:

– У них тут всё по стандарту. И говорят как роботы.

– А всё-таки, что говорят? – спросил Николай.

– Тут инфарктники. И тебя, значит, вчера шибануло.

– Не только инфарктники, – раздался другой голос, прозвучавший с кровати, стоявшей ближе к двери палаты. – Есть и с инсультами.

Кто это сказал, Николай определить не мог, так как голос доносился из кровати, стоявшей вдоль стены, за его ногами.

– С инсультами здесь мы с тобой вдвоём, – сказал ещё кто-то. – И то нас отсюда уберут, когда койки освободятся.

– Ага, жди! – зло сказал лысый больной. – Уберут, когда вынесут на кладбище.

– На кладбище тоже нет мест, – сказал ещё один голос. – Заплатишь, тогда и получишь место.

– А куда же нас тада девать? – спросил ещё один больной.

– Куды, – усмехнулся лысый, – туды-растуды. На свалку.

«Боже, – подумал Седов. – А вдруг – insult? Вдруг я не смогу ходить? Но... при insultе теряется, кажется, дар речи?»

– Во сколько обход? – спросил он скорее для того, чтобы убедиться, что может говорить, а не узнать время прихода врача.

Пришёл врач, и разговоры больных прекратились. Он сел на табурет, который услужливо подставляла ему другая сестра, с тетрадью на чёрном планшете, как у телеведущих. Она записывала всё, что говорил врач, спрашивая больных о самочувствии, некоторых прослушивая каким-то новейшим прибором, напоминавшим тонометр, но с ещё какими-то датчиками.

Достаточно молодой, энергичный доктор говорил краткими формулировками. Николай обратил внимание, что одет он не в традиционный белый халат, а в голубой костюм из лёгкой ткани. Курточка с короткими рукавами, брюки, шапочка тоже голубая, ладная.

– Так, Седов Николай Иванович, – сказал он, подсаживаясь к кровати Николая. – Как самочувствие? Кардиограмма? – обратился он к сестре. – Сейчас же сделать повторно. Нет-нет, вы лежите, двигаться вам нельзя. Придётся у нас полежать... Ну, недельку, а там посмотрим...

Николай следил, как доктор смотрел ленту с кардиограммой, в свой приборчик, на котором что-то показывали датчики. Говорил сестре-помощнице, что надо сделать, и она быстро записывала.

– Так что со мной, может, всё-таки скажете? – спросил Николай, когда доктор встал и сестра быстро убрала табурет.

– Сердце у вас большое, Николай Иванович. Будем лечить.

– Это я знаю, – как можно спокойнее сказал Николай. – Так что, инфаркт?

– Ну, если хотите, да. Но какова степень заболевания, скажем после, как посмотрим анализы, проведём исследования. А пока лежите, выполняйте назначения – о них вам расскажет сестра.

И он направился к выходу из палаты.

Известие о том, что Николай в больнице, сообщила художница Валя, позвонив Софье Адамовне. Та сразу же поставила в известность Петра Соломоновича. Он распорядился, чтобы заведующая труппой выяснила, что с Седовым, надолго ли он слёг, и прочая.

Когда Люба пришла на репетицию к Домнину, весь театр уже знал, что у Седова инфаркт и что он «загрел» в больницу.

– Пётр Соломонович, – сказала Люба, – прошу меня отпустить. Можно ведь обойтись без меня.

– Как раз нет, Любовь Николаевна. Попробуем сцену с Фебом... Где Гусельский?

– Здесь я, – послышался из темноты зала голос Кости.

Он вышел на сцену.

– Итак, Феб заглядывает в окошко Эсмеральды... Нашли?

– Пётр Соломонович, я не могу репетировать. Мне надо идти.

– Да что с вами? Куда идти? Репетиция до трёх часов, у нас ещё уйма времени.

– А у меня времени нет. Извините, конечно. Но ситуация чрезвычайная.

– Как? Да что такое? – искренне удивился Домнин. – Объяснитесь.

– Вы серьёзно не понимаете? – Люба подошла к самой рампе, пристально глядя в зал, где за режиссёрским столиком сидел Домнин. – Вам действительно всё равно, что будет с ним? А если у него обширный инфаркт и требуется срочная помощь?!

– Ах вот вы о ком, – Домнин скептически усмехнулся. – Успокойтесь, опасности для жизни Николая Ивановича нет. Да, у него инфаркт, но всё что надо сделать, уже сделано. Софья Адамовна звонила в больницу и всё выяснила. Так что никуда ехать не надо!

Последнюю фразу он произнёс, вложив в неё особый смысл.

Но это заявление Домнина лишь сильнее настроило Любу на решительные действия.

– Я говорила с Софьей Адамовной, – сказала Люба. – Ей ответили самыми общими словами. Надо ехать в больницу и всё выяснить на месте.

– Вот как? – почти саркастически заметил Домнин. – Ехать именно вам?

– Именно мне, – парировала Люба.

Она стояла у края рампы, в чёрном брючном костюме, светловолосая, решительная, и вид у неё был такой, что она не боится никого и ничего.

– Ну что ж, раз так, – он развёл руки в стороны, – поезжайте, Любовь Николаевна.

Люба повернулась и ушла со сцены в боковой коридор.

Дошла до гримёрки, где ей выделили место рядом с ведущей актрисой театра, стала быстро одеваться. Когда она шла к выходу из театра, её догнала Софья Адамовна. От быстрого бега она запыхалась.

– Любовь Николаевна, подождите! Да подождите же вы! – крикнула она.

– Что ещё? – Люба остановилась у проходной.

Ксения Васильевна зорко наблюдала за происходящим.

– Пётр Соломонович хотел переговорить с вами.

– Передайте ему, что разговор отложим до завтра. Я позвоню.

И она вышла из проходной на улицу.

«Молодец, девка!» – решила про себя Ксения Васильевна.

По навигатору Люба определила, как ехать до больницы, в которую попал Николай. Москва в этот день выглядела неприветливой, грязной. Дожди, лившие почти всю неделю, перемешались с грязным снегом, лежащим вдоль обочин. Грязь летела на тротуары и на прохожих, и они отпрыгивали от фонтанов из-под колёс машин, которые непрерывным потоком рывками двигались по улицам.

Дорога казалась Любе бесконечной, и она даже хотела однажды проскочить на одном из поворотов раньше времени. Но сдержалась. Когда подъехала к больнице, припарковала машину, стала искать дежурную, приготовив улыбку. Волосы открыла, сняв капюшон куртки, взбила их, чтобы быть узнаваемой. Она приготовилась к тому, что придётся ублажать всех улыбкой и обещаниями контрамарок на её спектакли.

Первой сдалась дежурная, объяснив, на какой этаж пройти. На нужном этаже тоже сидела молоденькая дежурная сестра, которая, к счастью, узнала Любу и радостно ей улыбнулась.

Она прошла по коридору, в котором стояли койки с лежащими на них больными, и наконец добралась до палаты, где лежал Николай.

Сестра, которая узнала Любу, остановила её у двери, сама первая вошла в палату, чтобы больные привели, по возможности, себя в порядок. Подошла к кровати Николая, сказала, что к нему посетительница. Поставила у кровати табуретку и только после этого впустила Любу.

Николай, увидев её, слабо улыбнулся:

– Сюрприз.

Люба смотрела, куда бы поставить пакет с фруктами, которые она купила по дороге в больницу.

Сосед по ближайшей к Николаю койке торопливо освободил место на тумбочке:

– Сюда можно поставить.

Больные успели разглядеть, что к новенькому пришла молодая женщина, и заинтересованно поглядывали на неё.

– Как ты? – спросила она.

– Да ничего.

– Ничего – пустое место. – Она требовательно продолжала смотреть на него.

– Да я пока и сам не знаю. Доктор сказал, посмотрят, что да как... Потом объяснят.

– Но... инфаркт? Это точно?

– Точно.

– И больше ничего не сказал?

– Сказал, недельку полежать придётся.

– Здесь?

– Ну да.

Она повернулась, окинув взглядом палату.

– Да, покои прямо королевские. Как врача зовут?

– Не знаю.

– Барановский Дмитрий Дмитриевич, – сказал лысый, что лежал на койке у противоположной стены палаты.

Он разглядывал Любу, припоминая, что как будто бы где-то видел её.

– Ничего, всё устроим. Всё сделаем как надо, – сказала она. – Ты, главное, ни о чём не беспокойся. Увидишь, всё наладится.

Он смотрел на её лицо и хотел сказать что-нибудь в таком же решительном тоне, но вышло иначе.

– Да я ничего... – И вдруг поперхнулся.

Она тронула ладонью его лицо.

– Ну что ты, Коля.

Ладонь её была такой же лёгкой, как во сне.

– Не возражаешь... если буду приезжать к тебе?

– А как же репетиции? Спектакли?

– Не беспокойся, я разберусь. Значит, договорились.

Она смотрела на него так, как могут смотреть только любящие женщины.

– Где твой мобильник?

– В куртке.

– Хорошо, я принесу. Сейчас пойду к этому Дмитрию Дмитриевичу. Вернусь, жди.

Она ушла так же быстро, как и появилась.

Для больных её появление нарушило рутинный распорядок дня: приём лекарств, процедуры, кормёжка, обсуждение болезней.

– Где-то я её видел, – первым сказал лысый.

– Так это же Венчанова, – авторитетно сказал тот, чья койка стояла рядом с кроватью Николая. – Я её сразу узнал.

– И я её узнал, – откликнулся сосед лысого.

– А я думаю: она или не она? – дальний сосед Николая приподнял подушку, устроился поудобней. – Быстрая!

– В жизни не хуже, чем по телеку.

– Они теперь все гладкие. Операции делают – прям всем по двадцать лет.

– Смотря кто. Эта и сама молодая.

– Ну? А вот если спросить у новенького? Вас как зовут? – Это любопытствовал ближний к Николаю сосед. – Извините, конечно, что тревожу. Но если лежать и молчать, то всякие нехорошие мыслишки в голову лезут. Даже о самом плохом. Да, мне так опытный психотерапевт говорил.

Он тоже приподнялся, опершись на руку и разглядывая Николая.

– Вы тоже артист будете?

– Сам ты артист, – резко оборвал любопытствующего больной, лежащий на койке у окна. – Человек ещё не оклемался, а ты с расспросами.

– А чего? Я же сказал: рекомендация психотерапевта... Молчать вредно!

– Вредно языком молоть, – сказал тот, который говорил «тада» и «куды».

Привезли на каталке завтрак, и дискуссия прекратилась.

Соседу разрешено было вставать, и он принёс Николаю тарелочку с овсяной кашей и чай. Полагалась ещё сдобная булочка, чернослив и изюм.

Люба вернулась в палату примерно через час. Она успела поговорить не только с Дмитрием Дмитриевичем, но и со старшей сестрой. Выяснила, что Николая можно положить в отдельную палату, но это за плату. И обследование можно ускорить, и томографию сделать, но это тоже за отдельную плату.

Люба выяснила, что критического состояния у Николая нет, пока всё обошлось. Но надо быть очень осторожным, соблюдать постельный режим и ни в коем случае не волноваться.

Люба всё оплатила, ей сказали, что результаты обследования будут готовы завтра же, они постараются, пусть она тоже не волнуется.

Старшая сестра показала Любе палату, куда переведут Николая, а Люба предложила ей выбрать спектакль, на который та хочет прийти в их театр. Вручила ей рекламную книжицу с анонсом спектаклей. Сестра окончательно капитулировала, утратив свою официальность и улыбаясь Любе самой приветливой улыбкой, на какую только была способна.

В палате Любу встретили уже как свою.

Она опять подседа к Николаю, положив его мобильник на тумбочку.

– В общем, жить будешь, – сказала она Николаю. – Ну, инфаркт, с кем не бывает... Но не такой страшный, чтобы паниковать. Обследование начнут сегодня же. Станет ясно, как жить дальше.

– Понятно. Спасибо тебе.

– Этим не отделаешься. Теперь придётся терпеть меня.

– ???

– Да-да, не удивляйся. Тебя надо лечить, понял? Будешь слушаться не только врачей, но и меня.

Он смог лишь печально усмехнуться.

– Старшую сестру Галей зовут. Полная такая, в очках. Она за тобой уход наладит.

Он кивнул.

Она повернулась лицом к больным.

– Кому вставать разрешено?

– Мне, – первым отозвался тот, кто лежал рядом и консультировался с психотерапевтом.

– Вас как зовут?

– Виктор Иванович.

– Очень приятно, Виктор Иванович. А рядом с вами – Николай Иванович. Вы сегодня, пожалуйста, помогите соседу, если он что-то попросит. Или Галю позовите, Галину Ивановну то есть. Ладно?

– Да не беспокойтесь, мы Николая Ивановича не оставим. Вам помочь только рады, Любовь... извините, не знаю вашего отчества... Вы всем народом любимая артистка.

– Вот и хорошо, Виктор Иванович, – перебила его Люба. – Теперь я спокойно уезжаю. До завтра, – кивнула она всем, а Виктору Ивановичу пожала руку.

– Вечером позвоню, – сказала она Николаю и, неожиданно наклонившись к нему, поцеловала в щёку.

– Пока! – И вышла из палаты.

А больные провожали её одобрительными взглядами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ. ТРЕТИЙ СОН

Когда она ехала домой, тревога прошла, сменившись чувством удовлетворения: сделала то, что давно собиралась сделать.

И дело заключалось не только в том, что инфаркт у Николая не такой страшный, какой ей причудился, но и в том, что наконец дала волю чувству

и объяснилась с Николаем. Конечно, всё получилось на бегу, но что поделаешь, такова Москва, такова театрально-киношная жизнь.

Объяснилась и с Домниным, хотя с ним ещё придётся говорить, и разговор будет не из приятных. Может, придётся уйти из его театра. Но разве это имеет для неё значение теперь, когда с Николаем отношения прояснились?

Но зачем она так долго тянула резину, зачем любезничала с Гусельским? Только для того, чтобы Николай сам наконец подошёл к ней?

Какое глупое кокетство!

Или коварство?

Может, это она довела его до инфаркта?

Нет!

Он же говорил, что у него шалит сердце, болят ноги.

Да откуда она взяла, что он любит её?

Взгляды?

Разговор, что был в её доме?

Нет, ничего такого особенного и не было!

Только интуиция, только *бабье чутьё*, как говорил Алик...

Но ведь он прав, женщина всегда чувствует и без слов, если кто-то начинает на неё смотреть, даже вроде бы случайным взглядом.

А он смотрел!

Теперь есть возможность ухаживать за ним и не скрывать чувств.

Но если он не откликнется...

Тогда что?

Хотя бы будет ясность, что всё возможное она сделала, не упустила свой шанс.

Так она размышляла, пока добиралась до дома.

Вспомнила, что ничего не ела с утра, на скорую руку собрала ужин. И только уселась на кухне поесть, как заурчал мобильник.

Звонил Пётр Соломонович.

— Ну что ты выяснила?

Она кратко обрисовала ситуацию.

— Вот видишь, ничего особо страшного не произошло. И зачем было бросаться к нему сломя голову? У меня, между прочим, есть связи с кардиологическим центром, где лечат врачи одни из лучших в мире. Могу определить туда Николая. Если, конечно, понадобится...

— Понадобится. Его положили в плохую районную больницу. В других мест не оказалось.

— Ну что ж, устроим. Но прежде я хотел бы знать...

— А разве вы не поняли?

— Люба, неужели ты серьёзно?

— Да, серьёзно.

— Но Люба, мы же договорились...

— Да, договорились. Вы предложили роль, я согласилась.

— Люба, но ты же поняла, что у меня к тебе особое отношение. Если ты думаешь, что это так, увлечение, то ошибаешься. Это глубоко, очень. Я давно хотел... всё ждал случая, и вот он представился...

— Не надо, Пётр Соломонович. У меня тоже давние чувства. И тоже серьёзные. Но не к вам.

Молчание.

Люба уже хотела попроситься, как Домнин сказал:

— Тогда... понимаешь, мне очень тяжело будет видеть тебя в театре... Я буду мучиться... У меня немолодое сердце...

– Значит, конец работе?

– Значит.

Снова молчание.

– Но всё же подумай...

– Уже подумала. Прощайте, Пётр Соломонович.

– До свиданья, Люба.

Она отключила телефон.

«Так! Замечательно! Показал себя во всей красе! Надо платить! Постелью! Ах ты пошлая!»

Ужин пришлось снова разогреть.

Она сунула тарелку с едой в микроволновку, снова включила электрический чайник. После ужина устроилась на тахте, включила телевизор. Но через несколько минут перестала понимать, о чём идёт речь в «Вестях».

«А если опять обожгусь? – мелькали быстрые мысли. – Откуда я знаю, каков он на самом деле? Может, совсем не такой, как в «Пути»? Разве я не знаю, что актёры бывают разными на экране и в жизни?»

Но тут же нашлись противоположные примеры, где экранный образ полностью совпадал с характером актёра.

«Ладно, успокойся. Подумаешь, потеряла роль. Жалко, конечно. Всё-таки Эсмеральда... Роли-то ещё будут. А вот...»

И тут она осеклась, не зная, как определить, кем для неё является Николай.

«Кто же он мне? Кто? Да никто. Но неужели, неужели...»

Она встала с тахты, выключила телевизор, разобрала постель и улеглась. Выключила и мобильник, решив, что лучше всего сейчас ей уснуть и хорошо выспаться.

Тщетно.

Перед глазами мелькали лица – Домнина, врача Дмитрия Дмитриевича, который сказал: «А что если придём в театр с женой, это не слишком будет?»

Она его успокоила, можно прийти на спектакли с её участием не только с женой, но и с детьми, если им больше шестнадцати. Только заранее надо предупредить, вот её визитка, созвонимся...

И он улыбался, и обещал сделать всё от него зависящее, чтобы Николай скорее поправился.

Потом появился Николай, больной, измученный страданием, как на экране в её любимом фильме.

...Он в храме, смотрит на полусожжённый иконостас. Храм сожгли и разграбили степняки вместе с предателями русскими. И то ли Николай, то ли Богомаз спрашивает: «Русь, Русь... Скажи, Люба, долго ещё так будет?»

Она стоит рядом, в холщовой рубахе до пят, спасённая им, Николаем. Отвечает: «Не знаю... Давай уйдём отсюда... Пойдём по Руси... вместе играть будем...»

«Играть? Разве я умею?»

«Умеешь! Ещё как! Разве забыл?»

«Люба... Милая моя... Ты и вправду меня любишь?»

«Господи, неужели не видишь? Ты же не слепой!»

«Я на самом деле как слепой... Совсем не умею разбираться в людях.

Правильно моя бывшая так говорила...»

«Пойдём, пойдём... Здесь нельзя стоять».

«Почему?»

«Нельзя. Они мне сказали».

«Кто?»

«Идём, идём»...

Она берёт его за руку и ведёт за собой.

Они идут по полю среди колосющейся пшеницы.

Солнечно, тепло, веет лёгкий свежий ветерок, пахнет спелыми колосьями.

Она срывает колос, растирает в ладони, жуёт спелые зёрна.

И лицо его становится чистым, страдание исчезает, и светится любовью.

«Любушка, как хорошо, что ты сюда меня привела. Как ты догадалась?»

«А не знаю. Привела – и всё».

Они идут дальше, и пшеничное поле всё не кончается.

И так легко на сердце, как никогда раньше...

Она проснулась ранним утром, вся в слезах. И ей казалось, что они всё идут по залитому солнцем пшеничному полю, которому нет конца. Но потом произошли ещё события, и она вспоминала про них и продолжала плакать.

Весь день она провела в хлопотах. Сопровождала каталку, на которую уложили Николая, когда его отвозили на томографию; проследила, чтобы перевезли его вещи в новую палату.

Галина Ивановна сказала, что анализы крови достаточно хороши, Дмитрий Дмитриевич доволен, а он очень хороший врач, вполне можно ему довериться. Переводить Николая в кардиоцентр сейчас не надо, лучше всего полежать ему здесь недельку. А может, и десять дней, видно будет. Палата самая лучшая, даже в кардиоцентре таких всего несколько, она точно знает.

И в самом деле палата оказалась достаточно просторной, ослепительно белой. Всё здесь сияло больничной чистотой – стены, потолок, крахмальные простыни, даже мебель оказалась белой.

На ремонт и обустройство платной палаты деньги, оказывается, нашлись. Есть кондиционер, прямо перед кроватью телевизор на стене; столик на колёсиках со стеклянным покрытием; небольшой письменный столик у стены – всё как в хорошей гостинице. Только вот белизна напоминает, что ты не в отеле, а в больничной палате.

Контраст с той палатой, куда привезли Николая, был разителен до неприличия.

– Ну и ну!.. – только и сказал он, когда наконец они с Любой остались одни.

Чувствовал он себя терпимо – слабость оставалась, но сердце перестало ныть.

Люба села в кресло у столика со стеклянным покрытием.

Кажется, сделала всё, что могла.

Теперь можно уходить.

Но она словно ждала чего-то, что ещё должно было произойти.

И произошло.

Николай лежал, опершись спиной на подушки – так, что хорошо видел Любу.

– В кармане куртки у меня ключ. От квартиры, где деньги лежат, как сказали классики. Возьми.

Она нашла ключ.

- Этот?
- Да. В письменном столе найдёшь портмоне, там деньги. Немного, но всё-таки. Других сбережений у меня нет.
- Нашёл о чём беспокоиться.
- А то как же. Эта палата недёшево стоит. А ты не миллионерша.
- И ты не миллионер. Сочтёмся, когда поправишься.
- Люба, я привык к самостоятельности.
- Я тоже.
- Он не мог не улыбнуться.
- Я же сказала, что ты должен меня слушаться – хотя бы пока болеешь.
- А потом... потом можешь командовать, если тебе нравится.
- Что? Ты...
- А ты?
- Я..
- И я.
- Она встала, подошла к нему, сев на кровать.
- Взяла его ладонь.
- Я сегодня видела сон... Такой... знаешь, никогда такого не видела... Когда-нибудь тебе расскажу.
- Почему не сейчас?
- Сейчас не время.
- Ну, как знаешь. Вот ещё что... В столе найдёшь мою рабочую тетрадь. Принесёшь и ноутбук.
- Вот уж нет. Работать здесь не будешь.
- Люба, это же лучшее для меня лекарство. Чем глотать рекламу, из которой и состоит наше телевидение. Да, ещё возьми Пушкина. Буду помаленьку читать... А ноутбук – письма послать, чтобы не тревожили попусту. Вот увидишь, начнутся хождения. Что да как...
- Я не позволю.
- Ты такая... решительная.
- Это плохо?
- Наоборот. Если признаться...
- Признавайся.
- Да я ведь уже всё сказал.
- И я тоже.
- В дверь постучали.
- Вошла Галина Ивановна. В синеньком брючном костюмчике, как у Дмитрия Дмитриевича.
- На её массивной фигуре костюмчик сидел не так ладно – широки бёдра и тяжелы груди, но всё же и курточка, и брюки придавали ей вполне солидный и благопристойный врачебный вид.
- К вам посетители.
- Люба встала.
- Никаких посетителей. И завтра никого не пускайте, Галина Ивановна. Я сама скажу, что Николая нельзя беспокоить.
- И к Седову:
- Ну, до завтра. Всё, что просил, принесу.
- И они вышли из белой палаты, оставив Николая одного.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ОТКРЫТИЕ

В квартиру, которую снимал Николай, Люба приехала на следующий день.

После того, как его увезли на «скорой», хозяйка Валентина немного прибрала в комнате, решив, что «генеральную» сделает как-нибудь позже. Да и думать в тот день про бытовые дела не хотелось вовсе – всё её существо было полно чувством внезапной болезни Николая, растерянностью перед будущим человека, которого она тайно любила, боясь самой себе в этом признаться.

Люба сняла пальто, сапоги, нашла тапочки и вошла в комнату.

Прежде всего, она увидела большую икону святителя Николая Угодника, которая висела над рабочим столом. Икона хорошего письма. Святитель в архиерейском облачении, с чёрными крестами на белой ленте, лежащей на его плечах. Лента перекинута и через левую руку, в которой он держит книгу, правой благословляет.

Люба не знала, что лента с крестами у Святителя называется омофором, но о книге в руке святителя догадалась, что это Евангелие.

Лик Чудотворца надмирен – спокоен и сосредоточен и велик в своей простоте.

«Он верующий? – подумала Люба о Николае, невольно перекрестившись и подходя к столу. – Ну да, это же его святой, Николай Чудотворец».

Она стала искать тетрадь, о которой он ей говорил. Обратила внимание, что у него много разных папок, на каждой из которых фломастером написано, что в каждой. «Моцарт», «Пушкин», «Керн»...

В отдельных папках фотографии: «Путь», «Восход», «Проводник»...

«Какой он, однако, аккуратный...»

А вот и папка, о которой он говорил: «Рабочая. Заметки и наброски».

«Так, отложить... А это что?»

На папке надпись: «Для себя».

Эту папку она тоже отложила.

Нашла и портмоне с деньгами, но не стала его открывать – пусть сам свои деньги считает. А пока она ему поможет – у неё сбережения сейчас накопились, слава Богу. Но портмоне надо ему всё-таки отнести, раз просил. Ей хотелось посмотреть и его книги, но их оказалось слишком много, и она прочла по корешкам, о чём они. Конечно, много книг по театру, кино. Но вот и неожиданность – книги церковного содержания: жития святых, Библия, отдельно красиво изданное Евангелие с золотым тиснением на обложке.

«Интересно... Недаром говорили, что он со священниками водится...»

Она ещё раз осмотрелась.

На стенах висело несколько фотографий – в основном из фильма «Путь».

Но вот фотография, которая её удивила – она висит прямо над его тахтой, здесь он спит. «Какая-то красавица... Кто? Неужто влюблён в другую?» Она ближе придвинулась к тахте, пристально рассматривая фото-портрет. «Совсем с ума сошла! – сказала она себе и рассмеялась. – Платъёто не нашего времени. И причёска... А, это Наталья Гончарова! Нет, я же помню, она другая... Кто же? Ладно, разберусь потом».

Она понимала, что нельзя читать тетрадь, на обложке которой написано «Для себя». Но её так и подмывало открыть тетрадь, и она не сдержалась.

На первой странице было написано:

«Почему я так часто стал думать о нашем времени плохо? Вот и Восковский, которого я так ценю, написал мне в ответ:

«Одним из печальнейших признаков нашего времени является, на мой взгляд, тот факт, что средний человек окончательно отрезан от всего, что связано с размышлением о прекрасном и вечном. Скроенная на «потребителя» современная массовая культура – цивилизация протезов – калечит душу, всё чаще преграждает людям путь к фундаментальным вопросам их существования, к сознательному воссозданию самих себя как духовных существ...»¹⁰

«Чтобы не думать о смерти, надо заниматься творчеством, – написал он дальше. – Пушкин говорил, что от отчаяния в Михайловском его спасла поэзия. А меня что спасёт? В театре я играю много ерунды, в кино мне ничего путного не предлагают.

«Что же меня-то спасёт?»

Она закрыла тетрадь, понимая, что не имеет права заглядывать ему в душу.

«Когда мы станем близки, тогда он сам скажет, что его мучает».

Положила тетрадь на своё место.

Теперь ей захотелось открыть папку с надписью: «Керн».

«Вот это я прочитать могу. Мне предназначалась эта роль».

Она открыла папку и ахнула: на неё смотрела она сама с большой великолепной фотографии.

Люба радостно засмеялась, понимая окончательно, что вчера в больничной палате ей вовсе не показалось, что он сказал ей то, что она хотела услышать.

И теперь вера, что он понял её, а она его, укреплялась по мере того, что она читала в папке под названием «Керн».

«Во-первых, она из старинного казацкого рода Полторацких, – прочла она. – Отец – надворный советник и полтавский помещик.

В семье его беспрекословно слушались, Анну он отдал за генерала в 16 лет. Ослушаться она не может, но со временем проявляется всё ярче независимый и сильный характер. Сказывается наследственность. Во-вторых, она образованна, у неё поэтическая душа, она стремится встретиться с Пушкиным у тётки Осиповой-Вульф в Тригорском, куда приезжала неоднократно. А в 1825 году, когда происходит судьбоносная встреча, ей 25 лет. Она уже женщина в расцвете своей красоты и духовных сил. Ухаживания офицеров ей неприятны, муж – стар и скучен, недалёк. А тут – гений, это она чутким сердцем понимает, а не рассудком. Он видит её во второй раз, уже не восемнадцатилетней, а той, которую он назовёт гением чистой красоты.

То есть произошла встреча двух гениев.

Она описала эту встречу. Может быть, у нас надо просто прочитать её воспоминания и его письма к ней после той волшебной, необыкновенной встречи? Тем более что столько нагромождено здесь неправды, а то и открывенных сальностей, даже гнусностей.

¹⁰ А. Тарковский. «Мартиролог». Издательство Tibergraph, 2008 г.

А?

Или развернуть всё-таки в сцену?

Или перемешать то и другое?

Подумать».

Она оторвалась от чтения, чтобы осмыслить прочитанное. Но тут её взгляд зацепился за слова, которые были выделены жирным шрифтом. Не только про гениев, но и про то, что было написано в конце страницы, под тем, что она только что прочла.

«Люба точно попадает на характер Керн – такая же смелая, красивая. Как я ошибался до встречи с ней. Удивительно. Моя Жанна оказалась при своей-то учёности вульгарной, а опереточная артистка – умной и прекрасной».

Люба перечитала эти слова ещё раз. Потом ещё. И ещё. И неожиданно для самой себя вдруг засмеялась. А потом всхлипнула.

В это время она услышала, как заворочался ключ в замке, как открылась входная дверь и кто-то вошёл в коридор.

Она повернулась к входу и увидела незнакомую женщину, которая вошла в комнату.

Женщина тоже с удивлением смотрела на Любу.

– Вы кто? – спросила Валентина, хозяйка квартиры, ибо это была она.

Люба назвалась.

– Николай дал мне ключ, попросил принести кое-что.

– А-а-а... – протянула Валя. – А я Валентина, хозяйка.

– Он мне о вас говорил. Давайте знакомиться.

Познакомились.

Валя спросила, не сумев скрыть испуга:

– Вы плакали... Всё так плохо?

– Нет! – сказала Люба, вытирая слёзы и улыбаясь. – Как раз хорошо! Опасность миновала. Он теперь лежит в хорошей палате под наблюдением хорошего врача.

– А чего же... вы... плакали?

– А, ерунда!

Любе хотелось откровенничать, обнять эту незнакомую женщину. Она замечательная – вон как смотрит, и глаза какие...

– Так, дала волю чувствам... вот тут читала... Он разрешил! – поспешно сказала она. – Про Анну Керн. Она будет у нас в спектакле.

– А-а-а... – опять нараспев сказала Валя. – Это вас, значит, Домнин пригласил?

– Уже выгнал. – Люба посмотрела на себя в зеркальце, вынув его из своей сумки. – Можно, я пройду в ванную, приведу себя в порядок?

– Конечно.

Люба умылась, припудрилась, вернулась в комнату и неожиданно предложила:

– Знаете, Валя, может, немного позволим себе? Надо как-то успокоиться, а?

– Не возражаю. Посмотрим, что у него тут есть.

Она открыла нижнюю дверку стеллажа.

Люба отметила про себя, что Валя знает, где надо искать спиртное.

– Вот, у него тут виски есть, вино какое-то...

Она рассматривала этикетку на бутылке, прищутив глаза.

– Лучше виски, не возражаете?

– Не возражаю.

Нашлась и закуска – правда, лишь консервы. Но женщин и это устроило – в магазин идти не хотелось да и время терять тоже. Собрали стол на кухне, выпили. Любе стала полегче, она вроде успокоилась. Узнала, что Валя – художница, чаще всего сотрудничает с «Мосфильмом», где работает художником-постановщиком её муж, Ефрем Колядин. Может, Люба слышала про него. Он работал со многими известными режиссёрами, а она помогает ему. Но более всего занимается станковой живописью. Пишет пейзажи в основном. Иногда портреты, редко, правда. Хотелось бы почаще, да времени не остаётся.

– Да, Валя, ты права, времени совсем нет. Вот я всё собиралась объяснить с Колей и столько времени потеряла. Дура, конечно...

– Объясниться? С Николаем?

– С кем же ещё. Выпьем, Валя, ещё.

Люба заметила, что лицо Вали посерьёзнело, и надо бы ей остановиться, но она не остановилась, продолжала откровенничать. С незнакомыми людьми всегда легче откровенничать – это Люба давно заметила. Тем более Валя почему-то сразу к себе расположила. А может, потому, что слишком много произошло с ней крутых событий, и надо же обо всём этом сказать кому-то.

Конечно, есть у неё подруги, есть одна и закадычная, но сейчас она на гастролях. А по телефону о таких событиях говорить как-то совсем уж нехорошо.

– Валя, ты прости, конечно, что я в твою квартиру ворвалась. И болтаю слишком много... Но такие дни... Крутые, как сегодня говорят.

– Да мне очень интересно, – искренне сказала Валя. – И Коля не посторонний для нас с мужем человек. Мы же ещё с «Пути» знакомы.

– Вот в чём дело! Прости мою неграмотность – надо бы знать, кто художник-постановщик «Пути».

– Этого даже не все киноведы знают.

– А икона Николая Угодника, наверное, тоже твоя? – неожиданно спросила Люба.

– Да, мы её Николаю подарили. На юбилей.

– Ну, тогда тем более, могу с тобой посоветоваться. Если такую икону подарили, значит, очень его любите. И, значит, верующие люди.

– Верно. А тебе это зачем?

– Сейчас скажу. Видишь ли, я полюбила Николая. И сегодня поняла, что и он полюбил меня. Как это произошло, трудно объяснить. Да и не получится у меня.

Валя слушала с напряжённым вниманием. Лицо её, круглое, «русопятое», как говорили знакомые художники, с пухленькими щеками, курносое, кареглазое, стало необыкновенно серьёзным. Глаза, казалось, расширились.

– И я подумала сегодня... когда прочитала в тетради у него... где про Керн... подумала, что наконец нашла того, кого долго искала... Как у Пушкина, помнишь? «Я знаю, ты мне послан Богом...» А может, и не Богом, а Николаем Угодником... Скорее всего, так. Нет, нельзя во всём подражать героям книг! Должна быть и своя особенность! Татьяна призналась Онегину в любви. А я... я хочу ему предложить... венчаться. Если любит, идём под венец. И всё! На всю жизнь! До берёзки! Недаром же у меня родовая фамилия, а не по первому мужу, – Венчанова! Это я во сне поняла. Понимаешь? Хочешь, расскажу сон?

– Хочу, – сказала Валя.

Она сидела ни жива ни мертва.

– Давай ещё выпьем. Хорошее виски.

Выпили. Люба полную стопку, Валя – чуть-чуть. Потому что и без виски чувствовала себя как пьяная.

– Ну вот... Мы с Николаем идём по какому-то бесконечно прекрасному пшеничному полю... Пшеница спелая. Пахнет лучше всего на свете... Небо голубое, даже синее, как бывает у нас на Севере. Я ведь за Каргополья. Поля у нас не такие большие, как во сне я увидела. Но всё равно прекрасные, для меня так лучше их и нет. Идём мы из разграбленной церкви, как у вас в «Пути». Солнце, благодать... И вот на краю поля стоит церквушка... Как опять же у нас в Каргополье. Такая милая, родная... И Николай берёт меня за руку и ведёт прямо в эту церковь. И я не сопротивляюсь, иду рядом с ним... Сердце замирает, но дышится легко, свободно.

Встречает нас священник. Немолодой. Смотрит на нас без улыбки, серьёзно. Спрашивает: «Вы подготовились?» Мы киваем. Он надевает нам на головы золотые венцы. Я вдруг понимаю, что колец-то у нас нет! Но он протягивает нам золотое блюдо, там два кольца. Я надеваю кольцо на палец Николая, он надевает мне.

«Властью, данной мне Богом, объявляю вас мужем и женой, – говорит он. – Поцелуйтесь».

Мы целуемся, и я просыпаюсь. Веришь, Валя, чувствую поцелуй на губах! Смотрю на руку – нет ли на пальце кольца, как у Ассоль в «Алых парусах», помнишь? Кольца нет, зато есть абсолютное чувство, что кольцо надето на мой безымянный палец! Я просто физически чувствую, что оно у меня на пальце!

Она протянула руку к Валентине, показывая свои пальцы.

– Вот и сейчас чувствую. Вот на этом пальце, на этом!

Она левой рукой показала на безымянный палец правой руки. Пальцы у неё были длинными, совсем не крестьянскими. Скорее, дворянскими, как у пианистки.

– Не веришь?

– Как не верить! Ты так хорошо рассказала.

– Я ничего не выдумала. Вот тебе крест, – сказала Люба и перекрестилась.

– А ты крещёная?

– А то как же! И не бабушка меня крестила, как нынче почти все интеллигенты рассказывают, а мама! Мне три годика было, но я всё хорошо помню. И церковь наша такая же, как во сне. Правда, света в ней столько не было. Но так – очень похоже!

Валя смотрела на Любу, странно улыбаясь.

– Счастливая ты, Люба.

– Ты думаешь?

– Конечно. Такой сон... К тому же фамилия у тебя такая... Всё сходится. И тут Люба поняла, что чувствует Валентина.

Ведь сейчас Люба, сама того не ведая, похоронила все её надежды.

«Господи, зачем я всё выболтала? Зачем?»

– Валя, милая, прости меня, – сердечно сказала она. – Ну, не удержалась! Глупо!

– Нет,нисколько. И прощения не за что просить.

Она встала.

– Пора мне, уже поздно. А ты никуда не уходи. За руль нельзя. Ночуй здесь.

Люба тоже встала.
 Вышли в коридор.
 – Спасибо тебе, Валя.
 – Это тебе спасибо. Что Николая устроила. Передаю его в надёжные руки.
 Они обнялись, и потом Валентина быстро ушла, закрыв за собой дверь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ АННА КЕРН

Вот что написал Николай в тетради с надписью: «Керн», когда вернулся из больницы в квартиру, которую снимал у художницы Валентины.

...В карете Пушкин сидит между двух Анн, племянниц Прасковьи Осиповой-Вульф.

Уже взошла луна, она светит ярко. Небо светлое, мелькают придорожные поля – они светятся особой красотой, какая бывает только вот такой летней порой при полной луне.

Тихо волнуется спелая рожь.

Хорошо освещены лица Пушкина и Анны Керн.

Лиц Прасковьи Александровны и Анны, её другой племянницы, мы не видим, слышим только их голоса, когда они вступают в разговор.

Они едут из Тригорского в Михайловское, к Пушкину.

Пушкин. *Какая сегодня луна... Посмотрите в окошко, Анна.*

Анна. *Вы много раз называли луну глупой.*

Пушкин. *Да, она бывает и такой. Но сейчас она освещает ваши прекрасные лица. И потому она требует, чтобы её назвали иначе. Например... загадкой... Нам кажется, мы вот-вот её разрешим... Потому что **ночь дышит**, как в романсе старины Козлова сказано... который вы так прекрасно спели, Анна.*

Анна. *Ивана Ивановича люблю. Он совсем ослеп. С кресла не встает. Но всегда одет безукоризненно и виду не показывает, что болен.*

Голос Прасковьи Александровны. *А боли испытывает страшные. Особенно по ночам. Мне его тётка передавала.*

Анна. *Музыку Глинка написал. Правда, чудная?¹¹*

Пушкин. *Вот мы сейчас едем, и эта ночь льётся к нам в карету... в наши сердца... Разве это не музыка? Разве не полно ей сердце ваше, Анна?*

Голос Анны Вульф. *Стучат колёса – вот и вся музыка.*

Голос Прасковьи Александровны. *Ты утомилась. Сейчас этот лесок проедем, а там и Михайловское.*

Пушкин. *А по мне нет лучше такой ночной дороги. Как хорошо вы придумали, милая Прасковья Александровна. Ведь давно не были у меня. Всё я к вам.*

Голос Прасковьи Александровны. *Да ведь скучаешь один. С нами тебе веселее.*

Пушкин. *Не только веселее. Жизнь воскресает. Вы даже сами не знаете, как много для меня значите – вы, ваше семейство. Вот и племянни-*

¹¹ Имеется в виду романс М. Глинки на стихи поэта И. Козлова «Венецианская ночь», который Анна Керн пела у Осиповой-Вульф.

ца ваша как луч этой летней луны. Осветил не только эту дорогу, но ещё и другую...

Голос Анны Вульф. Какую?

Пушкин. Сейчас не скажу.

Голос Анны Вульф. Отчего же? Вы сегодня всем говорите комплименты. Шутите легко, без ваших обычных сарказмов. Вы сегодня другой.

Голос Прасковьи Александровны. Приехали.

Пушкин помогает Анне Керн выйти из кареты.

Голос Прасковьи Александровны. Покажите же нашей гостье ваш сад, Александр.

Пушкин. С радостью!

Даёт Анне руку, ведёт её к аллее, нам уже знакомой.

Звучит музыка романса Глинки «Я помню чудное мгновенье».

Пушкин. Когда я увидел вас первый раз, у Олениных, вы были такой юной, совсем барышней, не похожей на жену седовласого генерала. На груди у вас был крестик.

Анна. Вы тогда говорили сарказмы.

Пушкин. Это от обиды. И потому, что все расточали комплименты.

Анна. А потом я узнала вас другого. Пушкин, скажу прямо: вы стали мне близки. Ваш «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», которые вы так чудно сегодня прочли...

Пушкин. Анна, а вы всё такая же. Нет, даже ещё прекрасней. Я тоже скажу прямо, что вы само совершенство. Вас нельзя не любить.

Анна спотыкается обо что-то, Пушкин успевает подхватить Анну – иначе она бы упала.

Лица их оказываются близко друг к другу. Глаза – в глаза.

Пушкин. Анна! Вы сами не знаете, что вы такое. Вы... гений... красота ваша чиста и волшебна.

Анна. Ах, вы поэт, Пушкин. И всё у вас преувеличение.

Пушкин. Нет! Сердце полно тобой.

Анна. И моё – тобой.

Затемнение. Музыка продолжает звучать. Медленно наступает рассвет.

Гостиная господского дома. Анна уже собралась к отъезду. Быстро входит Пушкин. В руках у него исписанные листы.

Пушкин. Анна, это тебе... я закончил вторую главу «Онегина». Ты говорила, что прочла первую главу, и я решил...

Анна. Да! Книжку с первой главой я купила! Прочла... О, это самый дорогой подарок!

Укладывает рукопись в шкатулку. Пушкин неожиданно резко забирает из её рук листы. Один из них, маленький, вложенный в рукопись, падает на пол. Анна быстро поднимает его.

Пушкин. Отдай!

Анна (не отдаёт листок). Да что с тобой?

Пушкин. Верни сейчас же!

Анна. Если ты так...

Возвращает листок.

Анна. Я всё поняла. Можешь не объяснять.

Хочет уйти.

Пушкин. Подожди! Я же за тебя боюсь, Анна! Пойдут сплетни... Я не хочу... чтобы твою чистоту запятнали грязью...

Анна. Да что такое ты говоришь! Я ничего и никого не боюсь!

Пушкин. Прости, Анна. Я сам не знаю, что делаю...

Возвращает ей рукопись.

Анна (показывает листок). А это...

Пушкин. Тоже тебе. Сохрани.

Голоса: «Анна, что же ты?», «Пора ехать!»

Анна. Ты будешь мне писать?

Пушкин. Да, Анна...

Анна уходит. Садится в карету. Лицо её ярко освещено. Освещено и лицо Пушкина.

Голос Анны.

(Она читает листок, на котором Пушкин написал этой ночью.)

*Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты...*

Голос Пушкина.

*...Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.*

Карета всё дальше и дальше уносит Анну. Пушкин один, в растерянности и смятении.

Голос Анны.

*В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты...*

Голос Пушкина.

*...Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.*

Голос Анны.

*В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои...*

Голос Пушкина

...Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.

Голос Анны.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,

Голос Пушкина.

Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

Голоса Пушкина и Анны.

И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

Пушкин один, у себя в кабинете. Пишет письмо Анне.

Анна у себя в Риге, в особняке коменданта генерала Ермолая Керна, её мужа. Она отвечает на письма Пушкина.

Начала писем читаются на французском, затем на русском.

Пушкин.

«J'ai eu la faiblesse de vous demander la permission de vous écrire et vous – l'étourderie ou la coquetterie de me le permettre. Une correspondance ne mène à rien, je le sais; mais je n'ai pas la force de résister au désir d'avoir un mot de votre jolie main. Votre visite à Trigorsky m'a laissé une impression plus forte et plus pénible, que celle, qu'avait produite jadis notre rencontre chez Оленин. Ce que j'ai de mieux à faire au fond de mon triste village, est de tâcher de ne plus penser à vous. Vous devriez me le souhaiter aussi pour peu que vous avez de la pitié dans l'âme – mais la frivolité est toujours cruelle, et vous autres, tout en tournant les têtes à tort et à travers, vous êtes enchantées de savoir une âme souffrante en votre honneur et gloire...»

...Я имел слабость просить у вас позволения писать к вам, а вы, по ветрености или кокетству, позволили мне это. Я знаю, что переписка не ведёт ни к чему; но у меня нет силы устоять против искушения – иметь у себя хоть одно слово, написанное вашей хорошенькой ручкой.

Ваш приезд в Тригорское произвёл на меня впечатление гораздо живее и тягостнее, чем некогда наша встреча у Олениных. Теперь в глуши моей печальной деревни мне ничего не остаётся лучше, как перестать думать о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости – вы должны бы сами желать мне этого; но ветреность всегда жестока; и вся ваша братья, вертя как попало чужие головы, восхищается сознанием, что есть на свете душа, страдающая в честь и славу вам.

Прощайте, божество; я мучусь от бешенства и целую ваши ножки... Тысячу любезностей Ермолаю Фёдоровичу и сердечный поклон Вульф.

25 июля.

Анна.

Читает письмо Пушкина.

...Я снова берусь за перо, потому что умираю от скуки и могу заниматься только вами. Надеюсь, что вы прочтёте это письмо украдкой... Скажите, спрячете ли вы его опять на груди? станете ли отвечать мне подробно? Ради бога, пишите мне всё, что придёт вам в голову. Если вы боитесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя – перемените почерк, подпишите какое хотите имя, сердце моё и так узнает вас. Если слова ваши будут так же сладки, как и ваши взгляды, тогда – увы! – я постараюсь поверить им или же обмануть себя – это одно и то же. Знаете что, я перечитываю то, что написал, и стыжусь их сентиментального тона – что скажет... Анна Николаевна? Ах, вы чудотворна или чудотворица!

Анна.

Получив это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма; но он это второе письмо вложил в пакет тётушкин, а она не только не отдала его мне, но даже не показала.

Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило.

Пушкин.

(Из писем к Прасковье Осиповой-Вульф и её дочери Анне.)

Voulez vous savoir ce que c'est que M-me K...? elle est souple, elle comprend tout; elly s'afflige facilement et se console de meme; elle est timide dans les manieres et hardie dans les actions; mais elle est bien attrayan te

...Хотите знать, что такое г-жа К?.. – она изящна: она всё понимает; легко огорчается и так же легко утешается; у неё робкие манеры и смелые поступки, – но при этом она чудо как привлекательна...

M-r Alexis et moi, nous avons parle 4 heures de suite. Jamais nous n'avons eu une aussi longue conversation. Devinez ce qui nous a uni tout a coup? Ennuie? conformite de sentiment? jo n'en sais rien; je me promene toutes les nuits dans mon jardin, je dis: alle etait la; la pierre qu'elle a heurtee est sur ma table aupres d'une heliotrope fanee. J'ecris beaucoup de vers. Tout cela, si voiiis voulez, ressemble beaucoup a de l'amour, mais je vous jure qu'il n'en est rien...

21 juillet

...Я четыре часа сряду говорил с Алексисом; никогда ещё не было у нас такого длинного разговора. Что же вдруг соединило нас? Скука? Сродство чувств? Право, и сам не знаю. Каждую ночь я гуляю в своём саду и говорю себе: «Здесь была она...» Камень, о который она споткнулась, лежит на моём столе подле увядшего гелиотропа. Наконец я много пишу стихов. Всё это, если хотите, крепко похоже на любовь, но боюсь вам, что о ней и помину нет. Будь я влюблён – я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности, – а между тем мне просто было досадно.

Но всё-таки мысль, что я ничего не значу для неё, что, заняв на минуту её воображение, я только дал пищу её весёлому любопытству, мысль, что воспоминание обо мне не нагонит на неё рассеянности среди её триумфов и не омрачит сильнее лица её в грустные минуты, что прекрасные глаза её останутся на каком-нибудь рижском фате с тем же пронзающим и сладострастным выражением – о, эта мысль невыносима для меня... Скажите ей, что я умру от этого...

21 июля

Пушкин выходит из дома. Идёт к аллее, которая навсегда осталась «аллеей Керн». Появляется Моцарт. Дружески приветствует его, берёт под руку.

Моцарт. Не надо печалиться, друг Пушкин. Ведь у тебя в трагедии никто иной, как Сальери, называет меня «гулякой праздным». Уверен, что и тебя так называли.

Пушкин. Ещё обидней, друг Моцарт. Называли даже «певцом женских ножек». Говорили, что я исписался.

Моцарт (смеётся). Вот видишь. Мой отец обвинял меня не только в безалаберности и расточительности. Даже жениться не позволял. Хотя я ему писал, что влюблён в Констанцию Вебер. Между прочим, у них в доме, где я снимал комнату по рекомендации моего отца, было три дочери. У твоей Прасковьи – две. Но ещё племянницы – две Анны... Так?

Пушкин. Так.

Моцарт. Сначала я был влюблён в старшую, Элоизу. Но она вышла замуж... А потом влюбился в Констанцию. Когда я вновь вернулся в Вену. Вырвался наконец из тирании архиепископа Коллоредо и отца на желанную свободу.

Пушкин. Твой отец был прекрасный учитель. А мой... знаешь, даже шпионил за мной. Да-да, тебе могу об этом сказать. Ах, Моцарт, мой отец был порой так же ужасен, как для тебя этот тиран архиепископ. Разве они могут понять, что поэзия, музыка дышат иным воздухом? Это же воздух неба. А твоего Коллоредо можно назвать Зловредо, не так ли?

Моцарт (опять добродушно смеётся). Даже хуже. Я не раз удивлялся, как можно быть архиепископом, а на самом деле служить не Богу, а мамоне. Для них мы – слуги. И должны сочинять только то, что им кажется благоприспособным. Ну, чем они отличаются от фарисеев?

Пушкин. Ты прав, Моцарт. Поэтому у меня Сальери – это и твой Коллоредо, и твой отец. И мои враги – все они, кто не понимает, что музыка, написанная тобой, Моцарт, – музыка небес.

Звучит музыка, пережившая века, такая же прекрасная, как и тогда, когда её сочинил Моцарт.

Появляется Сальери.

Сальери.

Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змейей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущую бессильно?
Никто!.. А ныне – сам скажу – я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. О небо!

*Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан –
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!*

Моцарт уходит от Пушкина и оказывается рядом с Сальери.

Моцарт.

(Играет на фортепиано.)

*Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе;
Влюблённого – не слишком, а слегка –
С красоткой или с другом – хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незатный мрак иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.*

(Играет.)

Сальери.

*Ты с этим шёл ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! Боже!
Ты, Моцарт, недостойн сам себя.*

Моцарт.

Что ж, хорошо?

Сальери.

*Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.*

Моцарт.

*Ба! право? Может быть...
Но божество моё проголодалось.*

Сальери.

*Послушай: отобедаем мы вместе
В трактифе Золотого Льва.*

Затемнение. Музыка Моцарта продолжает звучать, затем смолкает.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ «ДО БЁРЕЗКИ»

Николай встал из-за стола и хотел прилечь, чтобы отдохнуть после работы. Но тут раздался звонок в дверь. Пошёл открывать, думая, кто же пришёл, предварительно не предупредив.

Строго спросил:

– Кто?

– Свои, – откликнулись из коридора.

– Какие свои? – Он приоткрыл дверь, недовольно глядя на незваного гостя.

В коридоре стояла Люба.

– Однако, – сказала она. – Войти-то можно?

– Извини, я заработался.

– Куртку-то прими. И тапочки такие, розовые, у тебя были.

Он повесил на вешалку её куртку, дал ей домашние тапочки, постепенно приходя в себя – всё ещё был рядом с Пушкиным, Моцартом, Сальери.

– Что ж не предупредила... Я бы подготовился. А так...

Он оглядывался по сторонам, смотря, всё ли у него прибрано.

– Не беспокойся. Я всё подготовила.

Она прошла к его столу, увидела включенный ноутбук. Светился монитор, на котором крупно было написано: «ПУШКИН, МОЦАРТ И АКТЁР».

– Всё-таки работаешь, – сказала она и вздохнула. – Дим Димыч предупредил, что надо... ещё хотя бы недельку пожить спокойно.

Он сел в кресло у стола, показал на тахту, чтобы она тоже села.

– Люба, я очень тебе признателен, что все эти дни ты была со мной.

И выходила меня. Без тебя мог и не встать. Но теперь, когда я дома... можешь перестать быть нянькой.

– Ты хочешь сказать, что мне приходить сюда не надо?

– Не хочу быть тебе обузой.

– Хочешь облегчить мне жизнь?

– Да.

– Замечательно. Я тоже этого хочу.

Он тяжело посмотрел на неё.

– Вот видишь, наши желания совпали.

Люба, к его удивлению, не опечалилась. Но скрыть своё волнение всё же не смогла.

– Вот что хочу тебе предложить, если ты действительно желаешь облегчить мне жизнь. Давай-ка перебирайся ко мне.

Он ошалело посмотрел на неё.

– Что?

– Места у меня много. У тебя будет отдельный кабинет. Работай себе на здоровье, если ты без этого не можешь. А мне не придётся мотаться туда-сюда...

– Люба, ты понимаешь, о чём говоришь?

– А ты?

– Я... я-то понимаю. Мне показалось, что ты на самом деле... Или только показалось?

Он видел, что волнение её нарастает.

Но она всеми силами старалась владеть собой.

– Костя Гусельский мне сказал, что ты мастер разгадывать фамилии. Его фамилию расшифровал. А вот мою – можешь?

Он лихорадочно стал перекачивать по слогам её фамилию в своём сознании.

Ответ напрашивался сам собой.

– Венчанова. Что же тут расшифровывать?

– А вот что. Если согласен перебраться ко мне, надо выполнить одно моё условие. Нам надо повенчаться.

– Люба, – только и смог вымолвить он.

Встал, подошёл к ней и опустился на одно колено.

Взял её руку.

Поцеловал.

– Я думал о тебе... предполагал... но не верил, что ты... так серьёзно...

– Я всю ночь не спала.

– Но ведь я болен, Люба. А если повторный... инфаркт...

– Молчи.

– Как это – молчать. Не могу.

– Тогда говори. Согласен?

Он встал с колен, поднял её и приблизил к себе.

Они поцеловались.

– Видишь, он смотрит на нас.

– Кто?

– Николай Чудотворец. Это наше обручение.

– А когда венчаться? – спросила она.

– У меня есть священник отец Сергей. Церковь неподалёку, можем захватить прямо сейчас.

– Собирайся. Едем.

Сборы недолгие, они вышли из дома, сели в её машину. Выпал снежок, улицы в этом районе Москвы принарядились, похорошели.

– А ведь скоро Новый год, – сказала она.

– Рождество Христово, – поправил он.

Она кивнула. Лицо её было свежим, чистым. А глаза светились счастьем. Он видел это и не знал, что надо сделать, чтобы это чувство, жившее в ней, не исчезло, а усилилось.

Да и сам он находился в нереальном, совершенно новом для него состоянии, когда хотелось смеяться и плакать одновременно.

«Господи, сделай так, чтобы у нас всё получилось, – молился он про себя. – Пусть отец Сергей будет в храме. Пусть примет нас и повенчает как можно скорее. Пусть это чувство, которое во мне и в ней, сохранится как можно дольше. Если можешь, сделай так, чтобы навсегда. До берёзки, как она говорила».

– А как называется эта церковь?

– Николая Угодника. Вот видишь, его икона над воротами.

Они перекрестились и вошли в храм.

Отец Сергей оказался на месте, и время венчания назначил им в начале следующей недели, пойдя навстречу их просьбам.

Он показался Любе радушным и добрым. Средних лет, полноватый, русоволосый, с первой сединой в русой же бороде. Николая он знал уже второй год, исповедовал его и причащал и старался быть как можно внимательнее к его душевным скорбям. Наставлял как добрый товарищ, боле опытный в духовных делах, чем его необычный прихожанин, которого, конечно же,

скоро все узнали в этой церкви. Николай очень ценил, что попал к такому священнику. И обрадовался, видя, что и Любу он принял столь же сердечно.

Хлопоты по переезду к Любе заняли не так уж много времени. Всё имущество Николая состояло из книг и электронной аппаратуры, кресла и рабочего стола. Ещё была, конечно, одежда, но всё уместилось в грузовую машину, которую он вызвал. Приехали и грузчики – Дмитрий Дмитриевич наказал, что поднимать тяжести, даже в несколько килограммов, ни в коем случае нельзя.

Комната, куда поместила его Люба, оказалась со стеллажом и шкафом для одежды, встроенным в стену. Был и раскладной мягкий диван, всё было, что нужно для жизни в новом для Николая доме.

Икону Николая Угодника он опять повесил прямо перед рабочим столом. А фотопортрет Анны Керн оставил на память Вале.

Всё происходило так стремительно, что он не успевал как следует осмыслить происходящее. Да и не хотел – решил полностью довериться чувствам, захватившим его.

Или положиться на волю Божью, как сказал отец Сергий.

У него оставалась ещё неделя, чтобы пройти реабилитацию, прежде чем снова приступить к работе. Он сообщил об этом заведующей труппой, она сказала, что передаст это Петру Соломоновичу.

Но вот он и сам позвонил в самый неподходящий момент, когда Николай только-только настроился на работу.

– Рад, что ты успешно поправляешься, как мне передали. – Голос его был приветлив, учтив. – Собирался проведать тебя, да мне сказали, что ты переехал на новое место.

– Да, переехал, это правда.

– Говорят, что у тебя большие изменения в жизни?

«И это знает!» – тут же мелькнуло в сознании.

– Да, и это правда.

– Что ж, надеюсь, ты всё взвесил. Ты же серьёзный человек.

– Да, Пётр Соломонович. Вы не первый год знаете меня.

– Вот то-то и оно, Николай. Не думал, что ты можешь поступить столь скоропалительно. Ведь ты сделал серьёзнейший шаг в жизни. Всё ли обдумал?

– Спасибо, Пётр Соломонович, что заботитесь обо мне. Со мной всё в порядке. Как и обещал, покажу вам полный текст новой редакции пьесы в декабре. И тогда сможем продолжить репетиции.

– Похвально. И с актёрами ты всё продумал?

«Ах вот куда он гнёт! Сразу спросить или потом?»

– Не совсем. Но, надеюсь, с вашей помощью все вопросы по актёрам решим.

– И я надеюсь. Тут тебе выделили материальную помощь. Когда придёшь в театр, зайди в бухгалтерию.

– Спасибо.

– Поправляйся, Николай. Театр тебя ждёт.

И он отключил свой мобильник.

«Всё известно! – быстро подумал он. – Поди и журналюги всё уже знают. Ещё и в церковь прибегут. А ты что думал? Венчанова венчается! Так и вижу первую полосу этих комсомольских газет. Как-то надо от них отгородиться... Предупредить отца Сергия...»

Так он думал, стараясь вернуться к тому, что хотел написать. Но отвлечься от тех житейских забот, которые вновь навалились на него, сразу не смог. Житейское оказалось слишком тесно переплетено с творчеством. Отделить одно от другого оказалось невозможно.

«Ладно, разберусь, – думал он, усаживаясь к ноутбуку. – Итак, Моцарт встречается с Сальери в трактире «Золотой Лев»... Но надо прояснить и про Бомарше. Про него Моцарт спрашивает:

«Правда ли, что Бомарше кого-то отравил?»

Как это сделать? Допустим, Актёр и Пушкин говорят о том, что такое домysel в творчестве... Насколько тут может быть свободен художник... А потом и Моцарт вступает в этот разговор... И заканчивается всё сценой отравления из «Моцарта и Сальери»... Так...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ОТРАВЛЕНИЕ

Сальери в ожидании Моцарта.

Сальери.

*...Он несколько занёс нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осьмнадцать лет ношу его с собою –
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной...*

Смотрит на перстень, в котором яд. Хочет высыпать его в бокал с вином, но останавливается.

*...Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты –
Тогда не пропадёшь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец нашёл
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь – пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.*

Появляется Актёр. В ужасе вскрикивает, пытаясь остановить Сальери. Но тут же останавливается, понимая, что остановить Сальери невозможно.

Актёр. *Остановитесь хотя бы на несколько минут.*

Сальери замирает. У него поза человека, высыпавшего яд в бокал.

Актёр. *Это слишком важная минута во всей вашей и нашей жизни. Я хотел бы уяснить и для себя, и для зрителя, кто такая Изора.*

Входит Пушкин.

Пушкин. Это надобно спросить у меня. Видите ли, друг мой, вы объясняли своему партнёру, где правда жизни, а где художественная правда. Не так ли? Есть ли между ними разница?

Актёр. Разумеется, есть! Но меня слишком часто спрашивают, где правда, а где ваш вымысел?

Пушкин. И меня спрашивали об этом. И я всегда говорил и писал, что у меня есть право, как поэта, описывая действительные события, которыми я следую беспрекословно, подходя к тому, что покрыто тайной, дать своё толкование раскрытию этой тайны.

Актёр. Но если вы ошиблись? Так мне говорят...

Пушкин. Ваше право – верить мне или не верить. Но поэт, смею вас заверить, если он действительно поэт, в такие моменты пишет по повелению свыше... когда строки диктует ему... Сам Господь... Эти мгновения, дорогой друг, у вас называются вдохновением...

Актёр. Да-да, именно так и я думаю... Потому мы и считаем вас гением, что вы открываете нам то, что не могут открыть никакие учёные, всякие там даже нобелевские лауреаты...

Пушкин. Какие лауреаты?

Актёр. Простите, я заговорился. Ну, скажем, Ньютоны и Платоны...

Пушкин. Правильно. «И может собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов Российская земля рождать». Это Михайло Ломоносов. Так вот, дорогой друг. Идя по пути правды, я, разумеется, волен и что-то придумывать... Но второстепенное! Подчёркиваю это. Например, Изора. Кто такая? Есть такая в мифологии? Нет, и не ищите. Я её выдумал. Она мне нужна как поставщик яда. Он может быть разным. А вот само отравление... Здесь, дорогой друг, надо или верить мне, или говорить «нет»...

Актёр. Я верю, что гений говорит только правду! Вот, например, Шекспир. Сколько писали, что его Ричард Третий не такой злодей и убийца, каким он его изобразил! А вот последние исследования останков мальшей, которых он заточил в башне Тауэра, показали, что они действительно насильственно убиты.

Пушкин. Ах, Шекспир! Он умел заглянуть в бездну души. И поэтому прав...

Хочет уйти.

Актёр. Подождите! Ещё про Бомарше хочу вас спросить. Позволите? (Листает тетрадь с текстом трагедии.) Вот здесь...

Появляется Моцарт. Сальери оживает. Рука его с перстнем возвращается в прежнее положение. Яд ещё не высыпан в бокал.

Моцарт.

Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери.

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт.

Он же гений, как ты да я.
А гений и злодейство –
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери.

Ты думаешь?

Бросает яд в стакан Моцарта.

Ну, пей же.

Моцарт.

*За твоё здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.*

Пьёт.

Сальери

Постой, постой, постой!.. Ты вытил... без меня?

Моцарт (бросает салфетку на стол).

Довольно, сыт я.

Идёт к фортепиано.

*Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.*

Играет.

Ты плачешь?

Сальери.

*Эти слёзы впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсёк
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слёзы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Ещё наполнить звуками мне душу...*

Моцарт.

*Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!*

Сальери.

До свиданья.

Один.

*Ты заснёшь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда...*

Реквием Моцарта звучит на протяжении всей этой сцены.

...Скрипнула дверь, и Николай вернулся в реальность.
Это вошла Люба.

– Надо смазать петли. Давно эту дверь не открывали.

Она подошла к Николаю, он обнял её.

– Ты плакал?

– Как-то... слишком... вошёл в текст.

– Коля, милый, тебе же нельзя!

– Да, понимаю! – Он никак не мог унять слёзы. – Он же отравил, Люба!

Моцарт прав! И я подумал сейчас... Знаешь, он тоже понял... Я про Сальери... Понял!

– Успокойся, успокойся. – Она села к нему на колени, прижала к себе. – Понял, ну конечно...

– Нет, ты не знаешь, о чём я.

– Так скажи.

Она отстранилась, чтобы он видел её лицо.

– Ну хорошо, слушай. Микеланджело, Бонаротти, как называет его Пушкин, не был убийцей! О нём шла такая молва, потому что он по ночам тайно расчленил трупы. Чтобы изучить анатомию человека не по рисункам, которые были *приблизительными, а такими, какие они есть на самом деле!*

– И что же?

– Так вот, мне сейчас открылось, что Сальери это понял! И это пронзило его так, что его хватил удар. И он сдох! Понимаешь, ослеп, осознав, что он убийца! Он! Вот в чём дело! Пушкин не даёт никакой ремарки в конце. Даёт нам возможность поразмыслить, задуматься, самим разобраться. Понимаешь?

– Понимаю, – она продолжала смотреть ему в глаза. – И ты у меня гений.

Он тоже не моргая смотрел на неё.

– Да какой я гений. Что ты...

– И я кое-что сейчас открыла для себя.

– Что? Говори. Может, это тоже пригодится для нашего спектакля.

Она снова крепко прижалась к нему.

– Валя назвала меня счастливой. Она не ошиблась – я счастлива, Коля!

Николай решил, что пьеса закончена и можно отдавать её Домнину. Правда, не готов ещё пролог, но это придёт потом, когда начнут репетировать и готовить спектакль к сдаче. Вот позвонила завтруппой, сказала, что с новым вариантом пьесы все ознакомились и художник назначен на завтра, на десять часов утра, в кабинете у Петра Соломоновича.

В «мемориальном» кабинете Домнина уже почти все собрались, когда появился Николай. Он подошёл к столу Петра Соломоновича и поздоровался с ним за руку.

Первое слово Домнин дал, как и положено, автору и постановщику спектакля, которых в одном лице представлял Николай. Николай в общих чертах обрисовал идею спектакля и того нового, что он внёс в текст, исходя из этой

идеи. Решение спектакля зависит от того, насколько полно мысли о гениях поэзии и музыки будут выражены в персонажах, которые появились в спектакле. Но как это удастся воплотить на сцене, зависит, конечно, от актёров. Такие актёры есть, он верит в их талант.

Первым в обсуждение сказанного Николаем и самой пьесы включился Михаил Фридрихович Рабинер, которому дал слово Домнин. Он начал с комплиментов Николаю – тот прекрасно играл Моцарта. Как автор текста, включённого в спектакль, он совсем не против дополнений и изменений. И был рад, что Пётр Соломонович именно Седову поручил возобновление спектакля, который шёл с таким успехом.

– Но, господа и дамы, вернее сказать, друзья, я, как пушкиноведа, который посвятил жизнь нашему великому поэту, категорически против искажения исторической правды, допущенной нашим уважаемым актёром. Я понимаю и даже допускаю, что Николай Иванович просто не мог в полном объёме знать взаимоотношений Александра Сергеевича с Анной Керн и с семьёй Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф... Но тут всё перепутано. Александр Сергеевич *просто увлёкся* Анной Керн, вот и всё. Он же сам написал об этом товарищу по лицу Соболевскому. – Рабинер позволил себе усмехнуться: – Александр Сергеевич был влюбчив – кто же этого не знает? Вы, Николай Иванович, слишком увлеклись, слишком идеализировали их отношения. Вы прочтите письмо Соболевскому. Его даже вслух при женщинах произнести нельзя. А тексты, которые вы приписываете Пушкину... это, простите, непозволительно. Мои же тексты, извините, одобрил сам Лукас Бергер. А вам, видите ли, они не понравились. – Он сделал саркастическую гримасу не без театральности.

– Что же касается ваших сценических приёмов, тут я не компетентен. Пусть специалисты скажут. Но если хотите знать моё мнение, то мне они показались очень неудачными. Пожалуй, у меня всё.

Рабинер сел. Повисла тягостная пауза.

На призыв Домнина высказываться, никто не откликнулся. Наконец встал Борис Фёдорович Тернов, народный артист, авторитет. Это был рупор Домнина – Борис Фёдорович почти всегда выражал мнение Петра Соломоновича, заранее с ним всё согласовывая, и в театре все это знали. Порой Борис Фёдорович и Пётр Соломонович не согласовывали свои действия, но так хорошо друг друга знали, что Борису Фёдоровичу вовсе не надо было ничего согласовывать – он знал, что нужно говорить в том или ином случае.

Борис Фёдорович имел фактуру крупную, сразу заметную. Грива седых волос, басовитый голос – всё выдавало в нём социального артиста, героя.

– Ты извини меня, Коля, – начал он, взяв отеческий тон. – Но ведь Михаил Фридрихович прав. Ну зачем нам опять нужен глянцевоый Пушкин? Время ныне другое, Коленька. Вот ты убрал светящийся аншлаг спектакля. А зачем? Ведь это гениальная находка моего друга Михаила! Действительно, угораздил чёрт родиться Пушкину с умом и талантом в России! Ты посмотри внимательно, что у нас происходит сейчас. Да...

Он сделал паузу, ласково даже посмотрел в сторону Николая.

– А твои придумки с этим Аполлоном и Нарциссом? Это что? Слабо, Коля, слабо. Я уж не говорю о Сальери. В том-то и дело, Коля, что Сальери у Пушкина побеждает Моцарта физически, а сам остаётся жив. Так и я играл в своё время. Но проигрывает он душой. Понимаешь, душой! Это же насколько сильнее, чем у тебя написано. – Он опять взял паузу. – Нет, Коленька, надо всё оставить, как было. Прав Михаил Фридрихович, даже великому Бергеру текст понравился. Ты должен передать нашему моло-

дому герою, Косте Гусельскому, то, что ты играл. Вот и всё. И побережь своё здоровье. Ты ведь хороший артист и нужен театру. У меня всё.

Он сел.

Опять повисла тягостная пауза.

– Есть ещё желающие высказаться? – спросил Домнин.

Желающих не оказалось.

– Тогда слово вам, Николай Иванович.

Николай встал.

Игра была для него слишком понятной, чтобы что-то разгадывать. Домнин Рабинера нацелил на Керн – чтобы Любы не было в спектакле. Тернова – против всего того, что он в муках отыскал. Чтобы доказать, что он никакой не режиссёр, и чтобы знал своё место.

«Ладно, я знаю своё место. Знаю!»

– Начну с аншлага, которой вы вывесили, уважаемый Михаил Фридрихович. Россия – родина Пушкина, которую он любил больше всего на свете. И если мы вводим Пушкина как персонаж спектакля, то он должен говорить о сокровенном, что как раз и высказал в письме к Чаадаеву. Да, нам нужен не глянецкий Пушкин, вы верно сказали. Но совсем не такой, какого требуют наши так называемые постмодернисты. И Бергер, которого вы назвали великим. Не им я хочу показать моего Пушкина! Но тем, для кого тот Пушкин, о котором Тютчев написал: *«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет»*. Вот так, Михаил Фридрихович, и никак иначе.

Николай чувствовал, как перебойно забилося сердце. Надо бы остановиться, принять лекарства.

Но он решил высказаться до конца.

– Вы сказали, что письмо Соболевскому даже прочесть нельзя при женщинах. Да, тут опять вы правы. Нельзя! Табу! Да, у Пушкина и Керн была и телесная любовь, ну и что? Вам надо, чтобы это было показано? Как «основной инстинкт» у американцев? Как в их увенчанных премиями фильмах, которые даже критики не могут досмотреть до конца? Выбегают из зала, особенно женщины, потому что их просто-напросто рвёт от увиденного на экране? Русская культура против этой мерзопакости! Любовь Пушкина и Керн прекрасна! Она и духовная, и телесная. Да, отношения после Михайловского у них были разные, но так что из этого? Телесные отношения, между прочим, у них были *после* Михайловского. К тому времени она сильно тяготилась жизнью с престарелым генералом. Жили они врозь, хоть и в одном доме. И вы это прекрасно знаете. Нас же интересует именно встреча в Михайловском! И это лучше всего сказано в его бессмертном стихотворении! Понятно вам? Вам, который называет себя пушкиноведом!

– Я бы попросил вас... – ядовито начал Рабинер.

Но Николай перебил его:

– Не просите, всё равно ничего не выйдет! Пушкин выше ваших скабрёзностей!

– Ну, знаете ли...

– Знаю! – снова остановил его Николай. – Знаю! А вы, Борис Фёдорович? Вы же сами говорили мне, когда я вам рассказал о первой крупной вещи Моцарта, написанной в одиннадцать лет. Вы же сами сказали, что я здорово придумал с Аполлоном и Гиацинтом. А теперь перепутали Нарцисса и Гиацинта. Где же вы настоящий, Борис Фёдорович?

– Коля, да ты чего? – басок Бориса Фёдоровича выдал его удивление и растерянность.

– Оставьте этот тон, Борис Фёдорович. Меня зовут Николай Иванович. Я служу в этом театре уже десять лет и имею звание заслуженного артиста России.

– Да разве я... – стал оправдываться Тернов. – Разве я не сказал, что театр ценит тебя как актёра?

– Ваша похвала замазывает ложь, Борис Фёдорович. И Сальери, которого вы играли вместе со мной, был совсем не тот, которого вы сейчас описали. Ваш Сальери если не умирал физически, то потому, что мы тогда до этого не додумались! Потому что Пушкин не мог не знать, что Микеланджело не был убийцей. Он, как скульптор, изучал трупы, чтобы знать анатомию человека. А вскрытие трупов в его время каралось смертным приговором. И то, что я придумал... далось мне не так-то просто, как вы тут решили... И я не откажусь от того, что выстрадал, понимаете?

– У вас всё? – сказал Домнин.

– Всё.

– Тогда садитесь.

Пётр Соломонович поправил свои маленькие очки, принял строгий, начальственный вид, какой умел принимать в самых сложных ситуациях.

– Так... Позиции достаточно ясны, чтобы принять решение. Позицию театра, высказанную профессором Рабинером и народным артистом Терновым, я полностью разделяю. Позиция Николая Седова тоже достаточно ясна. Никаких замечаний он принимать не хочет. Восстанавливать спектакль в прежнем виде тоже не хочет. Итак, ставлю вопрос на голосование. Кто из членов худсовета за то, чтобы отклонить вариант текста пьесы, представленный Николаем Седовым, признав, что это творческая неудача, прошу поднять руки.

Подняли руки все, даже комик Дронов. Он виноватыми глазами смотрел на Николая.

– Кто за то, чтобы дать возможность Николаю Седову дальше работать над спектаклем, с учётом тех замечаний, которые высказаны на худсовете, прошу поднять руки.

– Подождите, – остановил голосование Николай. – Если не принят мой текст, где ясно выражена концепция спектакля, пусть его ставит кто-то другой.

– То есть, вы отказываетесь от дальнейшей работы?

– Да, отказываюсь. И забираю свою пьесу.

Он подошёл к «мемориальному» столу и взял текст пьесы, лежащий перед Петром Соломоновичем.

– Коля, подожди! Так нельзя! – почти крикнул Борис Фёдорович.

Но Николай твёрдыми шагами дошёл до двери и вышел из кабинета, ни с кем не попрощавшись.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ВЕНЧАНИЕ

Странно, казалось бы, надо впасть в отчаяние: пьеса отвергнута, он повержен, отношения и с главным, и со многими актёрами испорчены, похоже, навсегда.

Но никакой подавленности он не чувствовал. Наоборот, ощущал нечто вроде *победы*.

«Почему? – рассуждал он. – Да потому, что сумел высказаться! Не испугался. С этим Фридрихштрассе (так он про себя называл Рабинера) разобрался. И с Терновым. Что же касается Домнина... Жаль, конечно, расставаться. Столько вместе пройдено... Но всему приходит конец».

Любе он всё рассказал про худсовет, но не про главное.

А главное заключалось в том, что он решил уйти из театра. Есть несколько предложений сниматься в кино. Один сценарий неплохой, можно подписать договор. Деньги будут – хотя бы на несколько месяцев. Висеть на шее Любы он не собирается – всю сознательную жизнь было как раз наоборот: висели на его шее, он содержал семью, помогал, если требовалось, и родителям.

А если получал хорошие гонорары, всегда делал подарки жене, маме, отцу.

Так всё сошлось, что венчаться они должны были всего через день после худсовета. Договорились с отцом Сергием, чтобы в храме, по возможности, никого не было – не хотели, чтобы вокруг свадьбы возникли шумиха и суета. В свидетели пригласили Валентину с Ефремом, её мужем. Ещё Николай пригласил фотохудожника Толю Карасюка, с которым подружился на съёмках «Пути».

Люба хотела пригласить свою подругу Настю, но та опять уехала за границу на гастроли. От других своих знакомых и приятельниц Люба отказалась – она, как и Николай, не хотела шумихи.

Но суеты всё равно оказалось немало. Люба решила подвенечное платье не брать из театральной костюмерной или напрокат, а купить, чтобы оно стало памятью на всю жизнь. Заказала и свадебный обед, согласовав меню с отцом Сергием – опять хлопоты, то да сё, это можно, а это нельзя, лишняя трата денег ни к чему.

Концертный костюм Николая, чёрный, к нему шёлковая белая рубашка и лакировки вполне подошли для венчания, и к церкви они приехали одетые, как и положено жениху и невесте.

Как они ни прятались от посторонних глаз, но всё равно их заметили и сразу узнали, особенно Любу. Она была чудо как хороша, да и жених выглядел отлично – для своих чтецких концертных программ Николай всегда одевался безукоризненно. Потому и сейчас, когда они шли по главному нефу храма к аналою, возле которого поджидал их отец Сергей, Николай и Люба выглядели так, что на них нельзя было не обратить внимания, не остановиться и не полюбоваться ими.

В храме находились уборщицы, продавщица церковной лавки, певчие на клиросе – церковный хор малым составом. Но когда заказанная заранее машина подъехала к храму, когда Николай и Люба выходили из неё, их заметили несколько прихожанок. К тому же некоторые из певчих не удержались, рассказали своим близким и знакомым, разумеется, «по секрету», кто у них в храме будет венчаться. Этого оказалось достаточно, чтобы к началу венчания в церкви собралось достаточное количество любопытных, среди которых нашлись и почитатели известных актёров, идущих под венец.

Иподиакон отца Сергия дал венчающимся свечи, зажёл их. Отец Сергей с кадилом пошёл впереди Николая и Любы. Певчие запели 127-й Псалом:

*Блаженны все боящиеся Господа...
Ходящие по путям Его...*

После каждого стиха повторялось:

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Любе казалось, что всё происходит не с ней, а с кем-то другим, что это не она держит зажжённую свечу, а какая-то другая женщина или девушка. Она как будто оказалась в другом мире. Может быть, это сон? Она повернула голову и увидела Николая – и он был каким-то другим, незнакомым. И голос батюшки, мягкий, баритональный, и голоса певчих – всё унесло её в иной мир, и она уже мало что понимала.

Валя и Ефрем стояли позади и держали над головами жениха и невесты позолоченные венцы.

А хор пел, как казалось Любе, возвышенно, красиво, хотя в исполнении малого состава церковного хора не было ничего выдающегося.

*Жена твоя, как виноградная лоза плодovitая по сторонам дома твоего...
Сыновья твои – как саженцы масличные вокруг трапезы твоей...*

Хор всё повторял:

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе...

Когда ехали в храм, Николай даже подшутил над Любой, которая крепко сжимала его ладонь:

«Боишься, что я сбегу из-под венца?» – «Боюсь». – «Это мне надо бояться. Вдруг ты захочешь подражать Настасье Филипповне?»¹² «Нет!» – ответила она и нервно засмеялась.

Сейчас было совсем не до смеха. Сейчас надо держаться, чтобы не заплакать – почему-то именно в ту минуту, когда хор запел про виноградную лозу, он вдруг почувствовал, что может зареветь.

Сдержался.

Отец Сергей сказал слова о таинстве брака, об обязанностях вступающих в него, обратился к ним с вопросами, какие положены по обряду венчания. Получив положенные ответы, после великой ектеньи и молитв он, взяв венцы, крестообразно осенил Николая и Любу, заключив молитвенными словами:

Господи Боже наш, славою и честью увенчай их!

И когда он надевал венцы на головы Николая и Любы, она словно очнулась – поняла, что это её, Любовь Венчанову, навеки венчают с её избранником Николаем Седовым.

И он теперь её муж. Они трижды отпили из общей чаши, трижды надели и сняли кольца на пальцы друг другу, поцеловались. Николай, уже принимая поздравления от Вали и Ефрема, увидел слёзы в глазах Любы.

– Ну чего ты, всё хорошо. Даже замечательно. Идём, а то сейчас тебя атаковать начнут. И откуда только они всё узнали? Нет, нет, никаких интервью, извините. Быстрее, Люба, быстрее!

И он увлёк её к лестнице, она вела в трапезную, которая находилась в полуподвальном помещении, под главным нефом храма. За трапезный стол пригласили певчих, служителей храма.

¹² Имеется в виду эпизод из романа Ф. Достоевского «Идиот».

Отец Сергей ещё раз поздравил новобрачных и подарил им венчальные иконы.

— Ну вот, дорогие мои, теперь вы едины плоть, и никогда вам не быть порознь. Что радуется одного, да радуется другого. Что болит у мужа, отзовется в сердце жены. По нашему древнему обычаю невеста всем гостям подносила горькую водочку. А чтобы её подсластить, надо было поцеловаться. Потому и кричали: «Горько!»

Отец Сергей широко улыбнулся, поднял стопку с водкой.

И все тоже подняли кто стопки, кто бокалы, содвинули их и радостно смотрели, как Николай и Люба поцеловались. Потом произносили здравицы ещё и ещё, закусывали, смеялись шуткам регента Василия, который, оказывается, «выпить был не дурак, хотя и дурак немалый», как он представил себя Николаю и Любе. Потом служители церкви потихоньку ушли. Так же незаметно стали уходить и певчие, видя, что отец Сергей всё чаще стал обращаться только к молодожёнам, а не ко всем сидящим за столом.

Когда молодожёны остались с отцом Сергием, Ефремом и Валентиной, Николай понял, что теперь самое время спросить батюшку, правильно ли он решил, как жить дальше.

— Я ещё не сказал ни вам, ни Любе, что хочу уйти из театра, — начал он. — Дело не в том, что худсовет зарубил мою пьесу о Пушкине и Моцарте. Конечно, горько. И тут поцелуй не поможет. Поможет, как мне кажется, только полный разрыв с этими людьми. На худсовете я понял, что они не пьесу мою отвергли, а меня — мои убеждения, мои идеалы, всего меня с потрохами, понимаете?

Отец Сергей посерьёзней, не ожидал такого разговора за свадебным столом. Но если Николай его начал, значит, даже сегодня не может держать горечь в душе.

Валентина и Ефрем, сидевшие по левую руку от молодожёнов, тоже не ожидали такого резкого изменения разговора. Но их реакция не проявилась так резко, как у отца Сергия.

Ефрем, привыкший к разным худсоветам, в том числе и к тем, где дело доходило и до обмороков у женщин, скрежетов зубов у мужчин, готовых даже к рукопашной, горестно вздохнул и слабо улыбнулся.

— Коля, ну что ты. Вспомни, как проходил приём «Пути» Восковского. Кто только не пинал его! А потом те же люди кричали: «Брависсимо, Клим, ты гений!»

— Да помню я, Ефрем. Здесь — другое. Понимаете, батюшка, они хотят, чтобы я оставил всю клубничку, которая была у Бергера. Им обязательно надо, чтобы Пушкин был бабник, Моцарт дурашлив, Керн потаскушка. Вот в чём новаторство! И я раньше участвовал в этой возне. А теперь не хочу и не буду.

Отец Сергей смотрел на Николая долгим, внимательным взглядом, изучая его.

— Да, знаю, гениев принято пачкать. Чтобы показать: они такие, как мы. А мы такие, как они. Человек — он один, все пороки есть у них и у нас. Так?

— Да. Но этого ещё мало. Теперь, батюшка, они друг перед другом соревнуются, кто сильнее покажет, как человеком овладевает порок. Вон у Золотцева в новом спектакле даже мочатся, повернувшись к зрителю голым задом. И оправдывают эти приёмчики «художественной необходимостью» показывать правду жизни.

— Я слышал про театр Золотцева. Но вот ты скажи, Николай, если из театра уйдёшь, то куда? Ведь ты теперь не один.

Николай быстро взглянул на батюшку. Потом на Любу.

– Есть несколько сценариев. Один неплохой. Буду сниматься.

Отец Сергей одобрительно кивнул.

– Вот и слава Богу.

Валя, до сих пор молчавшая, сказала:

– А мне жаль, что спектакля не будет. Мы с Ефремом кое-что уже сделали. Посмотрите?

Вместе с мужем они установили на стуле у стены большую картонную папку – так, чтобы видели сидящие за столом. Извлекли из неё ватманские листы и стали их показывать один за другим. Это были рисунки к спектаклю Николая: Моцарт и Пушкин стоят лицом друг к другу; Моцарт и Сальери – один за клавином, другой – стоя, слушающий. Но особенно хороши были Пушкин и Анна Керн, стоящие в пол-оборота друг к другу, лицом к лицу, в профиль. Рисунки сделаны карандашом, быстрым, лёгким, уверенным. Как будто художник вёл карандаш, не отрывая от листа, как будто наперёд зная, как получатся фигуры поэта и его музы.

– Это всё Валя, – сказал Ефрем. – Мои только детали.

– Прелесть! – радостно воскликнула Люба. – Прелесть что такое!

– Да, замечательно, – поддержал отец Сергей. – Конечно, жаль, что спектакля не будет.

– Что вы, батюшка. Будет спектакль, да ещё какой! И вас первого пригласим на премьеру, – всё так же уверенно сказал Ефрем.

– Ну, раз так... Господь управит. А вы, Николай, дайте мне вашу пьесу почитать.

– С радостью.

– Рисунки вам в подарок, – сказала Валя. – Раз они понравились.

Она раскраснелась то ли от вина, то ли от волнения, но сейчас её лицо приняло выражение радости, удовлетворения, что её работа понравилась. Хотела она того или нет, но вся её любовь к Николаю сказалась в этих рисунках – особенно в том, где Пушкин изображён с Анной Керн.

Выпили за Валю и Ефрема.

Теперь пришла очередь высказаться Любе.

– Знаете, мне тоже хочется, чтобы спектакль состоялся. И вот что я подумала. Гусельскому мы замену найдём – не проблема. И театр найдётся – кто же не возьмёт такой спектакль! С Седовым, с Венчановой! – Правую руку она вскинула вверх, левую – вбок, голову подняла – вот я какая! – Найдём театр, Домнин ещё будет грызть ногти. Вот увидите!

– Так оно и будет, – спокойно подтвердил Ефрем. – Считайте, что наш худсовет состоялся. Давайте выпьем за это.

Они выпили, и радостное чувство вернулось в их сердца.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Они купили путёвки в подмосковный дом отдыха. Решили, что на недельку. А если Любе дадут отпуск и на больший срок и если им понравится дом отдыха, они побудут там и подольше.

Декабрь выдался снежный, в меру морозный, и Люба сказала, что это так и должно быть, потому что они теперь под защитой самого Христа и Бого-

родицы. Она даже венчальные иконы хотела взять с собой, и Николай с трудом отговорил её не делать этого.

Дом отдыха оказался достаточно комфортным, дорогим, правда, но хорошим по услугам.

Но больше всего им понравился сам сосновый бор, в котором находился этот дом отдыха – старый, но выкупленный ловким предпринимателем, который сумел за короткий срок и отремонтировать помещение, и создать здесь комфортные условия для отдыха. Они катались на лыжах, на санках, с горки, которая была неподалёку от входа в дом отдыха.

Сегодня катание на санках вышло особенно славным.

Когда они почти скатились с горки, санки неожиданно перевернулись. Они оказались в снегу.

Николай засмеялся, а Люба крадучись набрала в ладони снега и неожиданно стала быстро-быстро натирать им лицо Николая.

Он не успел очухаться, а она уже вскочила на ноги и стала убегать от него вверх по горке. Он догнал её, повалил и тоже натёр ей лицо.

– Вот тебе, вот тебе!

Он, весь залепленный, смеясь, крикнул:

– Хватит!

– Сдаёшься?

– Сдаюсь!

Она подняла руку вверх:

– Моя победа!

Он встал, отряхиваясь, согнувшись перед ней, как побеждённый, а сам набирал в руки снег. Неожиданно выпрямился, бросив ей снег в лицо.

Она охнула от неожиданности, а он уже улепётывал от неё вниз по горке.

Она за ним:

– Ах ты!..

Николай резко остановился, так, что она ударилась о его грудь.

Он крепко обнял её. Нашёл её губы и поцеловал.

Работницы дома отдыха, достаточно молодые, симпатичные, стояли у высокого окна и наблюдали, как забавляются Николай и Люба.

– Как они любят друг друга, – сказала одна из них.

– Завидуешь? – вздохнув, спросила другая.

– Завидую, – призналась первая.

Вечером после ужина пришли в ресторанчик, уютный, небольшой, с камином, приглушённым светом и тихой музыкой.

Во время танца Люба сказала:

– Коля, знаешь что? Хочу тебе сказать одну вещь... Одно своё желание. Выполнишь?

– Конечно, – без раздумий ответил он. – Теперь ты можешь из меня верёвки вить.

– Я не про это. Я ведь тебе сказала, что никогда не была так счастлива, как теперь.

– А про что?

– Про твой спектакль.

Он даже прекратил танцевать, отстранился от неё.

– Ну, говори.

– Я нет-нет да и вспоминала про спектакль. И вот сегодня, когда катались на санках и перевернулись...

– Ты хохотала так замечательно!

– Так вот... Когда ты меня обнял... поцеловал... И вот... в тот самый момент мне пришло в голову, что я похожа на Моцарта. Когда он обвенчался со своей Констанцией... После категорического запрета отца. А он запрет нарушил! И был счастлив, как я теперь!

Лицо её, свежее, молодое, как будто бы озарилось каким-то особым светом. Как будто бы свет шёл не от лампы, стоящей на столе.

«Она хочет сказать о нашем ребёнке», – мелькнуло в его сознании.

– Ну, так что?

– Я подумала, что смогу сыграть Моцарта.

Он смотрел на её лицо, она чуть улыбалась и ждала ответа.

Но он молчал.

– Что молчишь?

– Дай собраться. Просто я думал совсем о другом.

– О чём же?

– Сказать?

– Скажи.

– Не испугаешься?

– Ты же не испугался моего предложения.

– Не испугался. Но надо посмотреть, какой из тебя выйдет Моцарт, прежде чем давать ответ.

Она подняла бокал:

– Предлагаю выпить за мой дебют. Костя ведь должен был играть Моцарта и Актёра. Вот и получается, что вместе с Анной Керн у меня будет три роли.

Он улыбнулся:

– Я же сказал, что ты из меня можешь верёвки вить. Но только... если это не будет касаться моего творчества.

– Не беспокойся, я не буду наступать на горло твоей песне.

– Тогда я поддерживаю твой тост.

Они выпили.

Она взяла шоколадку, надкусила её, дала надкусить Николаю.

– Ну, теперь говори, о чём подумал.

– Ладно. Откровенность – за откровенность...

И после паузы:

– Я подумал, ты хочешь сказать о нашем ребёнке.

Она осторожно положила шоколадку на блюдце.

– Коленька...

И больше не смогла сказать ни слова.

Утром после завтрака они остались в своём номере. Люба попросила дежурную, чтобы их не беспокоили. Коля удивился, что текст пьесы у Любы с собой.

– Не удивляйся, хотела у тебя кое о чём спросить. Какую сцену возьмём?

– Вот эту.

Отдал ей тетрадь.

– А ты?

– Я знаю текст наизусть. Вот с этого места.

Николай сосредоточился на тексте роли и произнёс слова уже не свои, а Сальери:

Сальери

*Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.*

Люба произнесла печальным, задумчивым голосом:

Моцарт

*Признаться,
Мой Requiem меня тревожит.*

Не показывая своего удивления, Николай продолжил:

Сальери.

А! Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Продолжила и Люба, сказав с неподдельной тревогой:

Моцарт.

*Давно, недели три. Но странный случай...
Не сказывал тебе я?*

Сальери.

Нет.

Моцарт.

*Так слушай.
Недели три тому, пришёл я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего – не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашёл и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в чёрном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать – и с той поры за мною
Не приходил мой чёрный человек.
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...*

Сальери.

Что?

Моцарт.

Мне совестно признаться в этом...

Сальери.

В чём же?

Моцарт.

*Мне день и ночь покоя не даёт
Мой чёрный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам – третий
Сидит.*

– Стоп, – сказал Николай. – Неплохо. Неплохо... – Он задумался.

Она с тревогой смотрела на него. И он внимательно разглядывал её.

– Вот это состояние... тревоги, но не только её... А ещё и провидения! Вот что тут главное! Но голос. Пожалуй, такой вполне может быть у Моцарта. А почему бы и нет? Да, женственный, ну так что ж? В нём же столько нежности... Сколько и силы...

Так он размышлял вслух, время от времени взглядывая на Любу, ожидавшую приговора.

– Давай-ка ещё разок.

И снова произнёс:

– *Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?*

Пройдя сцену ещё раз, Николай сказал:

– В принципе, кажется, можно...

Люба бросилась ему на шею:

– Утверждаешь?

– погоди, погоди... Не ликуй раньше времени. А куда твои груди деть?

– Подумаешь, проблема! Перетяну! Главное, голос подходит? Скажи «да»!

– Уж больно красивый будет Моцарт.

– Чем же это плохо? Вот же, ты сам написал: «*Чем уродливее жизнь вокруг, тем прекраснее должна быть музыка*». Следовательно, и Моцарт тоже! Ну?

– Любушка, так ведь сколько работы на свои плечи взваливаешь! Об этом подумала?

– А как же! Хочу всё время быть с тобой. Помогать! У меня получится, вот увидишь.

– Откуда такая уверенность?

– Потому что люблю тебя. А любовь всегда права, сам говорил.

– С тобой невозможно спорить.

– И не надо. Я ведь талантливая девочка – все так говорят.

– Да, талантливая. Но ведь тут не Карамболина, не Сильва. Тут Моцарт, Люба.

– Зря обижаешь меня. Увидишь, я способна сыграть и трагическую роль.

– Давай договоримся так, как Восковский договаривался со мной. Если у тебя не получится главная сцена – я тебя с роли Моцарта снимаю. Я сыграл, и он меня оставил. И я тебя оставляю, если ты сыграешь.

– Согласна, – ответила она. – А теперь пойдём кататься на лыжах. У нас ещё уйма времени до обеда.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ РОЖДЕСТВО

Репетировали почти каждый день и не заметили, как пришёл Новый год. Встретили его дома, никого не пригласив, – им хорошо было вдвоём. Из теа-

тра Николай уволился, хотя многие его отговаривали. Он подписал договор на съёмки в фильме, как и намеревался. Сейчас шёл подготовительный период, так что свободного времени у него оказалось достаточно.

Люба жадно впитывала всё, что рассказывал ей Николай о Моцарте. Сцены, где требовалось показать лёгкость, детскость в характере Моцарта, дались ей без труда. Николаю порой казалось, что Моцарт у Любы получается лучше, чем у него. Особенно его поразило, когда они репетировали сцену, в которой Моцарт спрашивает:

*Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?*

Люба произнесла эту фразу так, что Николай невольно охнул.

– Ты сыграла то, о чём я только догадывался. Моцарт словно понял уже, что его отравили или хотят отравить. Ведь он болен. А тут ещё и чёрный человек. Вот он и спрашивает! Пушкин, конечно, всё знал про Бомарше. Это мы ничего не знаем.

– Что именно? Поясни, – Люба постепенно приходила в себя, поняв, что она правильно играет самую сложную сцену.

– Понимаешь, фамилия Бомарше вовсе не его. Он – Карон, а взял фамилию богатой вдовушки, на которой женился. Скорее всего, по расчёту. Вдовушка скоропостижно умирает. Наш бойкий адвокат и литератор женится вторично. Опять же на богатенькой вдовушке. Представь – и она скоро умирает. Муж вроде бы в отчаянии. Однако это ему не мешает жить на широкую ногу и развлекаться. Ораторствовать не прекращает – в судах выступает с таким блеском, что даже явно проигрышные дела выигрывает. Главное, красиво и остроумно уметь защитить даже убийцу! Вот парижане и решили, что знаменитый Бомарше пусть и под подозрением, зато остроумен и красноречив. А разве можно такого сажать в Бастилию?

– Поняла. Но при чём здесь Моцарт?

– А при том, что ты сумела передать его душевную смуту. Он как будто заранее знает, что Сальери его отравит. Вот что ты сыграла.

– Правда?

– Да! Да, хорошая моя. Ты сама не понимаешь, как талантлива. Но только не смей задирать нос!

Она обняла его и прижалась к нему.

– У меня нос и так вздёрнутый. Куда же ещё его задирать? Значит, буду играть Моцарта?

– Будешь. Играла же Сара Бернар Гамлета. А мы чем хуже?

Так они репетировали, хотя понимали, что их спектакль скорее фантазия, нечто эфемерное – по-прежнему не было ни денег на постановку, ни договорённости, где играть.

Не заметили, как подошёл Рождественский сочельник. Утром Люба уехала в театр, и Николай, оставшись один, решил заняться обустройством своего кабинета. Ему захотелось сделать свой кабинет уютней, украсив по своему вкусу. В гостиной стояла нарядная ёлка, а вот кабинет выглядел буднично. И он решил это исправить. Рисунки Валентины уже помещены в рамы и под стёкла, осталось их развесить. Оформлена и фотография, снятая Толей Карасюком на свадьбе – Николай и Люба надевают кольца на безымянные пальцы правой руки друг другу.

Толе больше других понравилась фотография Любы в подвенечном платье, и он сказал, вручая пачку отпечатанных фото Николаю:

– Эх, вот это фото Любы так и просится на обложку журнала! Представляешь, Коля, как она будет смотреться?!

Толя был маленького роста, толстячок, но проворный, быстрый. Его знала вся киношно-театральная Москва. Ценили Толю не только за мастеровитость, но ещё и за личное обаяние.

Фотографию, которая Николаю понравилась, он повесил на стену слева от стола. Справа во всю стену развесил рисунки Вали. В центре – Пушкина и Моцарта на «аллее Керн». Прямо над столом, как и прежде, разместил икону Николая Чудотворца.

Он дождался Любу, и они вместе поехали на Рождественскую вечерню. Люба, уже своя в храме, пробралась к правому клиросу между прихожанами. Николая поставила у входа на клирос.

Он знал, что она ездила на спевки, и похвасталась, что отец Сергей решил ей петь праздничную службу вместе с хором. Николая это не удивило – Люба работает в музыкальном театре, что же ей не освоить церковное пение. Но вот то, как она так быстро стала своей и среди певчих, и в храме, было для него поистине удивительно. Потому что знал, что прихожане здесь непростые, на собственном опыте убедился, что за внешней доброжелательностью у многих чувствовалось настороженное, изучающее отношение к нему: актёр, мало ли чего он может выкинуть?

Особенно строго приняла его регент Серафима, некрасивая женщина лет шестидесяти, худая, очкастая, всегда одетая во всё чёрное. И тем более удивился Николай, когда увидел, как разулыбалась Серафима, когда Люба вошла на клирос, с какой радостью встретила её, поставив от себя по правую руку.

Одета она сегодня в нарядную шёлковую кофточку, в белый платок. Люба тоже в белом, платок на голове тоже белый. Она и с певчими поздоровалась как с давними друзьями. Стала листать ноты на пюпитре, о чём-то переговариваясь с Серафимой.

Но вот смолк колокольный перезвон, в храме наступила тишина.

Открылись Царские врата, и диакон, подав отцу Сергию кадило, со свечой в руке вышел на солею.

Отец Сергей возгласил:

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков...

Великое повечерие Всенощного бдения началось.

Серафима подняла руки вверх, держа в правой руке камертон.

Взмахнула им, и хор запел тропарь праздника, потом и кондак, и служба всё более и более погружала и Николая, и всех молящихся в тот *воздух вечности*, который входит во все храмы России в эту ночь, во все сердца и свято верящих в приход в мир Младенца-Христа, Спасителя рода человеческого, и тех, кто только стал идти к нему, как Ефрем и Валентина, и тех, кто *заглянул* в храм, потому что ныне и президент, и премьер-министр стали заходить в храмы и держать зажжённые свечи в руках. Все люди России сердцем поняли, что происходит сейчас нечто особенное, которое не определишь обычными словами.

Люба пела вместе с хором, но голос её всё равно выделялся, и Николай слышал его. Ему говорили, что только одноголосое пение *знаменного распева* должно быть в храме, что так называемое *партесное пение* недопустимо, оно мешает молитве.

Но не только Николай, но и многие в храме наглядно убедились, что многоголосье и сольские партии вовсе не мешают молитве, а наоборот, поднимают душу не только к куполу храма, но и к небу. Правда, если пение это такое же, как у Любы: идущее прямо из сердца, да к тому же ещё и прекрасное, дарованное от рождения Господом.

И Николай, воодушевлённый, тоже пел вместе со всеми:

*С нами Бог, разумеете, языци,
и покарайтесь:
Яко с нами Бог.
Услышите до последних земли:
Яко с нами Бог.*

На литургию, которая заканчивалась в четыре утра, не остались. Но с отца Сергия взяли слово, что к ним он обязательно приедет завтра, когда начнутся Святки, то есть Святые дни.

А сегодня к ним присоединились Ефрем и Валентина, и они отправились к Любе и Николаю.

Осмотрели по-новому убранный кабинет Николая, гостиную, где вместо одного из пейзажей, самого, пожалуй, невзрачного, Николай повесил лучший рисунок Вали – Пушкин и Анна в профиль, лицом к лицу, на аллее, которая навечно стала «аллеей Керн». Перемены одобрили, уселись за стол.

– Вот и дождалась Рождества, – сказал Николай, вставая. – Началась и у нас новая жизнь, мои дорогие. Давайте за неё и выпьем. Чтобы эта жизнь как можно дольше не кончалась.

– А теперь она вообще никогда не кончится, – сказал Ефрем и тоже встал. – Ведь ты веришь, что есть жизнь вечная?

– Верю. Иначе бы в храм не пошёл.

– И мы с Валюшей тоже. Я крестился. Глядя на вас, мы тоже решили повенчаться.

– Вот это здорово! – обрадовалась Люба.

– Ну, вперёд!

Содвинули бокалы, выпили. На ёлке мигали разноцветные огни. Пахло хвоей, свежестью, радостью. Это и был запах Рождества Христова.

– Есть одно сообщение, – сказал Ефрем, когда закусили и вновь наполнили бокалы.

Он встал, пригладил свой седой чубчик. Слегка улыбался, оглядывая собравшихся за столом. Положил руку на плечо жены.

– Мы с Валюшей вот что решили. Продаём её квартиру. Она нам не нужна, в сущности. Моей двушки нам хватит. А деньги нужны... – он помедлил, – на наш спектакль.

Первым пришёл в себя Николай.

– Да вы что, ребята. А как же сын, Володька. Подрастёт, женится...

– Конечно, женится. Будет день, как говорится, будет и пища. А спектакль нужен сейчас.

– Ефремка, Валя, – Люба подбирала слова, – какие же вы...

– А вот такие, – спокойно возразил Ефрем. – Надо ведь не только по-книжному быть христианами. Так жили и фарисеи. Надо и самим попробовать жить по-христиански. Выпьем за это.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ ОТЕЦ СЕРГИЙ

Отец Сергей был ровесником Николая. В церковь пришёл по призванию, бросив свою научную карьеру, которая складывалась довольно успешно. Без пяти минут кандидат философских наук, он оставил философию и стал поступать в духовную семинарию. Столь внезапное решение, как он объяснил в приёмной комиссии, было совсем не внезапным, а плодом довольно долгих раздумий. Он пришёл к выводу, что философия есть только подготовительный этап к пониманию всего сущего и цели жизни человека. Истинная цель – жизнь во Христе и спасение души – вот что он понял. В этом ему помогли Владимир Соловьёв и отец Сергей Булгаков, по творчеству которых он писал диссертацию. Не дописал её, потому что понял: замечательные религиозные философы всё-таки истолковали превратно, по его мнению, понятие Софии Премудрости. Если объяснять, в чём их заблуждения, то неизбежно придёшь к каноническому определению, данному Православной Церковью. А говорить об этом открыто в нашей стране время ещё не пришло.

В семинарию Сергея Игоревича Насонова приняли, а уже через год рукоположили сначала в диаконы, а потом и в иереи. Отец Сергей закончил и Академию в Троице-Сергиевой лавре, стал клириком того самого храма святителя Николая, где через два года стал настоятелем.

К Николаю он не сразу проникся доверием. Уже встречались на его пути и литераторы, и журналисты, и актёры, которые, вроде ревностно начав верить в Бога, затем довольно быстро охладевали, реже приходили в храм, а то и вовсе переставали приходить на богослужения.

Попадались и такие, кто прямо говорил о разочаровании в Церкви. Таких отец Сергей и не пытался переубедить – раз не верят, значит, не хотят душою потрудиться.

Постепенно он разглядел Николая. Особенно сблизились они, когда Николай стал готовить спектакль о Моцарте и Сальери. Прочитав пьесу, отец Сергей убедился, что Николай может сделать хороший спектакль. И сам захотел поучаствовать в его создании.

Теперь вот и случай представился – Николай и Люба на Святках пригласили его к себе.

Разговор не сразу налачился, но, как только Николай рассказал о поступке Ефрема и Валентины, отец Сергей оживился.

– Вот вам и интеллигенция, которую мы привыкли бранить. И среди неё есть замечательные люди. Хотя не обходится и без путаников. Даже лучшие из них стараются поправить и исправить всё, что происходит в Церкви... А Лев Толстой взялся за исправление Евангелия. Выходит, самый главный из грехов – наша самость. То есть гордыня. Особенно в вашей профессии она сильно видна.

– Да, вот наш народный Тернов наставлял меня: скромность, Коля, это путь к забвению. Сам себя не похвалишь, будешь ходить как оплётанный.

Отец Сергей засмеялся:

– Вот-вот. Шутка, а всё же о многом говорит. Вот я вас похваляю, и это, верю, будет вам не во вред. Мне нравится, что вы делаете. Зависть – ведь это следствие всё той же гордыни. Как это – кто-то лучше меня? Нет, убрать его с дороги! Вот есть у нас святые – Косма и Дамиан, врачи бессребреники. Учитель, что сделал их знаменитыми врачами, стал люто завидовать их славе. Да так, что решил их убить. Говорит: «Косма, пойдём, покажу тебе место,

где растёт редкая целебная трава». Завёл в чашу, убил. То же самое сделал и с Дамианом..

– Как и Сальери, – сказала Люба.

– Да, верно. Но дело не только в зависти, хотя это апофеоз гордыни. Есть ещё нечто, что не позволило бы этому человеку пойти на убийство.

– Что же? – спросил Николай.

– Вера. Сила молитвы. Они способны остановить убийство. Способны даже на большее. Например, излечить смертельную болезнь.

Николай печально улыбнулся.

– Да, конечно, жития святых... Но ведь это... как сказка...

– Нет, Николай. В это трудно поверить, когда не понимаешь, что Богу возможно то, что невозможно человеку. Вот этого-то у тебя в пьесе как раз и не хватает.

– Да?

– Да. Гений – ведь это от Бога. Они выбираются им, как драгоценные сосуды. И святые так же избираются.

Николай усмехнулся.

– Допустим, вы правы. Но где у Пушкина о вере говорится? Так, чтобы можно органично в спектакль включить? Я помню, что он сказал, когда понял, что жизнь окончена: «Хочу умереть христианином». Но...

– Не за это тебе надо зацепиться.

– А за что?

– Да вот же, вот, у тебя же икона пророка Исаяи стоит!

Он показал на полку, где стояла та самая икона, на которую Николай обратил внимание, впервые придя сюда. Ещё хотел определить, чей же это лик изображён на иконе. Да так и не определил...

– Пророк Исаяя?

– Ну да! Неужели не знаешь?

– Не знаю, – вынужден был признаться Николай.

– Интересно, откуда же у вас эта икона?

– Бабушка дала. Когда я в Москву уезжала, – сказала Люба.

– Вот как. И что же, она ничего тебе не сказала при этом? Ведь благословляла?

– Да, благословляла. Сказала, что эта икона у нас родовая. Передаётся по наследству. Что этот святой бережёт наш род. И что это пророк Исаяя, сказала. И строго наказала, чтобы икону берегла.

– Вот как! Ну и ну! – отец Сергей был удивлён сверх меры. – Вот вам, друзья мои, прямое доказательство промысла Божьего.

– Да что такое? – недоумевал Николай. – Объясните.

– Конечно, Николай, конечно.

Вот что рассказал отец Сергей и что потом написал в своей пьесе Николай Седов.

В храме Успенья Богородицы Святогорского монастыря полусумрак. Лишь свечи, зажжённые на паникадилах, освещают часть иконостаса.

Отчётливо видна лишь икона Богородицы Святогорской Чудотворной.

Идёт Страстная неделя, и Пушкин крестится, и встает на колени перед образом Пресвятой.

Он молится, вслушиваясь в то, что произносит батюшка, столетний отец Иона, голова которого покрыта чёрным капюшоном с белыми крестами.

Голос отца Ионы.

«И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен».

Голос Пушкина.

Так вот, в чём дело! Вот что означают клещи, которые изображены на иконе! А в клещах – горящий уголь!

...Яркий луч света падает на икону пророка Исайи. Мы видим то, о чём говорит Пушкин.

Затем луч света падает и на лик пророка Исайи.

Голос отца Ионы.

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня...

Голос Пушкина.

Это и ко мне ты говоришь, Господи? Если так, то я весь Твой, Владыка и Отец мой Небесный. И я говорю: вот я, пошли меня.

Луч света падает на свиток, который держит пророк.

Пушкин читает.

«Азъ про тя мних рекох яко от девы роди...»

Голос Пушкина.

Да, это ему сказано, что от Девы родится Сын, в котором спасение мира... Я увидел здесь, на аналое, открытую Библию как раз на книге пророка Исайи, и прочёл, и озарилась душа моя...

Пушкин выходит из храма, садится в возок. Кучер трогает поводья, возок на полозьях, они быстро движутся по снегу. Пушкин начинает слагать своё бессмертное стихотворение.

Пушкин.

*...Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, –
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился...*

*...И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,*

*И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.*

*...И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.*

*...Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Встань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моею,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».¹³*

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ПРЕМЬЕРА

Денег хватило на всё: и на декорации, и на видеосъёмки сцен, которые шли на экране, образующем один из фонов спектакля, и на костюмы, и на рекламную кампанию. Правда, некоторые из перечисленных компонентов спектакля делали сами участники его – Ефрем и Валя, фотохудожник Толя Карасюк, оператор Дима Степанов, товарищ Николая, который за небольшие деньги снял не только сцены для спектакля, но и анонс, по-современному – трейлер для телевидения.

И некоторые другие работы для постановки спектакля сделали бесплатно или за небольшие деньги товарищи и знакомые Николая и Любы. Надо ещё сказать, что всю рекламную кампанию успешно провела Люба, применив и деловую хватку, и женское обаяние.

И вот всё готово к премьере, но волнение не проходит, а нарастает, хотя основные действующие лица постановки тщательно это скрывают. Включено всё электрическое освещение в фойе театра, с которым договорились не только о премьере, но и показах спектакля дважды в месяц.

Двери зрительного зала открываются, билетёр – а это знакомая нам Ксения Васильевна – продаёт программки к спектаклю, пропуская зрителей в зал.

«Театр уж полон, рожи блещут», – как однажды выразился комик Дронов, перефразировав самого Александра Сергеевича. Заметим, что на программке, изящной, с рисунком Вали, написано название спектакля, который теперь называется так:

«Пушкин, Моцарт и Актёр».
«Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина
с текстами документов из жизни героев трагедии
и её автора.

¹³ Источник: А. О. Смирнова. Дневник. Воспоминания. М., 1989 г. (изд. подготовлено С. В. Житомирской).

К премьере Николай подошёл крепко уставшим. Соблюдать предписания врача не удавалось – боли глушил таблетками, все чаще уколами. Научился их делать сам, чтобы лишний раз не волновать Любу, которая всякий раз пугалась, стоило Николаю сказать, что надо «для профилактики» кольнуть его в мягкое место».

К премьере он наказал бутафору Кате, чтобы она держала шприцы и лекарства для инъекций наготове. Но тщательно это скрывала от посторонних глаз и досужих разговоров. Вот прозвенел третий звонок, свет в зале погас, потом медленно стал загораться, осветив Пушкина и Моцарта, стоящих в центре сцены рука об руку.

И Николай произнёс первую фразу спектакля:

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. (Книга пророка Исаяи, глава 6, стих 8.)

И Люба произнесла следом:

*Достичь небес – это нечто прекрасное и возвышенное,
но и на милой земле несравненно прекрасна жизнь!
Поэтому оставьте нас быть людьми. (Иоанн Хризостом Вольфганг
Амадей Моцарт.)*

Погас свет прожектора, который освещал Любу. Николай пошёл вперёд, на экране вспыхнули слова:

«...Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Александр Сергеевич Пушкин. «Из письма к Чаадаеву»

На экране возник Святогорский монастырь, Пушкин крестится, заходит в храм Успения Богородицы...

Спектакль набирал высоту, как набирает самолёт, взлетающий в небо. И вот он уже на своём лётном эшелоне, и моторы ровно гудят, и облака проплывают мимо окон иллюминатора.

Николай остро почувствовал, как перебойно бьётся сердце, когда Люба в образе Моцарта садилась за клавишину, чтобы сыграть Сальери начало своего нового сочинения.

Николай шагнул в портал и окликнул Катю:

– Укол! Быстрей!

Катя, вчерашняя школьница, прихожанка храма святителя Николая, волонтером служившая в доме милосердия, укол сделала быстро и профессионально. К своей сцене Николай вышел вовремя. Ещё один укол Катя сделала в середине спектакля. Как будто стало легче, и он смог играть дальше. Так дошли до последней сцены.

Моцарт.

*Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,*

*Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!*

Сальери.
До свиданья.

Николай остался на сцене один. Тяжело ступая, потому что ноги стали ватными, чужими, он сделал несколько шагов к авансцене. Сердце опять убыстрило свой бег. «Господи, помоги! – взмолился он. – Дай доиграть спектакль! Умоляю тебя!»

Звучал «Реквием», и у него было время, чтобы перевести дух, собраться и произнести:

*Ты заснёшь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений?*

Ноги подкосились, Николай упал, но успел согнуть правое колено и выставить вперёд правую руку. Стоящие за кулисами Люба, Валя, Ефрем ахнули – падение Сальери в этом месте не предусматривалось на репетиции. Николай, выпрямив спину, подняв голову, глядя прямо в зал, задыхаясь, сказал:

*Гений и злодейство –
Две вещи несовместные. Не правда!
А Бонаротти?*

Николай крепче опёрся правой рукой об пол сцены, но рука подогнулась, он упал. В зале кто-то вскрикнул. Николай приподнял голову и прерывисто продолжил:

*Или это сказка
Тупой, бессмысленной... толпы...*

На репетиции Николай только после этих слов падал, но не на пол, а в кресло. Люба поняла, что с Николаем происходит неладное. Но помочь ему было нельзя. Может, всё-таки это игра? Но неужели... так можно играть?

Николай собрал все силы и с выдохом произнёс последние слова:

*...И не был
Убийцею создатель Ватикана?*

Получилось, что Сальери не прав – Буонаротти не был убийцею. И в подтверждение этого голова Сальери свесилась, легла на пол. Музыка продолжала звучать. Свет медленно гас. Как только стало темно, Люба бросилась к Николаю.

– Коля, Коленька! – Она подняла его голову, положила к себе на колени. – Коленька, тебе плохо? Скажи, скажи что-нибудь!

Николай молчал.

– Ефрем! Скорей! Помогите!

Николая оттащили со сцены.

– Скорей скорую! – крикнула Люба.

Катя достала шприц, наклонилась над Николаем.

– Закатайте рукав! – приказала она Любе.

– Что это?

– Николай Иванович подготовил. Я умею.

Она сделала укол.

Но Николай не приходил в себя.

Между тем зал стоя аплодировал, вызывая актёров на сцену. Что-то надо было предпринять, потому что аплодисменты не смолкали.

– Люба, выйди, – сказал Ефрем. – Надо.

– Нет, не могу. – Она продолжала держать голову Николая на коленях. – Лучше ты.

Пришлось Ефрему выйти к зрителям.

Он пригладил свой короткий седой чубчик. Поднял руку, успокаивая зал.

– Простите. Дело в том, что Николаю Седову стало плохо. Простите ещё раз. И спасибо вам, что пришли. Спасибо.

Он неловко поклонился и ушёл со сцены. В зале стало тихо. Зрители не расходились, словно ждали чего-то.

Скорая приехала довольно быстро. Люба, так и не успев разгримироваться, в костюме Моцарта пыталась сесть в машину «скорой». Ей это запретили. Валя уговорила ехать на своей машине за «скорой». За руль сел Ефрем.

На этот раз Николая привезли в кардиоцентр. Быстро и ловко положили на каталку и отвезли по длинному коридору туда, в недра больницы, где шла непрерывная борьба за жизни людей.

Любу и Ефрема с Валею оставили сидеть в коридоре на белой скамейке. И стены здесь белые, и потолок. Всё белое, стерильное.

Оглядевшись, Люба осознала, что сидит в костюме Моцарта, и это для больницы диковато. Сняла парик, вытерла слёзы пополам с чёрной тушью, бороздками застывшие на щеках.

– Можете поехать переодеться, – посоветовала дежурная сестра. – Сейчас его осмотрят, решат, что можно сделать. У вас есть время.

– Да? А потом?

– Потом видно будет. Может, сразу и оперируют.

Люба растерянно смотрела на сестру.

– Поедем, Люба. Быстро вернёмся, – предложила Валя.

Она согласилась – силы оставили её.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЛЮБОВЬ

Всё, что происходило и в эту ночь, и на следующий день, Люба воспринимала как в полусне. И слова окружающих, что надо успокоиться, что ещё ничего не ясно, что всё обойдётся, и прочая, и прочая – всё пролетало мимо её ушей, не успокаивало и не раздражало – было, скорее, пустым звуком, который пролетал мимо её сознания.

Она чувствовала сердцем: Николай может умереть.

На этот раз врач попался известный в Москве – солидный, кряжистый мужчина лет так за шестьдесят. Он говорил с Любой так, как говорят с плохо чего понимающими школьниками, которым надо уяснить сложную теорему или условия задачи, а они всё равно ничего не понимают. Смотрел на Любу строго, даже грозно, часто повторял: «Понимаете?» – и делал

паузу. Ещё он так же строго говорил, что надо подождать, далеко не всё потеряно, хотя болезнь запущена, сосуды тонкие, изношенные.

Люба слушала молча, слёзы высохли, просила лишь об одном: разрешить ей находиться рядом с мужем. Но этого врач не разрешил – сказал, что она может находиться с Николаем после операции и реанимации, уже в палате.

Люба уехала из больницы, чтобы переодеться, а затем снова сидела в белом коридоре на белой скамейке. Несколько раз с ней пытались заговорить сёстры и незнакомые люди, видимо, родственники больных, но она или односложно отвечала, или просто кивала, находясь в том же состоянии протрации.

Приезжала и Настя, давняя её подруга. Ей удалось вытащить Любу из больницы в соседнее кафе, заставить поесть. Люба несколько оживилась, смогла немного прийти в себя.

– Нельзя так, Любка. Не ты первая, не ты последняя. Посмотри вокруг – сколько горя, а люди держатся! И ты держись!

Настя тщательно следила за собой, занималась фитнесом, плавала, одевалась модно и со вкусом. По поводу новейших парфюмерных и костюмных новостей, а также препаратов для омоложения она регулярно информировала Любу, чтобы подруга «не отставала от времени», как она выражалась.

Настя была хорошей певицей, служила в известном театре и к Любе относилась как к близкому человеку. Она понимала, что переживает Люба, и искренне старалась вывести её из этого состояния.

Ей удалось сделать это лишь на короткое время – уговорить поехать домой, принять снотворное, поспать. Силы будут нужны, надо же уладить дела в театре, да и за Колей следить – после операции ему ведь предстоит долго восстанавливаться.

Но стоило Любе проснуться, как она, наскоро приведя себя в порядок, снова ехала в больницу.

Ей сказали, что оперировать Седова будут не сейчас, скажут, когда, ей же объяснили, что ситуация сложная, требуется консилиум. Опять она сидела на белой скамейке. Мимо пробегали торопливые сёстры, проходили какие-то незнакомцы, проезжала несколько раз каталка с больными, которых, как Николая, увозили в недра больницы, а она всё сидела, сидела, не зная, что ей делать.

И вдруг внезапная мысль словно током ударила в сознание. «Как же я раньше не подумала? – Она резко встала и быстро пошла к выходу. – Как могла забыть? Господи, прости меня, прегрешную!» Она села в свою машину и приехала в храм, который уже считала своим.

В храме никого нет – пустынно, тихо. Будничный день, службы нет. Она осмотрелась, и в церковной лавке никого нет – не поставишь даже свечу. Прошла вперёд, к клиросу, перед которым находился образ Богородицы. Опустилась на колени.

«Матерь Божия! Помоги и спаси его! Да, знаю, я недостойная, плохая, испорченная этой жизнью. Но я его полюбила. Этого со мной никогда не было. Никогда! Всё было другое. Да ты и сама знаешь, что со мной происходит! Я не смогу жить без него, Матерь Божия!»

И вдруг слёзы прямо-таки хлынули из её глаз, она зарыдала, согнувшись пополам, доставая головой до пола. Тело её сотрясалось, плечи вздрагивали, дыхание прерывалось, и всхлипы громкие, отчаянные, вырывались из горла.

Кто-то рядом опустился на колени. Тронул её за плечо.

– Ну что ты, что ты! Нельзя так убиваться.

Она повернула голову к незнакомцу. Сквозь слёзы разглядела пожилого священника. Вроде, знакомого.

Она уронила ему голову на грудь.

– Батюшка! Батюшка!

– Ну что ты, что ты... – Он слегка приобнял её. – Успокойся, Любушка.

– Да как успокоиться? Они же мне врут, я вижу! Какой консилиум, если этот врач у них самый лучший. Просто его оперировать нельзя – умрёт!

Она снова зарыдала.

– Ну да, правда. А как иначе тебе сказать? Ты тоже их пойми. У них сотни людей – и всех надо спасать.

Он достал платок, вытер слёзы с лица Любы. Она подняла голову и посмотрела на него. Лицо доброе, глаза смотрят ласково, но взгляд всё равно твёрдый. Седая бородка и усы, седые волосы. Ну конечно, видела его Люба в храме, видела. Только вот как звать... Да и на службах он не всегда был. Но он-то её знает, раз по имени назвал.

– Я не знаю, батюшка, как мне быть. Жить не хочется больше! – Опять слёзы полились из глаз. – Понимаю, что грех, но лучше бы не жить!

– Вот это ты правильно сказала – грех. А раз грех – надо его победить. Иначе какие же мы православные? Нет, нам так поступать нельзя.

– А как можно?

– А вот как ты и поступаешь. Верить, что он спасётся? Ведь веришь?

Она перестала плакать, прямо посмотрела на священника.

– Верю.

– Ну, вот видишь. А что плачешь, так это хорошо. Слёзы горе очищают. Укрепляют даже. Только убиваться не надо.

– А что делать?

– Продолжать так же горячо молиться, как ты молилась.

– И всё?

– И всё. Ведь ты же любишь. И не только его. Но и Господа, и Богородицу. – Он показал на икону. – А по молитвам к Ним всё сбывается, если они тебя услышат.

– Но как это сделать? Я же грешница, а не святая.

Она опять заплакала.

– Ну полно, полно. Давай-ка встанем. Сейчас поезжай домой, поспи. А утром сама поймёшь, что тебе делать. Только машину веди аккуратно, не торопись. Ты тут на земле нужна людям. И Богу.

Он проводил её до дверей, благословил, глядя, как она идёт из храма к своей машине. Кружились редкие снежинки, падали на его седую голову, на мягкую бородку. Лишь когда машина отъехала, священник вошёл в храм.

Проснувшись, Люба обнаружила, что чувствует себя гораздо лучше, чем вчера. Захотелось не только выпить кофе, но и чего-нибудь съесть. Так она и поступила. Привела себя в порядок, вышла из дома.

Снег блестел на солнышке. Уже чувствовалось приближение весны. Небо голубело, проглядывая между крыш высоток и старых семиэтажек. Пахло свежестью – дул ветерок, заглядывая и в московские дворы, ставшие такими маленькими, почти сплошь заставленными автомобилями самых разных марок.

Она нашла свой «мерседес», поехала к кардиоцентру. Надо бы позвонить в театр, сказать, что она сегодня постарается прийти. Вчера поговорила по телефону с главным, он сказал, что в курсе – пусть она не беспокоится, он всё понимает. Как почувствует себя лучше, тогда пусть и приходит.

Она знала, что это значит на самом деле: сразу включают в работу, театр не может жить без спектаклей, выходные бывают по понедельникам, и то не всегда.

Ладно, она решит, как ей быть. Главное произойдёт сейчас – почему-то она была в этом твёрдо уверена. И приготовилась к тому, что ей скажет вот эта женщина в больничной белой шапочке, в белом халате, с усталым полным лицом.

Женщина сказала, мягко улыbnувшись:

– Здравствуйте, Любовь Николаевна. Операция прошла успешно. Она длилась почти шесть часов. Виктор Викторович велел вам передать, что вы сможете повидать мужа завтра утром. Сейчас он в реанимации.

Люба как будто знала, что так ей и скажет эта немолодая женщина, которая позавчера или вчера пыталась её успокоить.

– Как вас зовут? – неожиданно спросила Люба.

– Вера Степановна, – ответила, чуть удивившись, старшая сестра. – Мне, конечно, приятно, но вам-то всё же зачем?

– Как зачем? Я же буду молиться не только за Виктора Викторовича, но и за вас. И за тех, кто помогал Виктору Викторовичу. Обязательно узнаю их имена.

– Выходит, вы верующая?

– Да. А вы разве – нет? Разве можно в таком Центре работать и быть неверующей?

Дежурная снова улыbnулась Любе.

– Пожалуй, вы правы, Любовь Николаевна.

Люба ответно улыbnулась.

– Спасибо, дорогая Вера Степановна. Большое спасибо.

Она вышла из больницы, уже зная, куда поедет. Встретил её отец Сергей. Литургия закончилась, прихожане подходили к кресту. Встала в очередь и Люба.

Поцеловав крест, она спросила:

– А кто у вас такой пожилой батюшка? Как его звать?

– Какой батюшка?

– Вчера я с ним разговаривала. Седой, борода седая.

– Да? А в какое время вы были у нас?

– Часов около пяти. В храме, кроме него, никого не было.

Отец Сергей задумался.

– Может, это был не священник, а сторож?

Люба смутилась:

– Да нет же, священник. Крест на груди. Впрочем... нет, кресты, кажется, на лентах... Или я ошибаюсь?..

Прихожане, стоявшие, чтобы приложиться после службы к кресту, с любопытством прислушивались к разговору священника с артисткой.

– Вот что, Любовь Николаевна, пройдите ко мне, там и поговорим.

Она послушалась, а он продолжил давать крест для поцелуя прихожанам и отвечать на их вопросы, если они были. Потом прошёл в притвор храма, где находился его кабинетик, усадил Любу и, внимательно выслушав её, спросил, что с Николаем. Люба ответила, а затем снова поинтересовалась, с каким священником она вчера говорила.

– Да нет у нас такого священника, – строго сказал отец Сергей. – Отца Вадима вы знаете. Дякона – тоже. Все не подходят под ваше описание. Может, вы сторожа Николая Демьяновича за священника приняли? В храме в это время точно никого не было. А что такое? Важный был разговор?

– Да. А где мне найти этого Николая Демьяновича?

– Выходить из храма будете, загляните в сторожку. Когда можно будет Николая повидать?

– Я вам позвоню.

Люба получила благословение и вышла из храма. В сторожке у врат храма она увидела человека лет сорока, чернобородого, черноволосого, крепкого сложения.

– Николай Демьянович?

– Да, – несколько удивлённо ответил он.

– Я вчера была в храме часов около пяти. Беседовала с одним священником. Такой седой, уже старый. Вы не скажете, кто это был?

Николай Демьянович, или просто Демьяныч, как звали его прихожане, удивлённо смотрел на посетительницу. Вспомнил: это же актёрка, у них в храме венчалась. Как же её зовут? А, Любовь... Любовь...

– Да нет у нас такого священника. И вчера в храме никого не было.

– А вы хорошо помните?

– Ещё бы! Вот и вас вспомнил. Вас Любой звать.

– А вы помните, как я вчера приехала к вам?

– Конечно. У вас чёрный «мерседес», как его не заметить.

Они с удивлением рассматривали друг друга.

– Да что такое? – спросил наконец сторож. – Что?

– Не знаю... Но вчера... вчера... около пяти часов он со мной разговаривал. Старенький такой священник...

– А как он был одет? В облачении?

– Ну да...

Демьяныч помолчал.

– Расскажите всё отцу Сергию. Он объяснит.

Люба приехала домой, продолжая размышлять о случившемся с ней и вчера, и сегодня.

Поела впервые как следует за эти два дня и три ночи, позвонила в театр. Сказала, чтобы ей дали хотя бы несколько дней отгулов. Потом прошла в гостиную, прилегла на диван. Рассматривала картины, фотографии под стёклами. Взгляд её упал на икону с ликом пророка Исайи.

Неожиданная острая мысль пришла ей в голову. Она резко встала и прошла в кабинет Николая, остановилась перед его рабочим столом. Пристально, словно первый раз увидев его икону, она буквально впилась глазами в лик святого.

Минуту неотрывно смотрела на лик Святителя.

А потом рухнула на колени.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Николай медленно, но поправлялся. Уход за ним Люба организовала отличный. Он все предписания и врача, и Любы, которая внедрилась в науку о сердце и с помощью интернета, и по советам Виктора Викторовича, выполнял беспрекословно.

На Пасху они с Любой уже пошли в храм. Но на ночную Литургию не остались, приехали домой. Разговелись. Люба даже разрешила Николаю выпить рюмку коньяка семилетней выдержки, под названием «Старейшина».

Спектакль решили играть с сентября – Виктор Викторович сказал, что, если разумно расходовать свои силы и эмоции, играть можно.

И жить, разумеется, тоже. Пообещал даже лично вместе с женой прийти на спектакль.

Так оно и произошло.

А на Рождественские праздники у них родился сын. Люба хотела назвать его Виктором, в честь Виктора Викторовича. К тому же Виктор – в переводе с греческого – победитель. Но когда Николай предложил назвать первенца в честь святителя Николая, Люба сразу согласилась.

И я на крестинах был, мёд-пиво пил, по усам текло, но, слава Богу, и в рот попало.



Елена
КОМАРОВА

ТВОРЕНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ТВОРЦУ...

Горчит незнакомая чаша.
Ступени у лестниц круты.
В бессилье неведение наше
За нами сжигает мосты.

Сложна арифметика эта.
Дороги длинны и темны.
И всё же дожить до рассвета
Упорно стараемся мы.

Тона колорита земного
Смелей самой смелой мечты.
Природа нежна и сурова,
Но хватит на всех красоты.

Пройдёт и уляжется буря,
Утихнут сомненье и страх.
Латинское слово «культура»
Взрастает на этих полях.

И я пошла, и дождь пошёл за мной,
Как добрый пёс, домашний и ручной.

Он летним был в любое время года
И вовсе не зависел от погоды.

Он радостно понравиться старался,
То близко подходил, то отдалялся.

Дождь кончился, а я всё продолжалась,
Надеялась и даже улыбалась.

-
- Елена Евгеньевна Комарова родилась и живёт в Саратове. Окончила филологический факультет СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Работала журналистом. Публиковалась в межвузовских научных сборниках, в литературно-художественном журнале «Волга–XXI век».

Я просто женщина, любившая мужчину.
Я эту фразу прочитала в модной книжке.
Но у него, как видно, не было причины
Мной увлекаться чересчур и слишком.

Но у него, наверно, были основания
От объяснений уходить куда-то
И оставлять без пониманья и вниманья
Всю цепь событий, пройденных когда-то.

И он, должно быть, сам себе не верил,
Когда волос и губ моих касался,
И странно в эту ночь скрипели двери,
И больше он уже не возвращался.

Помчался дальше поезд жизни длинный,
Гружённый встречами, иллюзиями, болью.
А я лишь женщина, любившая мужчину
Счастливой безответною любовью.

Прежде чем осень станет зимой,
Возле меня на крылечке постой.

Может, в снежинку я превращусь
Или с оленьей упряжкой умчусь.

Может, на ёлке стану звездой,
Сном растворюсь в высоте голубой.

Лебедем стану в замёрзших прудах,
Словом «нигде», междометием «ах!»

Будешь искать меня, не находя,
Как не находят зимою дождя.

Прежде чем осень станет зимой,
Не оставляй меня, мартовский мой.

Сказал могильщик: «Люди умирают.
Земля гостей без перерыва принимает.

Край кладбища, увидишь, через год
В центр маленькой вселенной перейдёт».

Не надо верить горю и концу.
Творенье возвращается к Творцу.

Ты состоишь из жизни и из смерти,
Одна другую за руку ведёт.

Ты думаешь: жизнь состоит из жизни,
А смерть – из смерти. Разве это так?

Мы с ним гуляли между сном и явью,
На переходе между двух миров.

И я ему сказала: «Ты же умер».
А он мне отвечает: «Ну и что?»

Я притворилась спящей на века.
Пускай созвездья мимо проплывают,
Пускай течёт забвения река
И гороскопы ничего не обещают.

И нет, я не воскресну – я очнусь,
Не перейдя межмирием,
Когда уляжется земная грусть
И пройденное закружится снами.

И сеткой дней я стану мир ловить,
Просеивать сквозь сито ожиданий,
И буду заново учиться жить
Без тягот и бессмысленных страданий.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



**Эльвира
БИРЮКОВА**

ОЧЕРКИ ИЗ КНИГИ «О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ И ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

ПАРТИЗАНЫ

Жительница города Саратова, Таисия Фёдоровна Глотова, вспоминает о жизни родителей в годы войны, своём послевоенном детстве.

Многие молодые люди Левокумского района Ставропольского края не подлежали мобилизации, их готовили вести подрывную работу в тылу врага. Среди будущих партизан оказался и её родной отец, Ледовской Фёдор Михайлович, водитель директора совхоза «Турксад» Жижина В.И. – одного из руководителей партизанского движения района.

Враг застал Фёдора с директором на поле спелой пшеницы, где они не ожидали подобной встречи, лишь на близком расстоянии заметили фашистские мотоциклы. Отец мгновенно завёл автомашину, но загорелся мотор, пожар перекинулся на поле пшеницы, чёрным дымом заволокло всё вокруг, и это им помогло избежать немецкого плена. А потом предстояло прожить восемь месяцев оккупации и партизанской борьбы. Штаб-квартира отряда находилась в густых зарослях камыша на берегу реки Кума, у села Величаевского. А в это время в село вошли грузовики с фашистами. Солдаты разместились по избам, начались повальные обыски, отбирали всё, обчищали каждую хату.

Партизаны начали действовать. Из штаба они уходили небольшими группами в три-четыре человека: одни в разведку, другие – ставить мины на большаке. Особая группа ещё с тёмной ночи поджидала проходящий воинский эшелон. На обочине каждого километра железнодорожного полотна находились немецкие часовые, которые опасливо посматривали по сторонам. В десяти шагах от них, в болотце, скрытая высокой осокой лежала наблюдательница – девушка, вооружённая карабином и двумя гранатами.

-
- Эльвира Павловна Бирюкова родилась в 1941 году в селе Бык Романовского района Саратовской области в учительской семье. Ветеран педагогического труда. Публиковалась в электронных СМИ. Живёт в Саратове.

ми; чуть подалее, за вывороченным корневищем, сидел мальчик. Когда один из часовых прошёл мимо него, проворный паренёк одним прыжком перескочил через полотно, держа перед собой автомат, в это же время другой подросток так же бесшумно кинулся из кустов и быстрыми движениями заложил под рельс взрывчатку.

Показался паровоз, часовые сошли с полотна и знаками показали машинисту, что путь свободен. Но неожиданно для них перед составом раздался резкий взрыв, кусок рельса отскочил в сторону; локомотив врезался в шпалы, с треском начали гроздиться вагоны, они опрокидывались под откос. Так успешно завершилась одна из запланированных операций.

Жители окрестных сёл и станиц под страхом смерти встречали партизан, снабжали их продуктами, чистой одеждой и бельём. Среди них была и мама Таисии Фёдоровны, которая носила её под сердцем и родила в 1943 году и жила с ней и старшим сыном Петей на оккупированной территории. Партизаны постоянно напоминали о себе врагу, за что на них была организована охота. Жертвой стали семь комсомольцев, которых на глазах жителей села Величаевского повесили фашисты, громогласно заявив о том, что подобная смерть угрожает не только партизанам, но и их пособникам. В 1965 году комсомольцам-партизанам в селе установили памятник.

После восьми месяцев оккупации и партизанского подполья Левокумский район был освобождён от врага. Отступали фашисты со ставропольской земли, оставив после себя сожжённые сёла и станицы, обгорелые танки, исковерканные немецкие пушки; став пленниками, они покорно поднимали руки. Отец Таисии, Фёдор Михайлович Ледовской, в составе войск Красной Армии дошёл до Берлина, прожил долгую жизнь, ушёл в мир иной в возрасте девяноста двух лет.

Победу закончилась война, но наступил засушливый голодный послевоенный год, тогда от голода жители спасались травами. Дети тоже питались цветущими растениями. Маленькая Таисия с братом Петей отправилась к зарослям цветущей акации, чтобы насладиться цветочным нектаром, но их опередили муравьи, которые в большом количестве были на каждой кисти. Брат предупредил сестрёнку, чтобы она тщательно отряхивала каждую кисточку, но слишком сильно было чувство голода, малышка не услышала наставлений брата, напилась сладкого сока вместе с муравьями. К вечеру произошла интоксикация, тело раздуло как надувную куклу, к счастью, девочку удалось спасти.

Маленьким ребёнком Таисия выжила в военное время, пережила послевоенные голод и разруху, о чём до сих пор, спустя десятилетия, не может спокойно вспоминать.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ АРИСТАРХА

Аристарх Николаевич Клещёв – житель города Энгельса Саратовской области, в 1940 году принимал участие в войне с Финляндией, воевал за возвращение российских земель, которые по Брестскому договору 1918 года передали Финляндии.

В армию его призвали в 1940 году. Воевать пришлось в лесных заболоченных районах недалеко от Ленинграда. В памяти его и родных остался последний бой. Накануне сражения батальон Аристарха, на лыжах, в белых маскировочных костюмах, прибыл на запланированный плацдарм.

Залегли на снегу, выполняя главный приказ командира: до времени не обнаруживать себя. Но их обнаружили. Утром, до начала сражения, для устрашения наших солдат враги продемонстрировали казнь пленного однополчанина. Совсем близко, за горной рекой, парня привязали к дереву, облили горючим и подожгли. Все хорошо слышали стоны и предсмертные крики товарища, до них доносился запах заживо сжигаемого человеческого тела. Воины с трудом сдерживали себя, но ждали приказа. Когда началась рукопашная схватка, она была очень страшной, все бились до своего смертного часа за себя и сожжённого друга. Ценой своих жизней ни на один шаг не пропустили врага. Весь батальон остался лежать на поле боя.

Один Аристарх остался живым после битвы. Двое суток раненый воин лежал без движения, поэтому возможности выжить у него оставалось совсем мало. Обмороженного солдата обнаружили санитары, переправили в госпиталь. Медики долго боролись за его жизнь. Им удалось спасти обмороженные ноги, но не обошлось без ампутации пальцев на ногах.

Жена Анна все дни боёв по ночам молилась за жизнь мужа. Она просила Пресвятую Богородицу сохранить ей – мужа, а сыну – отца. Рядом с мамой молился и малолетний Виктор. Видимо, их молитвы помогли Аристарху избежать верной смерти.

После длительного лечения, став инвалидом, воин вернулся домой. Со своей семьёй дожил до 72 лет. Орден за последний бой получал не он, а вдова, награде радовались дети и внуки.

После окончания Великой Отечественной войны, на радость Аристарху и Анне, у них родилась дочь. Прошли годы, Лариса выросла, получила образование, создала свою семью, трудится в церковной лавке храма. Это скромная, добрая и отзывчивая женщина, которая своей доброжелательностью и знаниями делится с прихожанами.

На всю жизнь Лариса Аристарховна сохранила в памяти подвиг отца. Давно нет в живых Аристарха Николаевича, ушли в мир иной почти все ветераны страшной, кровопролитной войны, не осталось следов от военных пожаров, а воспоминания о ветеранах войны – отцах, дедах и прадедах – увековечены в памяти близких, в повестях, рассказах и фильмах.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ ДЯДЯ ВАНЯ

Минуло много десятков лет со дня начала страшной войны, выпавшей на долю нашего народа. Один из её участников – Иван Степанович Грабенко – пропал без вести. Для нас, родственников, остался без вести пропавшим героем. Он погиб в штрафном батальоне, защищая Сталинград со стороны Калмыцких степей – об этом мы узнали совсем недавно. К сожалению, слишком мало сохранилось сведений о его жизненном пути.

Сентябрь 1942 года. Эшелон везёт воинов для помощи Сталинграду мимо маленькой, родной Ивану станции Романовка и останавливается. Солдаты высыпают на перрон. Здесь он встречает земляков, от которых узнаёт радостную весть: у него только что родился сын. Его жена в родильном доме, что в двухстах метрах от железнодорожных путей, ему достаточно перескочить рельсы. И он перескочил злополучные рельсы, увидел сына, обнял, поцеловал его и жену – и быстрее назад! Но эшелон ушёл без него. Видимо, следующий состав повёз его в штрафной роте в том же направлении. Он погиб в степях Калмыкии безвестным героем, с юга защищая подступы к горящему Сталинграду. Вечная тебе память, Иван Степанович Грабенко!

*Сквозь шквал и огонь ураганный
Шла в битву народная рать...
Их много, солдат безымянных,
Осталось в могилах лежать.*

Н. К. Морозов

У Ивана Степановича осталось двое сыновей, Виктор и Анатолий. Старшему, Виктору, давно перевалило за восемьдесят лет. Он – житель того же рабочего посёлка Романовка Саратовской области; киевлянину Анатолию скоро исполнится восемьдесят. У каждого выросли дети, есть внуки, достойные своих отцов, деда и прадеда. С его сыновьями – двоюродными братьями – мы долгое время поддерживали тёплые отношения. С Виктором Ивановичем мы общаемся, рада видеть его в гостях, но чаще говорим по телефону. Он кандидат геологических наук, десятки лет жил и работал в Туркмении, участвовал в разработке и освоении крупнейших месторождений газа СССР. До 1991 года занимал высокие посты в министерстве нефти и газа Туркмении. После распада СССР, волей сложившихся обстоятельств, вернулся на малую родину – посёлок Романовку, стал её почётным гражданином. Прославляет родную землю: издал книги и брошюры о своём крае. Несколько лет трудился над первым томом энциклопедии о Романовском районе. Этому изданию могут позавидовать не только жители маленького районного центра, но и большого города. Продолжает работать над вторым томом энциклопедии. Издал книгу о знаменитом Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком, или Святом Луке, который в начале 20 века более одного года возглавлял Романовскую больницу, работал в ней хирургом. В этой же больнице в разные годы родились братья, Виктор и Анатолий, их отец, Иван Степанович, и мы с родными сёстрами. В районной библиотеке при участии Виктора Ивановича создан маленький музей Святого Луки.

Младший брат, Анатолий Иванович, живёт со своей семьёй в Киеве. Всего лишь раз в жизни видел он отца – Ивана Степановича, погибшего в Калмыцких степях. Связь с братом вынужденно прервалась из-за последних событий в Донецкой и Луганской областях Украины.



**Дарья
ТАТАРЧУК**

ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР СЧАСТЬЯ

ХУДОЖНИК

Он рисовал простым карандашом
Людей в набитом утреннем вагоне,
И в каждом искру света он нашёл –
В несущих грусть всегда есть что-то кроме.

Потом портреты молча подарил –
И люди улыбнулись! Вот безумство!
В час пик в метро прекрасней сделал мир
Простой художник, верящий в искусство.

ОДИНОЧЕСТВО

Тихо сижу в одиночестве,
Слушая шёпот часов.
Близок рассвет, но не хочется
Падать в объятия снов.

Пью тёплый кофе без сахара,
Так он как будто вкусней.
Днём я боролась со страхами –
Ночью спокойней, светлей.

Здесь диалоги беззвучные
Можно вести с тишиной.
Нет собеседника лучшего,
Жаль, слишком редко со мной.

-
- Дарья Юрьевна Татарчук родилась в 1993 году в Горловке (Украина). С 1997 года жила в Саратове, в 2019 году переехала в Москву. В Саратове является членом ПК «Диалог», студии «Голоса поколений» и резидентом СРОО «Творческая молодёжь». В Москве участвует в работе ПОЭТКЛУБА Александра Сорокина, литературной лаборатории «Точки-2», а также клуба творческих людей «Открытие». В 2019 году стала лауреатом 1-й степени в номинации «Поэт» возрастной группы «Молодёжь» XVII Международного православного фестиваля «Одигитрия» в Беларуси, лауреатом в номинации «Поэт» Международного фестиваля духовной авторской песни «Ковчег-17», а также обладателем Гран-при IV Саратовского областного конкурса молодых поэтов «Россия, Русь! Храни себя, храни...». Автор сборника стихов «Давай угоним лифт».

Счастье так скоро закончится,
Рухнет спасительный мрак.
Где ты, моё одиночество,
С шёпотом сладким «тик-так»?..

Мы привозим в столицу частичку своих городов
И несём их гербы гравировками вечными в сердце.
Мы дыхание ловим родных и далёких ветров,
С малой родины весточки в зиму позволят согреться.

Проживи хоть неделю, хоть целую тысячу лет
В той прекрасной столице, люби её искренне, всё же
Дремлет где-нибудь город, дороже которого нет,
И, не вспомнив о нём, мы заснуть каждый вечер не можем.

И куда ни вела бы дорога судьбы за собой,
И какие высоты на ней мы бы ни покорили,
Путь, который, пускай на денёк, но приводит домой,
Самый ценный из всех, что даётся нам Господом в мире.

Спросил меня компьютер: «Вы не робот?
Нет – докажите! Мне так важно знать...
Найдёте ли автобус вы на фото?
Нашли? Не верю! Я спрошу опять!
И вновь нашли... Вас больше не тревожу,
Спрошу других, надежду затая,
Что встретится когда-нибудь, быть может,
Мне робот – одинокий, как и я...»

Тёплый запах скошенной травы
Наполняет комнату с рассветом.
В зиму не забрать его, увь,
Но зачем печалиться об этом?

Сладость сотни птичьих голосов
Льётся ручейком до листопада.
Встретит осень тишиной лесов,
Но о том печалиться не надо.

И влюблённость опьяняет вдруг,
Обнимая вольным ветром счастья,
Дарит после горький вкус разлук,
И об этом, друг мой, не печалься!

По весне отступят холода,
Песни птиц разбудят на рассвете,
Счастье возвращается всегда,
Не печалься – жди мгновенья эти!



Е. РУСЛАНОВ

КРУГИ ЗЕМНЫЕ

СОНЕТ ОКТЯБРЯ

Сад в глубокую осень вступил,
листья с яблонь уже облетели...
Понимаю, на самом-то деле
я сильнее ещё сад полюбил.

И, видать, всё почти отпустил,
но остался пока что при деле.
Впереди и дожди, и метели
со своей мерой сроков и сил.

У ручья раскраснелась рябина:
высота, красота – как картина,
в каждой кисти – сезонный заряд.

А над садом безбрежное небо
и безмерная вечность, и мне бы
записаться в долинный наряд.

*Памяти бабушки
Екатерины Тимофеевны Колесниковой*

Где бабушка жила, была икона
Казанской Божьей Матери. Она
имела силу высшего закона,
лампада пред иконой зажжена.

И бабушка ещё всегда читала
таинственную книгу по утрам
и день потом спокойно начинала,
передавала свет и слово нам.

-
- Александр Иванович Ванюков (Е. Русланов) – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Участник многих международных научных конференций. Автор более 200 работ по истории и поэтике русской литературы XX века. Автор нескольких поэтических книг.

Вечером в городе пахнет весной,
небо высокое – свод надо мной.

Людным проспектом в потоке плыву,
музыка юности – вновь наяву.

Мимо любимого дома пройду,
вечер февральский, и жизнь на виду.

В майском небе стая голубей
наслаждается своим полётом.
Выше, глубже – небо голубей,
солнечнее – нравится пилотам.

Выпущу-ка в небо стаю слов,
пусть летают над мирской долиной,
радуются: ветром не снесло
свод высокий. Лёт до ночи длинный.

В КОНЦЕ ИЮНЯ

Ручей течёт, журчит, не уставая.
Ведёт к ручью дорога мостовая.

На ближнем подступе, в пространстве сада
звучит мелодия земного лада.

В наливе яблоки большого лета,
и зреют вишни вишенного цвета.

Ручей течёт, шумит не умолкая,
и вьётся в небе голубина стая.

В ДОЛИНЕ ЗОЛОТОЙ

В. Губрий

Художница в пленэре
в долине Золотой,
в прекрасной летней эре,
где воздух слит с душой.

Настроилась природа
на колоритный лад:
июльская погода,
цветного неба плат.

И всё легко сложилось
в законченный сюжет:
вода с землёй сдружилась,
и зелень, и рассвет.

И вся картина в красках
дышала и жила,
как бы в старинных сказках –
таинственно-светла.

Радиола вечером играет,
музыкальные часы идут.
Дед на даче юность вспоминает,
а воспоминанье – это труд.

И в семье играла радиола.
Вечер вспоминается в горах,
в танцевальных ритмах встала школа,
музыка звучала во дворах.

И ещё поэзия звучала,
слово душу повлекло в полон:
«выхожу один я..» – у начала,
«весь я не умру...» – глубокий стон.

А теперь дорога как пустыня,
в тёмном небе не видать звезды,
и душа в холодном мире стынет,
и на сердце от судьбы следы.

От камня могильного листья сметаю
и надпись на камне печально читаю:

«Как лебедь роняет перо, умирая,
поэт», но «я знаю, у жизни нет края».

Слова, как метафоры, смыслы имеют
земные – и вместе небесностью веют.

Все строки на камне легко протираю.
Бегут облака по озёрному краю.

Редакция журнала «Волга–XXI век» поздравляет
Александра Ивановича Ванюкова
с юбилеем!



**Наталья
ТЯПУГИНА**

ПЛАНЕТА КРЫМ

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Крым остался в памяти как яркий, цветной витраж: все впечатления — осколочные, внезапные, будто случайные — как-то легко и естественно сложились у меня в одну картину, в одно общее впечатление.

Крым бесшабашен и жизнелюбив. Он жаркий и чувственный, но при этом мудрый и убедительный. Урок, который, даже не ведая того, выносишь из встречи с Крымом, подобен сказке, рассказанной в детстве любимой бабушкой. И сказка эта неназойлива и понятна, волшебна и умна.

На этой древней, истоптанной земле, по которой так любила ездить на колеснице сама История, ты отчётливо понимаешь: без многого можно легко обойтись, для счастья у тебя всё уже есть. Есть глаза, чтобы любоваться потрясающей картиной мира, где степь перетекает в горы, а горы сбегают в море, и нет ни конца ни края форм и оттенкам жизни. Есть руки-ноги, чтобы лично убедиться в реальности происходящего. Наконец, есть разум, чтобы понять: рай существует, вот он, на Земле, только приглядишься! Если это не рай, то что же?

Создатель сотворил шедевр и, любуясь плодами гения Своего, великодушно благословил на творчество всех остальных. Он показал суть искусства: обойтись можно без чего угодно, без многих материальных вещей, без придуманных условностей, но только не без творчества, вдыхающего жизнь во всё сущее и дарующего смысл всему, чего коснётся вдохновение настоящего Художника.

Без фантазии поэтов и живописцев, без воображения музыкантов и архитекторов, без выдумок всех этих неисправимых чудаков жизнь на Земле, даже такой прекрас-

-
- Наталья Юрьевна Тяпугина (Наталья Леванина) — автор около двухсот художественных, научных и литературно-критических работ. Публиковалась в журналах «Москва», «Наш современник», «Октябрь», «Волга», «Дон», «Волга—XXI век», «Крещатик», «Литература в школе», «Женский мир» (США); альманахах «Саратов литературный», «Краснодар литературный», «Мирвори» (Израиль), «Эдита» (Германия), «Другой берег» и др. Лауреат литературного конкурса им. М.Н. Алексева, Международного конкурса литературоведческих, культурологических и киноведческих работ, посвященного А.П. Чехову.

ной Земле, как Крым, была бы скучна, тяжела, неинтересна и... глупа! В ней не осталось бы дерзости открытий, готовности поставить всё на карту... Были бы только непрерывный расчёт и удручающая пошлость, от которых впору забыть крымским волком и броситься в море с торчащего над ним Чёртова пальца.

Крым поддерживает, убеждает, вдохновляет: люди, сочиняйте, фантазируйте, восхищайтесь! Не бойтесь показаться странными, не такими, как все. По большому счёту, это и есть высшая похвала. Только тогда вы будете соприродны самой жизни, поймёте, почувствуете, что жизнь не проросшая в подвале картошка, слабая, горькая и ядовитая, — она подобна шкварчающему и брызжущему соком чебуреку. Это вкусная и весёлая загадка, которую на набережной в Орджо выколдовывает своими длинными ловкими пальцами красивый восточный мальчик — то ли фокусник, то ли потрясающего мастерства повар.

Что этот ловкий юноша в тот огромный, невероятно тонкий, но почему-то никогда не рвущийся чебурек положил — знает только он. Если хочешь и можешь — доверься ему, и тогда у тебя останется лишь один соблазн: проглотить всё сразу, не жуя! Появляется шанс насладиться горячим, ароматным вкусом этого настоящего южного искушения.

Если опасаясь — не надо обижать недоверием это солнцеподобное изделие и его мастера. Просто уйди. Тогда, может, от чего-нибудь ты и убережёшься, но — чёрт побери! — ты так и не узнаешь, каково это — надкусить хрустящую румяную корочку и захлебнуться ароматным соком горячего нутра, с каждым укусом пробираясь всё дальше и дальше — к аппетитной мясной сердцевине, исходящей жаром и душистыми приправами.

Выбор за вами.

РЕШЕНИЕ СОЗРЕЛО

А начиналось всё буднично. Заканчивался август. Гости наши разъехались, кормить и развлекать стало некого, и мы с дедом заскучали. Я с отращиванием отправилась к компьютеру, Слава с остервенением принялся бороться с единственным оставшимся на его четырёх сотках сорняком — невинной зеленухой, рискнувшей выбиться на белый свет в укромных уголках отработавшего своё огорода.

После нескольких месяцев пресной оседлости и однообразной суеты захотелось перемен, как хочется беременной не то белого мела, не то чёрной грязи. Мы понимали, что такой удобной жизни, как на нашей даче, нам не предложит ни один санаторий-профилакторий, но охота к перемене мест оказалась сильнее здравого смысла.

Решение, как выяснилось, зрело в нас параллельно. И созрело. У Славы.

Аккурат 30 августа он, задумчиво доедая свою утреннюю кашку, вдруг предложил:

— А что если нам с тобой, мать, катнуть в Крым? Завтра.

Я, как обычно, не очень доверяя его словам и заманчивым предложениям, была покладиста:

— Давай.

— А что? — принялся развивать свою гениальную мысль Слава. — Все нормальные с моря уже разъехались. Завтра 1 сентября. Остались одни пенсио-

неры. Машин на дороге будет мало. Проскочим и нарисуемся, такие умные, в бархатный сезон на опустевших крымских пляжах.

– Ага... – снова подтвердила я, по-прежнему скептически относясь к дедовым прожектам.

– А успеешь собраться? – как лукавый Ильич, прищурился муж.

– Да только подпоясаться! – буркнула я, гремя тарелками.

Слава, однако, был настроен решительно. Как всегда, в такие исторические моменты он, скорее, говорил с собой, чем с кем-то другим:

– А что? Машина у меня в полном порядке. Не подведёт «опелёк».

С утра запроважу его – и двинем. Да, мать?

Вы уже, наверное, разобрались, но на всякий случай уточню: вопреки законам природы, я для своего спутника жизни, как ни печально, мать, но и он для меня – дед. А фактически мы – утратившие внятную родственную идентификацию муж и жена, сросшиеся за много лет как сиамские близнецы Зита и Гита.

– Двинем, что ж не двинуть... – бормотнула я, взглянув внимательно на разволновавшегося деда и потихоньку осознавая серьёзность его намерений.

– Сейчас уточню маршрут, – озаботился Слава и пропал в смартфоне.

Я тоже полезла в свой – за советом к бывалым путешественникам. Открыла чаты и раскрыла рот. Сразу заподозрила: здесь что-то не так. Чувствовалась какая-то засада. Очевидцы, будто стовариваясь, оставляли какие-то крайне противоречивые советы по маршруту, указывая разный километраж, рассказывая о своих бесконечных блужданиях по кубанским станицам и прощая новичков относительно платных участков предстоящей дороги.

Одним словом, решили мы, человеческий фактор в очередной раз дал слабину. Вся надежда на продвинутую технику. Насчёт навигатора нам настойчиво говорил и сынище Антон, который исколесил полстраны, пользуясь этим исключительно ценным приспособлением.

Хорошо. Не проблема. У нас их целых два. В разных смартфонах. Не пропадём. Указатели на дорогах тоже никто не отменял. Да и язык, как известно, доведёт куда надо. Решено: два дня в пути – и мы у цели. Без всяких там кубанских станиц.

За оставшееся время я, на радостях, наготовила столько, что мы вдвоём теперь вполне могли обойтись без сомнительных закусовых не только по дороге, но и в самом Крыму. Когда (и если) мы туда доберёмся, конечно.

Слава тоже не дремал. Он утрамбовал в багажник запасное колесо, комплект инструментов, коробку с машинным маслом, баллоны с водой. А также матрац на поролоне, несколько подушек, пледов, комплект постельного белья, мой чемодан и свою сумку с вещами на случай, если климат в Крыму после нашего приезда вдруг резко поменяется на противоположный.

– Не многовато? – засомневалась я. – «Опелёк» твой не надорвётся? А это ещё зачем? – ткнула я в укомплектованную опочивальню. – Ночевать будем в отелях. Народ пишет, их там много. Не проблема.

Дед был уже по-дорожному сосредоточен. Он лишь буркнул:

– Не помешает.

ЕДЕМ...

Выехали мы на следующее утро, часиков эдак в пять. Всё равно не спим. Загрузили провиант из холодильника, зарядили огромные термосы горячим

кофе и тронулись. Впереди нас ждали почти полторы тысячи южных, абсолютно нам не известных километров и почти неведомый Крым.

Навигаторы наши прямо на старте разошлись во мнениях: моя заботливая Алиса предлагала ехать по общероссийской трассе на Волгоград. У деда в аппарате сидел какой-то мужик без имени. Он советовал чуть ли не просёлочными путями пробираться через Балашов. Дед выбрал Алису и её маршрут, отключив мужика, чтоб не путал.

Рассветало. Дорога была хорошая. Настроение тоже. Но чем резвее мы продвигались к югу, тем чаще нам стали попадаться ловушки под названием круговое движение. Сценарий такой: метров за 100 до вертушки Алиса ласково предупреждает: внимание, впереди круговое движение.

Далее мы въезжаем на круг, от которого в разные стороны лепестками разлетаются дороги, разумеется, без указателей.

Алиса велит нам выбрать, к примеру, второй (третий или четвёртый) спуск.

Дед бодряком рапортует заботливой милашке:

– Понял, сделаем! – И выбирает нужный (как ему кажется) спуск.

Далее пару-тройку минут мы едем в тишине. Потом Алиса, будто очнувшись, объявляет:

– Вы сошли с маршрута. Маршрут перестроен.

– Как? Почему? А чего ж молчишь, чёртова кукла! – кипятится водитель. – Мы ведь уже бог знает куда отъехали! Что значит перестроен? И как я теперь развернусь?

На очередном круге нас поджидало идиотское дежавю, и Алиса через паузу, будто удивляясь нашей bestолковости, сдержанно объявляла: «Вы сошли с маршрута. Маршрут перестроен».

Это была засада.

– Это не Алиса, а форменная гадина! – кипятится дед. – Отключай её на фи! Где мой мужик? Врубай его. Включила? Давай, родимый! Выводи!

Дальше навигаторный мужик начинает руководить нашим движением, авторитетно направляя прямо в противоположную от Алискиных советов сторону. Мы успокаиваемся. До следующей вертушки.

Стало ясно: в Крым мы не попадём.

Заметив стоящего на обочине одинокого парнишку, я решила уточнить.

– Эй, паренёк! Это что за город?

– Ну, допустим, Ростов, – вяло откликнулся он.

Я не отступала:

– А как из него выехать?

– Да вы уже...

Надо же! Оказывается, меня маршруты, мы резво миновали кусок Волгоградской области, промахнули по касательной Донскую столицу и того гляди врежемся то ли в Азовское, то ли в само Чёрное море.

Дед не ожидал такого результата и похвалил навигатор:

– Толково мужик ведёт!

– Давай его за это как-нибудь назовём! – предложила я. – Пусть Гришей, что ли, будет! – предложила я, памятуя о местном лихом казаке Григории Мелехове.

– Никаких Гришек! – отрезал дед. – До победы доведёт только Виктор. Только Виктор!

– Дурдом по нам рыдает! Отдыхать надо. Жмись давай к обочине, вон гостиница, я сейчас номер попробую на ночь снять. Помыться надо и ноги вытянуть. Нам ещё завтра целый день с твоим Виктором пилить.

Повезло! Я вгорячах ухватила последний свободный номер в придорожной гостинице, и мы осуществили все свои грандиозные планы – перекусить, помыться и вытянуться.

...С утра пораньше мы уже катили по московской трассе, провожая взглядами встречный бурный поток задержавшихся на юге отдыхающих. Однако и наше направление пустым назвать было нельзя.

Через некоторое время я забеспокоилась.

– А не кажется ли тебе, дружок, что мы, извиняюсь, в обратную сторону едем?

– Но Витёк-то молчит!

– Зато я говорю. Мы тут только что ехали. В обратную сторону. Я помню этот базарчик у обочины. Скоро к своей гостинице прибудем.

Дед, видимо, и сам уже потихоньку сомневался в нарисованном маршруте.

– Вот проклятьё! – зарычал он. – Тут нет поворота!

Проехав ещё сколько-то километров, мы наконец развернулись и сделали дубль два: снова поехали знакомым путём до коварной вертушки, будь она неладна!

– Давай Алиску заряжай! – распорядился дед. – Мужик, кажется, сдох. Накосячил и молчит.

Отдохнувшая Алиса предложила нам на вертушке совсем другой поворот, который открыл нам почти пустую дорогу, без гаишников и светофоров. Дорогу по кубанским сёлам, которая вилась челночным образом – «туда-обратно» – через все хутора, посёлки и выселки, с заездом на поля, бахчи и огороды. Через пару часов, укачавшись в бесчисленных дорожных петлях, я решила на предложение:

– Слав, а давай спросим вон у тех мужиков, как проехать на Крымский мост? Указателей я что-то не вижу.

Дед согласился, притормозил и вступил в переговоры с мужичками, толпившимися около сельского магазина.

– А вона видите ту фуру? – охотно откликнулся один из них, показав на хвост мелькнувшей за поворотом огромной машины. – Ехайте за ней. Она на мост идёт. В ней мой сродственник гарбузЫ везёт в Крым. Дорогу знает.

Муж газанул, стараясь не упустить из виду шустрюю фуру. Некоторое время мы ехали за ней, глотая пыль и выхлопные газы. Потом на обочине неожиданно нарисовался указатель на Крымский мост, и бес нас опять попутал – мы отстали от фуры и свернули по указателю. И снова погрязли в лабиринте нескончаемых кубанских хуторов.

Но всё на свете когда-то кончается. Вот и мы в конце концов выехали на трассу, которая привела нас к искомому мосту, с которым мы уже в этой жизни и не чаяли встретиться.

А ТЕПЕРЬ БУКВАЛЬНО ЛЕТИМ...

– Ух, ты! – воскликнули мы хором, как-то неожиданно въехав на Крымский мост. – Какой красавец! Да огромный какой! Просто не верится, что рукотворный. Настоящее чудо!

Дед первым пришёл в себя:

– Пока едем, давай, мать, гугли и выдавай по горячим следам, что там про мост пишут?

– Сейчас. Вот: *«Крымский мост – самый длинный в России и Европе, его протяжённость – 19 км. Начинается он на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег».*

– За 10 минут проскочим, – сообразил дед, увидев табличку с разрешённой скоростью в 120 км/час. – Что ещё?

– Да тут одни рекорды! Смотри: *«Крымский мост стоит на 595 опорах; длина его арок – 227 метров, высота – 45 метров, вес – 5 тысяч тонн; сооружение без выходных строила команда из 13 тысяч человек...»*

– Можем, когда хотим! Не разучились ещё, видно! – проникся дед гордостью за инженеров и строителей. – А покрытие – просто отличное, как на воздушной подушке летим! Ни трещинки! Красотища!

Растроганные до слёз, мы и не заметили, как мост закончился, а трасса немислимого качества и не думала кончаться! Мы какое-то время с восторгом катили по ней, а потом неожиданно для самих себя свернули влево и помчались в сторону Феодосии.

Тут нас поджидала ещё одна чудесная история.

Как уже было сказано, мы так стремительно стартовали, что не успели озаботиться ни маршрутом нашего путешествия, ни конечной его точкой. Решили, что остановимся там, где понравится. Между тем второй день наших странствий подходил к концу, а мы и понятия не имели, где преклоним свои усталые головы.

Я решила пойти привычным для себя путём: пока под Феодосией Слава управлял машину бензином, огляделась по сторонам и, заметив на скамеечке перед автомойкой задумчивую интеллигентную женщину, направилась напрямик к ней. Надеюсь, что шокирую её не слишком, я весело и непринуждённо обратилась к ней с вопросом: а не подскажет ли она, где нам тут с мужем лучше всего остановиться?

Женщина почему-то и не думала удивляться (значит, я правильно её выбрала!) и предложила следовать за их машиной, которую сейчас домывает её муж. Сказала, что приведут нас в нужное место. Вот так просто. Значит, не только я правильно её вычислила, но и она считала с меня всю необходимую информацию и, похоже, знает лучше нашего, что нам нужно.

Как ниточка за иголочкой следовали мы за их беленькой «тойотой» ещё километров десять по степным горам и пригоркам, усматривая слева по борту неизменно бирюзовую ленточку моря. Наконец наши проводники притормозили, вышли из машины и показали на вильнувшую влево дорогу.

– Вам туда. Это посёлок Орджоникидзе. Орджо. Отличное море, чистый песочный пляж, хорошая кухня, спокойная обстановка, недостатка в жилье нет. Отдыхайте на здоровье. А нам туда! – показали они на взгорье, по которому хаотично лепились небольшие домики, утопающие в зелени. Мы там заранее сняли номер. Много лет здесь отдыхаем. До свиданья!

И укатили куда-то вверх. Мы даже не познакомились.

ОРДЖО

Посёлок мы аккуратно миновали минут за десять, разогнаться тут было трудно: две разбитые горки, два раздолбанных пригорка – вот и весь Орджо. Он оказался маленьким и стареньким, но приличным и в отдельных местах даже с новомодными покушениями на курортный шик. Посёлок, по первому впечатлению, смахивал на древнюю барышню, которая, несмотря на прилич-

ный возраст, изо всех сил старалась произвести приятное впечатление. И ей это удавалось.

...А пока мы аккуратненько пробираемся по плохо сохранившейся дороге вдоль облупившихся домов, попутно читая плакатики, которые держат в руках пожилые в основном женщины, предлагающие на съём своё жильё.

– Какой-то вдовый рынок... – пробормотала я.

Посёлок Орджоникидзе, оказавшийся в недалёком прошлом закрытой военной территорией, вызвал во мне, выросшей в военных городках, острый приступ ностальгии и неконтролируемой симпатии. Я сразу почувствовала себя как дома. И захотела здесь остаться.

Позже мы разузнали о богатой и непростой истории этого секретного посёлка у моря. Давным-давно на этом месте располагались уединённый армянский монастырь и небольшая крепость для отражения вражеских нашествий. Называлась она Кайгадор, по названию гор, которые теперь то ли в шутку, то ли всерьёз у знатоков местных топонимов именуются Кудыкиными горами. При этом теми же знатоками на полном серьёзе сообщается, что и сам посёлок Орджоникидзе надо бы переименовать... не поверите! – в Зурбаган, с лёгкой руки Александра Грина, жившего когда-то неподалёку.

Получается, что прибыли мы фактически в легендарный Зурбаган, аккуррат на фольклорную Кудыкину гору!

Наши провожатые всё сказали правильно: мы легко нашли себе нужное жильё. Море в Орджо действительно оказалось чистым и тёплым, а всё, что вокруг: горы, степь, курганы и сама земля – древним и волнующим. Здесь чувствовалось время, возбуждающее фантазию и интуицию, ощущался не только текст, но и бездонный подтекст многовековой культуры. Всё как я люблю.

Прямо над нашим новым жилищем возвышается двуглавая гора Васюковка, по которой и днём и ночью по бесчисленным тропам бродят беспокойные туристы. В темноте при свете фонариков это выглядит как вальс светлячков – завораживающий, мистический.

Бухта Провато, омывающая Орджо, заманивает в своё ласковое голубое доно из любой точки нашего двора и в любое время. Из нашей деревянной беседки видны не только море и горы, но и кусочек городского пляжа с его скромными увеселениями.

К вопросу о пляжах. Их тут несколько. Главный – городской, с набережной и нехитрыми соблазнами цивилизации. А если протиснуться в левую расщелину Васюковки и скатиться по ней к морю, не боясь сломать себе шею, появляется шанс оказаться на диком Сердоликовом пляже. Ещё его называют Агатовым. Судя по всему, он просто усыпан камнями, и не иначе как драгоценными. Есть что поискать на берегу. Заразиться каменной болезнью, которой хворают здесь многие искатели морских сокровищ.

Есть и ещё один дикий пляж – с правой стороны бухты. Это узкий пустынный кусочек берега, попасть на который можно, только преодолев подъём на гору и спуск с неё. Не все могут или хотят это делать, потому народу здесь немного. Его присмотрели для себя нудисты. Так что вот.

Чуть дальше темнеет древняя гора, сильно смахивающая на спустившегося к воде динозавра. Неужели тот самый легендарный, навсегда потухший вулкан Карадаг? «Там где-то должна быть калитка на тот свет! – проявила я свою осведомлённость. – Но торопиться не будем. Вначале сориентируемся на местности...»

Итак, сразу полюбившийся нам Орджо располагается на обрывистом мысе Киик-Атлама, который вдаётся в море почти на четыре километра.

Степной Крым в этом месте незаметно перетекает в горный, соединяя преимущества того и другого.

Кайгадор, Провато, Провальное, Двужорный, Бубновка – это всё он, наш обрётённый Орджо, посёлок Оржоникидзе. Реально существующий Зурбаган!

КИММЕРИЯ

Звучит как песня! То ли реальная, то ли выдуманная земля. Во втором случае её ценность для меня только увеличивается. Несомненно одно: тут что ни камень – то история, прямо под ногами – фундамент исчезнувших культур и цивилизаций, истлевшие могильники древних племён и народов.

Восточный Крым хорошо сохранился, если сравнивать его неподражаемый ландшафт с рисунками Константина Богаевского, повестями Александра Грина, акварелями и стихами главного певца этого уголка Земли – Максимилиана Волошина:

*Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели красны, буфы
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
В огне кустарники, и воды как металл.*

*А груды валунов и глыбы голых скал
В размытых впадинах загадочны и хмуры,
В крылатых сумерках – намёки и фигуры...
Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал,*

*Вот холм сомнительный, подобный вздутым рёбрам.
Чей согнутый хребет порос, как шерстью, чобром?
Кто этих мест жилец: чудовище? титан?*

*Здесь душно в тесноте... А там – простор, свобода,
Там дышит тяжело усталый Океан
И веет запахом гниющих трав и йода.*

Киммерия оказалась не просто реальным местом, она предстала строгим и умным собеседником. И требовала соответствия. Буквально всё, на что падал взгляд, нуждалось в пристальном внимании, знаниях, интересе и желании разобраться. Крым лежал передо мной как непрочитанная книга.

История с географией тут чисто крымская: наука, в меру отпущенных ей возможностей, отыскала и описала обнаруженные следы многих цивилизаций, сохранённых этой землёй. Понятное дело, ничего точного при таком положении вещей учёные утверждать не могут. А гипотезы не всем по плечу. Да и слишком много действительно не известно, много разрушительных веков пролетело. Вот и переливается научная вода в клецидре времени туда-сюда без заметных результатов.

Художники пошли своим путём. Они, вдохновившись увиденным, создали на полотнах и страницах свой гармоничный мир удобных бухт, потухших вулканов, заповедных степей и горных лесов. Открыли красоту неожиданно возникающих за поворотом дороги скалистых ущелий, обросших могучими грабами и дубами. Очаровались невероятной силой крымских степей, по весне так буйно алеющих маками, что кажется, будто само Светило,

обнаружив у этого места невероятный избыток жизненной энергии, занялось оздоровительным кровопусканием.

Гомер, впрочем, в «Одиссее» по-своему описал страну, лежащую к северу от его Греции:

*Там находится город народа мужей киммерийских,
Вечно покрытый туманом и тучами: яркое солнце
Там никогда не блеснёт ни лучами своими, ни светом...*

Тогда, выходит, Киммерия – это древняя, но реальность? Тогда почему словари и справочники осторожничают и называют Киммерию вымыслом, художественным образом, возникшим в воображении художников и поэтов?

И сегодня не утихают споры о том, что же такое «историческая Киммерия» и где конкретно находилась эта легендарная страна, увековеченная Гомером?

Достоверность бывает разной... В Крыму чувствуешь, как, постепенно очищаясь от шелухи реального, прошлое встаёт в один ряд с легендами и сказками, где историческая достоверность – порой лишняя, даже мешающая подробность.

Здесь на каждом шагу встречаешься с мифами, которые настоятельно претендуют на признание их полной достоверности. Это не Зазеркалье. Это Крым, Киммерия. Земля элинов и генуэзцев, скифов и тавров, печенегов и татар, турок и славян. Фантастическое место правдивейших мифов и легенд.

ОКРЕСТНОСТИ

На следующий день, окунувшись в море, которое и утром было тёплым и ласковым, как материнское лоно, мы отправились на машине путешествовать: останавливаться где захочется, бродить сколько влезет, неторопливо дегастировать новую для нас реальность.

Выехав утром за территорию посёлка, мы решили сориентироваться на местности. Теоретически получалось всё просто: налево поедешь – скоро попадешь в Коктебель, к Волошину. Направо – так же скоро – в Феодосию, к Айвазовскому. По десять километров в обе стороны.

Вначале Волошин. Планета Коктебель – наш ближайший сосед в культурной Галактике Крыма. Здесь своя атмосфера: горно-лесной воздух, смешиваясь со степными и морскими воздушными потоками, образует волшебный коктейль такого качества, что вдруг начинаешь осознавать, что дышишь! Причём не просто вдыхаешь кислород, а выдыхаешь черт-те что! – а именно дышишь – легко, с удовольствием, можно сказать – возвышенно.

И вот такие, освежённые и возвышенные, едем мы с мужем в сторону Коктебеля, жадно поглядывая по сторонам. Яркое степное солнце уже высоко поднялось, плавая в ароматах дикого чабреца и полыни. Нас окружает красота в её чистом виде: причудливый узор прибрежных скал и колючие складки выгоревших за лето холмов; сурово чернеющий Карадаг и мелькнувшая за поворотом Хамелеон-гора. Волшебная рептилия разлеглась на развилке, соединяющей пути из Орджо в Коктебель и вдоль моря, и по горам. Видимо, чтобы все и отовсюду могли подивиться её невероятным цветовым фокусам.

Разгадка вроде бы проста. Здесь, на песчаном пляже Тихой бухты, укрытой со всех сторон возвышенностями, во многих местах обнаруживаются

выходы на поверхность голубой глины. А глинистые сланцы, составляющие мыс, по-разному отражают солнечные лучи. И как результат – созданный воображением гигантский хамелеон, прямо на твоих глазах меняющий свой цвет!

А пока кружим со Славой по плато, поднимаемся по некрутому серпантину и любуемся бескрайним морем, разрезанным на неравные части горными хребтами.

Один из них – хребет Биюк-Янышар, похожий на ещё одно экзотическое существо – двугорбого верблюда. А другие тут, видимо, и не водятся!

Про название этого хребта, в переводе означающее «Большой Янышар», надо сказать несколько слов. В нём сохранились следы кровавой истории этих мест. В Средние века ближайшая *Феодосия* принадлежала генуэзцам, то есть гражданам города-государства Генуя, и называлась она *Кафа*. В те времена Кафа сказочно богатела. На её рынках можно было встретить товары со всего мира. Из северных стран купцы привозили пшеницу и шерсть, меха и вина, мёд и воск. Из Индии – коренья, драгоценные камни, экзотические ткани и опиум, шафран и сандаловое дерево. Из Китая – фарфор, с Цейлона – корицу и жемчуг. Мускус доставлялся с Тибета, а слоновая кость – из Эфиопии. Мирру и ладан поставляла Аравия.

Но лишь один товар приносил наибольшую выгоду – невольники. Торговля живыми людьми приняла в Кафе фантастические размеры и принесла ей зловещую славу. Тысячи мужчин, женщин и детей, захваченных по всему миру, пригонялись в Кафу. Вот как рассказывается об этом в одной старинной книге: «Случается так, что целые толпы несчастных рабов гонят из рынка прямо на корабли, ибо город лежит у весьма удобной приморской гавани и, вследствие своего положения, может быть назван не городом, а скорее – ненасытной и мерзкой пучиной, поглощающей нашу кровь».

Такой лакомый кусок не мог ускользнуть от внимания турецкого султана, и он направил на взятие города свой флот с войсками. Десант турецких войск высадился в Тихой бухте, находящейся у подножия хребта, как самой удобной и защищённой. Часть войска, как обычно, составляли янычары, они были самой жестокой его частью. Отсюда и произошло название горного хребта, оставив воспоминания о небывалой жестокости турецких войск. Случились эти события в 1475 году. В одной из русских летописей того времени появилась скорбная запись: «...того же лета туркове взяша Кафу и гостей московских много побиа, а иных поимаша, а иных пограбив на откуп даваша...»

Но Кафа, то есть Феодосия, у нас ещё впереди. А пока мы кружим на машине по горной степи между Орджо и Коктебелем и, похоже, теряем голову от исторической воронки, в которую нечаянно угодили.

Отъехав совсем немного от нашего посёлка, на одном из поворотов мы увидели группу людей, что-то оживлённо обсуждающих. В руках у них были какие-то аппараты с крыльями. Видимо, планеристы. Мы в этом плохо разбираемся, но решили притормозить и посмотреть, что происходит. Люди говорили на своём языке. Чаще других упоминалась какая-то Клементиха.

Оказывается, мы нечаянно заехали на знаменитую «крылатую» гору Клементьева – «Клементиху», как её теперь запросто называют. Тут в начале прошлого века случилась потрясающая история с участием Макса Волошина и его друга – лётчика и художника Константина Арцеулова, внука самого Ивана Айвазовского.

...А началось всё со шляпы. На плато, по которому друзья прогуливались, оживлённо беседа, случился маленький конфуз: у Волошина с голо-

вы порывом ветра была сорвана шляпа. Что же в том необычного? – спросите вы. А дело в том, что шляпа эта не просто слетела, она вдруг неожиданно поднялась на большую высоту и принялась лавировать среди воздушных волн, как изошрённый летательный аппарат. Довольно долго, к изумлению друзей, она выписывала воздушные кренделя и вензеля, пока не улетела так далеко, что найти её уже не представлялось возможным.

Как и всякая легенда, эта история имеет несколько вариантов объяснения. Говорят, например, что Волошин, ещё раньше открывший на этом плато чудесные воздушные завихрения, неслучайно привёл сюда друга-авиатора и нарочно запулил свою шляпу, чтобы наглядно продемонстрировать специалисту особенности местной аэродинамики.

Внук Айвазовского, понятное дело, настаивает на своём приоритете в этом открытии. Но как бы то ни было, шляпа была точно – волошинская, именно она и слетела с его головы, угодив... прямым в историю!

Замечу, что сорванная ветром шляпа для нытика стала бы ещё одним поводом побрюзжать и посокрушаться, а у Волошина она возбудила детское любопытство: а почему, собственно, она слетела? Почему у меня? Отчего улетела так далеко и парит так высоко? Что это может означать? Надо порыться в книжках, у друга поспрашивать.

Одно открытие, если не останавливаться, всегда повлечёт за собой другие. Будут возникать всё новые и новые вопросы: а что такое воздушные потоки, почему они вихрятся именно здесь, есть ли они где-нибудь ещё? И при уме, усердии и удаче человеку могут открыться вещи совсем не пустяшные и даже глобальные.

Итак, по порядку. Определимся на местности.

На северо-запад от посёлка Коктебель тянется гора Узун-Сырт (в переводе – «Длинная спина». Очень похоже, кстати!), спадающая сутулыми склонами в долину Бара-Коль, названную так, видимо, из-за близости к пересыхающему озеру вулканического происхождения. Перевод этого названия с тюркского требует фантазии. Дело в том, что «бары» в переводе означает собака, а «коль» – пересыхающее озеро. Видимо, в летний сезон озеро так сильно пересыхает, что любая собака не затруднится его перейти. Мой вариант.

Но вернёмся к горе, носящей имя погибшего здесь когда-то лётчика-планериста Петра Клементьева. Как установили специалисты, южные и северные ветры встречаются именно на этом плато. Тут они сливаются друг с другом и создают плотные слои воздуха, сходящие на гору по её почти перпендикулярным склонам. Встретив на своём пути преграду, потоки обтекают её и частично превращаются в восходящие массы воздуха, способные поднимать и удерживать летательные аппараты на протяжении длительного времени. Природа будто специально создала здесь условия для запуска и полёта летательных аппаратов. Такой максимально удобный и безопасный воздушный полигон. Ну как – безопасный... Клементьев-то погиб...

Энергия восходящих потоков воздуха даёт возможность летать на планере без топлива и без единой лошадиной силы, перемещаясь по небу на огромные расстояния (до тысячи километров!), а если повезёт, поймать воздушную волну, то можно при этом подняться на невероятную высоту – на восемь, десять и даже четырнадцать тысяч метров!

Ух ты! Прямым в стратосферу!

Вот и разгадка: почему именно здесь возник отечественный планеризм, по какой причине стали здесь собираться энтузиасты парящего полёта, отчего в этом месте возмужали выдающиеся деятели авиационной науки и техни-

ки, герои-лётчики и создатели космических кораблей. Здесь они раз и навсегда полюбили небо.

Каждое имя – легенда. Это коктебельцы (как их тут называют): С. В. Ильюшин, А. С. Яковлев, О. К. Антонов и (внимание!) главный конструктор советской ракетно-космической техники С. П. Королёв!

До этого я и не знала, что планеризм был первой любовью Сергея Павловича Королёва. Это потом я вычитала, что в 1929 году на VI Всесоюзных планерных состязаниях в Крыму он, оказывается, выступил с планером своей конструкции СК-2 «Коктебель», имевшим размах крыльев 17 метров. Пилотируемый Королёвым, он продержался в воздухе 4 часа 19 минут. А в 1930 году Королёв привёз в Коктебель планер СК-3 «Красная звезда», которым управлял пилот от Бога, как его все называли, В. А. Степанчонок, впервые в истории воздухоплавания совершивший на нём три мёртвые петли.

А первым был Пётр Николаевич Нестеров, основоположник высшего пилотажа – умница, смельчак, поэт. Такие долго не живут. Вот и Пётр Николаевич всего двадцати семи лет от роду героически погиб в воздушном бою во время Первой мировой войны, впервые в практике боевой авиации применив таран.

Как хорошо, как правильно, что рядом с нашим домом в Энгельсе проходит улица, носящая имя П. Н. Нестерова. Как жаль, что многие жители, пребывая в суете, так и не поняли, какой чести удостоен их город.

Но вернёмся на «Клементиху». Здесь позже С. П. Королёв успешно запустил планер с реактивным двигателем. По сути, это был первый в мире реактивный самолёт. Так в России возник планеризм, так сложилась отечественная школа авиации, самолёто- и ракетостроения. С этого утоптанного крымского плато прямоиком шла дорога в космос.

...А началось всё с Максовой шляпы, которая оказалась первым планерным аппаратом. А потом и «героиней» крайне необычного памятника – Улетевшей Шляпе Волошина, – установленного здесь же, на горе Клементьева. А где же ещё?

КАЛЛИЕРА

Коктебель – наш ближайший сосед, пафосно говоря, ПЛАНЕТА ВОЛОШИНА, а попросту – уютный курортный посёлок, расположенный у подножия древнего потухшего вулкана Карадаг в юго-восточной части Крымского полуострова. В переводе с тюркского «Коктебель» означает «край голубых вершин». Действительно, окружающие Коктебельскую долину холмы часто покрыты лёгкой синеватой дымкой, что придаёт этой местности особую загадочность и романтический колорит. Он подпитывает то ли миф, то ли реальную историю (в Крыму всегда так!) о существовавшем здесь когда-то в античности городе Каллиере – этом потерянном в веках городе мастеровых и ремесленников, торговцев и учёных, целителей и философов. Когда-то в нём кипела жизнь, к молу подплывали торговые и прогулочные суда. В Каллиере были библиотеки и залы для философских бесед, храмы и обзорные площадки. Роскошные сады украшали город. Люди Каллиеры были горды и независимы, красивы и сильны. Но против лома, как известно... устоять невозможно, как невозможно победить слепую ярость обезумевших варваров.

Легенда рассказывает, что город задумали захватить и разграбить варвары. И будто бы ночью перед нашествием этих диких разбойников венеци-

анская гавань Каллиера ушла под воду, оставив на берегу лишь несколько развалин. Когда рассвело, изумлённые варвары долго не могли понять, куда исчез великолепный город, который они вознамерились ограбить? И убраться в другое место – рушить побережье Тавриды и убивать её жителей.

А ушедшая под воду Каллиера осталась жить вечно – в нашей памяти, в красивых мифах и легендах. Можно сказать, что непобеждённая, гордая Каллиера до сих пор существует в каком-то другом измерении, как Атлантида, как град Китеж, как город-мечта и вечное вдохновение для художников и учёных.

Вот почему так влекла Каллиера Волошина, вот почему так неутомимо бродил он по окрестностям Коктебеля, неустанно изучая старинные книги и карты. И чем больше он вникал, чем пристальнее вглядывался в побережье, тем сильнее проникался убеждением, что именно здесь действительно были и город, и порт. Был тот самый легендарный город. Волошин не только первым указал на место раскопок, но и первым их предпринял. В меру своих возможностей, конечно. Художественное чутьё Волошина, его любовь к этой древней земле, его заинтересованное внимание к камням и почве, к найденным здесь черепкам и ракушкам подсказали ему, где надо искать исчезнувший город.

Поэт не столько увидел, сколько почувствовал остатки мола, порой неясно мелькающего под волнами. Постепенно у Волошина возникла гипотеза о том, что Крымскую Атлантиду надо искать не на земле, а под водой.

Там позднее и нашли её учёные! То были подводные археологи со специальным снаряжением. И съёмки они вели даже с воздуха! Поэт же в своём гениальном прозрении – без всякой техники! – в очередной раз оказался прав. Смотрите, как точно он всё описал:

*По картам здесь и город был, и порт.
Остатки мола видны под волнами.
Соседний холм насыщен черепками
Амфор и пифосов. Но город стёрт,*

*Как мел с доски, разливом диких орд.
И мысль, читая смывое веками,
Подсказывает ночь, тревогу, пламя
И рдяный блик в зрачках раскосых морд.*

*Зубец, над городищем вознесённый,
Народ зовёт «Иссыпанной короной»,
Как знак того, что сроки истекли,*

*Что судьб твоих до дна испита мера,
Отроковица эллинской земли
В венецианских бусах – Каллиера!*

Живописное изображение Каллиеры было сделано Максимилианом Волошиным акварелью, оно широко растиражировано и сейчас хранится в Феодосийском музее. Известно, что картины свои художник писал по памяти. Изображение мифологической Каллиеры отличается особой точностью. В нём узнаётся находящийся по береговой линии – от дома поэта к Карадагу – ближайший холм, который поэт и считал сторожевым крепостным холмом Кал-

лиеры. Холм этот действительно был неистощим на дары – на редкие камни, черепки амфор и фрагменты пифосов.

К вопросу о пифосах. Тоже интересный момент. Пифосом в Древней Греции называли большой керамический сосуд (мог быть размером с человека и более) для хранения продуктов – зерна, вина, оливкового масла, солёной рыбы. Кстати, пифосом были и злополучный ящик Пандоры (просто неточно перевели – пифос назвали ящиком), и бочка Диогена (которая, понятное дело, бочкой не была, их просто не умели делать в Древней Греции). В соответствии с легендой, именно в пифосе жил философ Диоген, провозглашавший идеалы аскетизма и довольствовавшийся лишь самым необходимым: плащом, сумой и посохом. Известно, что у могущественного Александра Македонского при личной встрече Диоген попросил лишь одно: чтобы тот отодвинулся и не загромождал ему солнце. Вот это свобода!

Кого-то он мне напоминает... Ну конечно, рисующего Поэта, или Поэтического Художника, странствующего по своим киммерийским окрестностям в грубом хитоне, босиком, с надёжным посохом в руке. Он и дом свой слепил, как Диогенов пифос, ценя разумный минимализм во всём.

Теперь Коктебель – это полноценный памятник Волошину. Не было бы его с киммерийскими фантазиями, с его невообразимым гостеприимством (в сезон в его доме находили приют от 300 до 400 человек! Совершенно бесплатно, разумеется!), с его неусыпной жаждой открытий и впечатлений, с его заразительным жизнелюбием и умением лепить свою жизнь из подручных средств, из того, что рядом, порой – что просто валяется под ногами: крымских камней, сухоцветов, волн тёплого моря, обжигающих солнечных лучей, – и не было бы на карте Крыма этой удивительной планеты – Коктебель. Не было бы сегодняшнего городка – особого места встречи тех, кому тесно в привычных координатах, где отсутствует движение «в глубину».

Коктебель жив паломничеством к поэту, художнику, его знаменитым друзьям, но и – не меньше! – это паломничество в места, так щедро, так талантливо Волошиным «прочитанные», так точно и любовно им прочувствованные. Именно он, широкий, необычный, добрый, приоткрыл людям дверь в места реальные и мифологические, обыденные и легендарные одновременно. Он первым отважно устремился в ту открытую дверь, за которой живёт глубокая история, существование которой чуть не каждый раз подтверждают реальные находки – только наклонись, посмотри внимательно, потрудись подумать, не бойся фантазировать и сочинять! Это не просто камешки и черепки, не просто название поселений и гор – это подсказки, питающие (и часто – подтверждающие) самые невероятные гипотезы и догадки.

За Волошиным, как за отважным и мудрым поводырем, уже много десятилетий тянутся сюда люди, доверяясь его фантазии, его человеческому обаянию и редкому составу души. При этом для многих Коктебель сегодня – это паломничество к самому себе, путешествие к сердцевине своей личности.

Получилось то, о чём Большой Макс, как звали его друзья, может, и не думал беспрестанно, но чего, бесспорно, добился: бессмертия, доброй памяти и вечного интереса к себе и месту, к которому прикипел душой – Киммерии, теперь неразрывно с ним связанной.

Кажется, и сегодня

*...бродит он в пыли земных дорог –
Отступник жрец, себя забывший бог,
Следя в вещах знакомые узоры...*

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЬФИНА

Как-то после обеда, нежась на тёплом пляжном песочке, мы были разбужены возгласами:

– Вон он, вон, смотрите! Что выде-э-львает! К берегу плывёт! Да ничего-о себе! – вопили дети, указывая в открытое море.

Взрослые, медленно пробуждаясь от послеобеденной одури, начинали вглядываться в то место, куда указывали ребята. Разлепив глаза и наведя резкость на гладкое морское полотно, я тоже вдруг увидела... Боже, кто же это? Какой-то морской великан, метра три в длину, гладкий и блестящий, резвился в воде, явно наслаждаясь зрительским вниманием.

Дельфин! Да большущий какой! Что творит! Будто на гастроли прибыл! Кажется, ручной, потому что подплыл уж совсем близко к людям. Штопором ввинчивается вверх и, к восторгу детишек, шлёпается в воду, пуская немалую волну. Поворачивается то одним боком, то другим, потом заныривает и появляется из воды всё ближе и ближе к берегу. Его мощное тело просвечивает из-под воды. Элегантно изгибаясь каждым сантиметром своего сильного, гибкого тела, этот артист плывёт завораживающими движениями киношного Ихтиандра.

– Из коктейбельского дельфинария удрал!

– Точно, дрессированный! – раздаются предположения одно диковинней другого.

– Да дельфины вообще людей не боятся!

– А большой-то какой!

– Есть и побольше!

Народ оживился, ухал и ахал от восторга, даже принялся аплодировать дельфиньим фортелям. Взбудрил дельфин квёлую пляжную публику до чрезвычайности!

Представление продолжалось ещё минут десять, после чего дельфин, как пресытившийся успехом артист, повторил на бис свою коронку – высокий прыжок над водой – свечкой, на высоту, кажется, метров до пяти; потом неожиданно резкий отлёт в сторону метров на десять, а затем нырок-штопор на глубину – и наш циркач пропал из поля зрения.

Некоторое время люди на пляже молчали. А потом принялись делиться впечатлениями. Каких только историй про дельфинов мы не наслушались! У каждого было что рассказать! Определённо, между людьми и дельфинами существует какая-то особая связь.

Один мужчина средних лет, который до этой истории казался одиноким молчуном, вдруг разговорился. Оказывается, готовясь к поездке на Чёрное море, он даже мощный морской бинокль купил – так мечтал увидеть и рассмотреть дельфинов. Правда, сейчас, как нарочно, бинокля у него при себе не было, и он, видимо, мало что увидел своими подслеповатыми глазами. Вот всегда так! Как бы компенсируя досадный промах, он принялся рассказывать окружившим его детишкам всё, что знал про черноморских дельфинов. Особой любовью у него пользовался дельфин афалина, исчезающий черноморский гигант, из Красной книги...

– Так это афалина была? – заинтересовались окружающие.

– Думаю, нет. Скорее, взрослая белобочка.

– Потому что толстый, как белая бочка? – сообразил ребёнок лет шести.

– Нет! – расхохотался знаток. – Белобочка – это дельфин с белым боком.

– Точно! Белый бок у него был! Я видел! – вскричал другой мальчишка, которого тоже сильно впечатлило увиденное.

А знаток дельфинов дополнительно аргументировал своё мнение насчёт белобочки:

– Знаете, друзья, белобочка, вообще говоря, это самый шустрый, самый скоростной дельфин. Он любит плавать наперегонки. Потому чаще других сопровождает корабли и лодки.

– Точно! Наперегонки плавает! Мам, помнишь? – продолжал захлёбываться от восторга мальчишка.

– А скорость может развивать до 36 километров в час. Это очень быстро.

– А афалина отстаёт?

– Немного. Зато афалина крупнее. Но и белобочки не маленькие. Вы же сами видели, какой богатырь кувыркался! Это белобочка. Афалины здесь тоже появляются. Но редко. Мало их осталось. В прошлом году взрослую афалину видели под Судаком, это совсем рядом. И даже засняли и выложили фото в Интернет. Увидеть её – большое счастье! – мечтательно произнёс знаток дельфинов.

– Мам, купи мне бинокль, – тут же заканючил мальчишка. – Я тоже хочу афалину встретить.

А у взрослых разговор о дельфинах постепенно перешёл на детей, стали обсуждать, почему это деток так тянет к дельфинам?

– Да детей вообще ко всем животным тянет: кошкам, собакам, лошадям... – произнесла молодая женщина, около которой всегда кружилось много людей. Одних только детей – четверо. Неужели все её?

– Просто они похожи... – предположила женщина, которая и на пляже не расставалась с двумя вещами: с книжкой и макияжем.

– Кто? Ребёнок и дельфин? Да вы с ума сошли! – засомневалась многодетная женщина.

Но начитанная дама и не думала отступать.

– Мне кажется, – произнесла она значительно, – что дельфин и внешне похож на упитанного младенца и так же любит резвиться в воде. А крик дельфина напоминает плач ребёнка. Вам не кажется? Наверное, поэтому к дельфинам на излечение и возят больных деток. Говорят, помогает.

– Так трактуете... – пробормотал любитель дельфинов. – А вообще дельфинотерапия помогает и многим взрослым. Нервным. Главное – установить контакт с животным.

– Назвать дельфина животным – язык не поворачивается... – вступил в разговор дедок, который до этого лишь внимательно слушал собравшихся.

– Согласен! – охотно поддержал дедка дельфиний знаток.

– Да уж, кто из нас большее животное – ещё вопрос, – иронически скривила губы любительница книг и косметики. – Они сочувствовать могут. Приносят людям счастье. У них и мозгов побольше, чем у людей, и словарный запас... впечатляет.

Знаток дельфинов, видя такой интерес к любимому предмету, с жаром рассказал историю, которую недавно вычитал в Интернете.

– Главное, друзья, как они пользуются этим языком. Мы вот скоро, видимо, разучимся говорить, а они – нет. Эта история реально случилась в океанариуме Майами. Однажды туда доставили нескольких *молодых* дельфинов. Их запустили в бассейн к *дрессированным*. «Разговор» между ними *не смолкал всю ночь*. А утром дрессировщики обнаружили, что новички выполняют все номера без их вмешательства! «Старички» обучили, поделились опытом.

Народу история понравилась. Всё как у людей. Нужно только не забывать, что мы люди. Может, потому мы и дельфинов так любим, что они напоминают нам об этом?

УЛИЧНЫЙ МУЗЫКАНТ

Музыки и музыкантов на вечерней набережной было много. Запомнился один. Этот гитарист со своей боевой гитарой – как пожилой павлин с хвостом: чуть облезлым и потрёпанным, но вполне ещё ого-го! Было видно, что маэстро уважал себя за то, что, несмотря на возраст (на вид семьдесят с копейками), мастерства не утратил, главную свою фишку – битловский репертуар – сохранил и даже теперь этим кормится. Играл он, надо признать, хорошо, профессионально. Спасибо, не пел. Звучала гитара. Да как звучала!

Музыканта всегда сопровождала невысокого роста худенькая женщина. Эта безымянная спутница обладала всеми признаками павлиньей подружки – серенькая, маленькая, незаметная. Возраст её не портил, просто нечего там было портить. Она давно и привычно была у своего мужа на вторых ролях.

Пара каждый вечер появлялась на набережной, когда начинало смеркаться и загорались жёлтые уличные фонари. Она, как автомат Калашникова, несла казавшуюся в её руках огромной гитару, он волок два раскладных стула. На один он тут же тяжело усаживался, на второй ставил коробку, обитую красным бархатом. Там уже лежало несколько сотенных бумажек. Под гонорар.

С первыми же звуками к возрастному хиппарю уважительно подтягивалась фланирующая публика. Многие уже поджидали гитариста. И было чего ждать. Музыкант замечательно импровизировал на темы битловских шедевров. Его гитара выводила YESTERDAY и YELLOW SUBMARINE, ALL YOU NEED IS LOVE и BACK IN THE U.S.S.R. Он особо не выкобенивался и послушно исполнял на бис понравившиеся народу композиции. Купюры летели в его коробочку весело и охотно.

Классика шестидесятых в очередной раз доказывала свою живучесть. Отдохнувший народ не только подпевал, но и подтанцовывал – скакал, вихлялся и извивался. Через сорок минут спутница, выйдя из тени, технично сгребала гонорар в свою набрюшную сумку, прихватывала под руку раздухарившегося музыканта, с его гитарой и стульями, и пара удалялась.

ТАНЮША

Муж объявил, что у него в машине что-то стучит, надо посмотреть, и занялся своим «опельком». Я, чтобы не тратить время даром, отправилась на море.

Народу на центральном пляже в это послеобеденное время было много, но всем нашлось место. Около меня расположилась стройная, совсем не загорелая молодая женщина.

– Недавно приехали? – завязала я разговор, намекая на иссиня-белый цвет кожи моей соседки.

– Нет, я здесь давно. Работаю управляющей во-он в том комплексе, – кивнула она в сторону.

– Так много работы? Не выбраться? – посочувствовала я.

– В общем, да. Это сейчас народ чуть схлынул. На мне десять номеров. Да не в этом дело. Мне тут всё надоело! – вылетело из неё. – Не хочу ни купаться, ни загорать!

– Ничего себе! Понятно, мы тут на отдыхе, не нарадуемся всей этой благодати.

– Какой благодати? – кажется, искренне не поняла женщина.

Я обвела широким жестом всю округу.

– Мы тут путешествуем. Кое-что уже посмотрели...

– А что тут можно смотреть? Одно и то же...

Ну, и тут меня понесло. Я вывалила на Танюшу – так звали эту женщину – свои свежие крымские впечатления, которые вылетели из меня, как шампанское из открытой бутылки. Я бурлила и булькала. Танюша слушала меня с большим удивлением. Так бы, наверное, реагировала женщина, если бы её ленивого, толстого, дурно пахнущего мужа вдруг объявили Мужчиной Года и провозгласили эталоном мужской красоты и элегантности.

Танюша слушала, подняв брови и выпучив глаза, будто вышедшая из тёмного чулана пленница, которая в плену успела начисто забыть, что белый свет вообще существует. Она была потрясена не только услышанным, но и степенью своей неосведомлённости о том, что всё, о чём я ей толкую, существует буквально рядом, а она нигде не была и ничего не видела: ни замечательных окрестностей, ни музеев, ни картинной галереи.

Окончив фонтанировать, я решила уточнить:

– Так давно вы здесь?

– Третий год, по три летних месяца в сезон.

– Ничего себе! И что, действительно нигде не были? Даже на море? Не могу поверить!

– Нет, вначале на море я ходила. Потом перестала. О, – вспомнила она, – и в Феодосии я была! Я туда в магазины на автобусе езжу. Лампочки, бытовая химия, то-сё...

– Грандиозно! А вы откуда, Таня?

– Из Харькова. А вообще родилась в Новгороде.

– А в Харькове давно?

– Можно сказать, всю жизнь. Там институт закончила, замуж вышла, сына вырастила.

– Идите, искупнитесь, что ли, жарко, я присмотрю за вашими вещами.

– Главное – это, – сказала Танюша, покопалась в ушах и сложила что-то в пластмассовую коробочку. – Здесь самая большая моя ценность – слуховой аппарат.

– Не волнуйтесь, присмотрю...

Но Танюша уже не слышала меня, она белыми своими ногами аккуратно пробиралась к воде.

Купалась долго, но осторожно, не заплывая. Когда выбралась, досуха вытерлась, примостила в уши свою важную технику и продолжила разговор.

– А расскажите ещё что-нибудь, пожалуйста.

Она слушала очень внимательно, не задавая вопросов, а потом вдруг прошептала:

– Домой хочу...

– А что мешает?

– Всё не так просто... Меня сюда направила шеф, мы в Харькове работаем вместе, она хозяйка этого гостиничного комплекса. Отказать ей не могу. Да и материально мне эта работа выгодна. Если всё бросить – шефиня рассердится и уволит. А мне уже пятый десяток...

– Да вы что! – не поверила я. – Думала, лет тридцать...

– Нет, я старая, к тому же глухая. Потом не найду в Харькове никакой нормальной работы. Вот и приходится терпеть. Дел здесь очень много, работа ненормированная, к тому же – ответственность большая... Ну, мне пора. У меня через полчаса заезд. Пойду заселять. До свидания.

И она побрела с пляжа, опустив голову, будто прислушиваясь к чему-то важному внутри.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В Крыму есть всё: море, горы, степи, тропики с субтропиками, своя флора и фауна, свой цвет и запах, своя история и своя судьба. Это маленькая планета. Находясь внутри неё, не видишь истинных размеров ни самой планеты, ни особенностей её обитателей, а потому в голове идёт постоянное смещение масштабов, игра временных бликов.

Реально существующая гигантская сколопендра заползает к тебе в комнату, предварительно уменьшившись до размеров домашнего таракана, предстаёт, так сказать, в миниатюре. А реально существующая степная гадюка разрастается до объёмов мифического карадагского чудовища, откладываящего в потайной скале свои роковые яйца. Так рождаются литературные шедевры.

Купленные в магазинчике на набережной аммонитовые серёжки оказываются миниатюрным слепком с магической спирали Вселенной, пришедшей к нам из такой древности, что и вообразить нельзя! Их надо выставлять в музее, а не на ухо вешать. Но в Крыму всяких сокровищ – завались! И потому висят эти аммонитовые реликты на твоих ушах, привлекая внимание отнюдь не почтенным возрастом, а неизменной красотой и оригинальностью.

Крым нельзя до конца познать, им только можно бесконечно восхищаться, бредить и ещё – можно и нужно – любить его. Тут как история с дельфином: без любви – никак! Если дельфин не полюбит вас, он в дельфинарии вас просто проигнорирует. Не полюбитесь ему – не захочет ни общаться, ни помочь вам.

На правах старшего, пережившего многое, Крым задаёт свои вопросы: люди, на что вы тратите свою микроскопическую жизнь? Ведь на Земле она – просто мгновение, которое то ли привиделось, то ли действительно промелькнуло голубеньким всполохом ручного фонарика, когда вы зачем-то карабкались на свою очередную Васюковку. Если бы вы поднялись, отдышались, посмотрели окрест и поняли наконец: мир прекрасен; я стал мудрее; понял, как надо жить, – тогда действительно можно было бы карабкаться дальше, и не только на измусоленную туристами горку, да хоть на самую Джомолунгму! К новым знаниям и ценному опыту.

Так нет же! Ползёте, преодолеваете, напрягаетесь. Тратите по мелочам свою бесценную жизнь, портите суетой бессмертную душу. И что в итоге? СмОтрите – и не видите! Ещё меньше понимаете. И почти ничего не умеете. А с годами – и не можете.

Вот что нащептал мне Крым, связав воедино самые разные поразившие меня качества: смелость и упорство героических планеристов; талант и доброту Макса Волошина; непреклонность легендарных жителей древней Каллиеры и явление танцующих дельфинов, умеющих одним лёгким касанием сделать людей счастливыми.

Ты, конечно, волен выбирать: верить или нет таящейся здесь на каждом шагу крымской небылице, причудам и мистификациям. Можешь назвать всё это вздором и спокойно жить дальше, отключив по привычке свой сонный мозг. Несомненно одно: Крым оставляет счастливый шанс и свободный выбор: вернуться ли к себе, настоящему, и хоть чуть-чуть ещё побыть ребёнком – добрым, чистым и любознательным, или продолжить кружить на бесконечных вертушках судьбы, ведомый непонятно кем и неизвестно куда.

Выбор за тобой.



Надежда
ШАРТ

«Я ЛЮБЛЮ ВАС, ЛЮДИ!»

О прозе Натальи Леваниной –
посланиях найденному адресату

*Истлеет лист. Умрут слова и даты,
Но звёзды, замыслы и бытие само
Останутся, как вечное письмо
Тебе – найденному адресату.*

Елена Ширман

Книги, о которых хочу поговорить, настигли меня внезапно. Не чаяла, не гадала. Сколько всего читано-перечитано (и по долгу службы, и по интересу, и по литературным пристрастиям) русской классики, иностранной, современной литературы, а иногда, простите, и просто халтурного чтения. В какой-то момент (многие «запойные» читатели знают) наступает усталость от печатного слова, этакий скепсис: «Ну, ничего нового...» И вдруг – щёлк! – вижу, и слышу, и чувствую новое, своё, до времени забытое старое. Вчитываешься – светлеет и успокаивается душа. Ты попал в новое литературное пространство, свободное от избитых штампов, от детективных уловок (как у А. Марининой), от ирреальных существ с мозгами и внешностью насекомых (как у В. Пелевина), от возведения в абсолют национального героя (как у Д. Рубиной).

Они, без сомнения, величины немалые в современной литературе, а ведь ещё есть сонм писателей, лица которых и не вычленишь: поставь их рядом – не вспомнить, кто и что написал. И ведь

-
- Надежда Алексеевна Шарт (Макеева) – журналист, редактор, социолог. Окончила филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского и Московские высшие социологические курсы. Работала редактором многотиражной газеты «Камышинский текстильщик», руководила социологической лабораторией текстильного комбината (г. Камышин), служила заместителем директора библиотечно-культурного центра им. А.П. Боголюбова, заведовала отделом в издательстве учебной литературы «Вентана-Граф» (Москва). Публиковалась в районных и областных изданиях (Тамбов, Волгоград), в газетах «Neues Leben», «Каретный ряд» (Москва). Лауреат Волгоградского областного конкурса очеркистов, дважды лауреат всесоюзных конкурсов среди многотиражных газет текстильной и лёгкой промышленности страны. Член Союза журналистов России. Литературной критикой начала заниматься ещё в студенческие годы, первые рецензии на поэтические сборники были опубликованы в журнале «Волга». Живёт в Москве.

все печатаются в столичных издательствах, громоздятся на полках больших книжных магазинов, да и в киосках, на развалах – опять они – шиловы, поляковы...

Но я не о том. О своём «открытии». Щелчком, насовсем включившим меня в творчество писательницы, стал небольшой рассказ «Ода русской печке». Прозрачный язык, острый юмор, свобода изложения – «вкусно» написано. Начала искать: что? где? когда? Почему до сих пор не слышала этого имени – Наталья Юрьевна Леванина? А оно звучит в среде русского читателя, по крайней мере, уже лет десять. Это потом, порывшись в недрах Интернета, узнала, что автор рассказа – прозаик, литературовед, критик; это потом мне стало известно, что не новичок пришёл в нашу литературу, а человек с большой филологической судьбой – доктор, профессор, член Союза писателей России; это потом пришло понимание, что лёгкости и прозрачности языка её рассказов и повестей предшествовало более полутора сотен печатных (научных, публицистических, литературно-критических) работ, из них десяток книг художественной прозы, публикации в «толстых» журналах «Москва», «Наш современник», «Октябрь», «Дон», «Волга», «Эдита» (Германия), «Женский мир» (США), «Мирвори» (Израиль) и во многих других изданиях; это потом, крикнув про себя: «Правильно!», я порадовалась тому, что за книгу «По реке, текущей в небо» писательница получила литературную премию имени М.Н. Алексева. Это потом.

А сначала были «Деревенские этюды». Хотя нет, сначала был карантин по COVID-19, и я, сидя на строгой самоизоляции, скуки ради бродила по просторам Интернета, поскольку иные прогулки были запрещены. На нелюбимо-любимом сайте «Одноклассники» узрела небольшой рассказ «Ода русской печке», на него было много живых откликов. Вкусила с удовольствием, прямо-таки с вожделенным читательским смаком. Дальше пошли «Одинокие», «Невероятная история», «Пьяная чаша», «Наши святыни», «Бабушкин завет»... В рассказах, больше похожих на эссе-воспоминания, документально точно, обстоятельно и спокойно ведётся речь о деревенском житье-бытье бабушки, вернее, бабушек, семижильных старух, благодаря которым и выживает российская глубинка. «Этюды» о быте, об отношении к природе, о взаимопомощи, о неслабеющей памяти военных лет, о каждодневном безмерном труде этих женщин, объединяясь, становятся единым гармоничным полотном, в котором угадывается ещё одно действующее лицо – авторское. Случайно ли? Нет, ибо всё, что пишет Н. Леванина о селе Михайловском, о древнем Галиче, о лесном Костромском крае, составляет её прочную родовую основу, корневую связь с предками, и поныне живущими на той земле.

Высокую духовность своих героев ценит автор более всего. Уважая и принимая их непростые, порой невыносимо тяжёлые судьбы, понимает и противоречивость поступков, и «ндравность» характеров. Баба Надя, ставшая «бабушкой» в неполные 40 лет; её сестра баба Поля; дальняя родственница баба Аля; баба Шура – Андрияниха... Характер на характере, все разные: задумчивые и весёлые, сухие, будто выгоревшие изнутри, и эмоционально-крикливые, страшные и красивые одновременно.

Портреты одиноких старух (дети-то по городам разлетелись, мужья померли – кто от ран военных, кто от пьянства) выписаны колоритно, сочно, красками только природного цвета. В палитре художника нет ничего приторно-розового, а там, где в повествовании сгущаются трагически-тёмные тона, выручает мягкий, умный леванинский юмор. Каждодневно совершая свой маленький подвиг выживания, бабы Нади-Поли-Али не думают о том, как им

трудно, они просто живут: вырастили детей, вырастят и внуков. Про таких женщин хочется сказать: «Святые!»

Объективности ради отмечу, что есть в рассказах и другие люди, ну, совсем другие: алкоголики, бомжи, злыдни, воры, тихие пьяницы, женщины «с пониженной социальной ответственностью». Рассказ «Раба любви» – как раз о таких. Откуда у профессора от филологии доскональное знание социальных пластов – их образа жизни, поведения, привычек, манеры разговора? Ответ прост: для Н. Леваниной нет деления жизни (равно как и людей) на «плохую» и «хорошую», она не пробежала её по диагонали, как скучный учебник, а изучала, много и вдумчиво, анализируя, порой препарирруя (хоть оно и больно!), дабы понять изначальный смысл каждой человеческой истории, уловить суть явления, наконец добыть то, что составит авторскую правду-истину. Удаётся ей это по причине не просто сопереживания, но и со-проживания с героями своих книг. В Михайловском она – внучка коренной жительницы, в саратовской пятиэтажке – обительница по прописке, в далёком Самарканде – дочь офицера, несущего службу на южных рубежах Союза... Литературные героини знают своего автора в лицо. Ответственность возникает колоссальная: сфальшивишь – тут же будешь уличён в неточности, преувеличении или похвальбе, «свои» молчать не будут.

Одинаково виртуозно владея всеми видами русской речи, Наталья Леванина кропотливо работает над текстом, не устаёт выверять и малую деталь, и уместность каждого слова. Языковая планка здесь чрезвычайно высока: чистота языка, необозримый лексический диапазон, использование северных и южных диалектов, научной терминологии из разных сфер, вкраплений арго... И каждое слово на своём месте, при своём «хозяине».

Открываю повесть «Чудобище», погружаюсь в Берендеево царство, знакоюсь с его лесами и лугами, реками и озёрами, деревьями и травой и, конечно, жителями городов, сёл и деревень дивного российского края – Костромщины. И чем дальше продвигаюсь в прочтении, тем чаще пытаю себя: где же ты, книгочка, раньше была? Почему всё Дина Рубина, Виктория Токарева, Людмила Улицкая? Как-то читательски притомилась на их «горных» высотах. Вот же мои Палестины: Костромщина, Вологодчина, Владимирщина. Здесь жажда книжная утоляется не кока-колой, не вином заморским, не айраном – а родниковой свежести напитком, простой колодезной водицей. Произошло это при чтении повести «Чудобище», прозвучавшей во мне авторским подзаголовком (или обозначением жанра?) – «Галичская рапсодия».

Главный герой повести – вконец затурканный городской цивилизацией политолог Никола, «безрукий гуманитарий» лет под сорок, сбегает от неё в места, где когда-то жили его предки, – в деревню с символическим названием Вольгово. Бежит не от благ урбанизированной жизни – от внутренней «разрухи», которая, как известно, не где-нибудь, а в самой что ни на есть голове. Не ладится у Николы на работе, не складываются отношения с женщинами, заели суета и предсказуемость быта, давно с души воротит от «продажности и беспринципности» сильных мира сего и их обслуживающего персонала от науки, в числе которого, увы, пребывал и Никола, пришибленный «девятым валом халтуры и липухи».

Решение остаться в деревне, чтобы не только изменить образ жизни, но и самому измениться, далось герою непросто. Череда событий развёртывается стремительно и увлекательно, как в приключенческом романе: то Никола застревает в своём авто на раскисшей от ливня дороге; то на него нападает огромный бык – глава деревенского стада; то заплутался он в лес-

ных дебрях, да так, что не чаял и живым из них выбраться... И в любой ситуации, экстремальной для горожанина, на выручку ему приходили местные жители – Павел Северьяныч, Галина Константиновна, одинокая старуха в лесной избушке, экскурсовод Лена, подарившая ему надежду на любовь. Люди – именно в них было спасение и тела, и измученной души. Не случайно, вырвавшись из чащобы, кричит Никола во всё горло, пугая лесных птиц: «Я люблю вас, люди!»

Но автор тактично предупреждает его: идеальных людей не бывает. Да и сам Никола не идеализирует село и его обитателей, он принимает их, какие есть, впускает в себя и старается, чтобы и они сделали то же. Размышляя о своём «побеге», ежечасно третируя себя вопросами: «А не игра ли это, не бегство, не капитуляция?» – молодой мужчина наконец понимает, что ему выпал реальный шанс «изменить свою жизнь, а не профукать её», как это у него не раз бывало.

Поиском рецепта самоизлечения озабочен и герой «Романа в десяти письмах» – журналист Олег, который тоже совершает «побег» от себя. Адресат его посланий – милая девушка-попутчица, ехавшая с ним в одном купе, – вряд ли когда прочтёт их, адрес-то она дала выдуманной. А жаль, письма легки и совершенны по стилю, интересны по содержанию, полны литературных, исторических и иных аллюзий. Понятное дело, пишет их журналист, филолог. Каждое письмо – психологически тонко исполненная словесная иллюстрация (да не одна – целая серия) к стихам Елены Ширман о «найденном адресате». И всё же цель этих взволнованных, умных, сердцем выстрадавших посланий «в никуда» иная: поиск самого себя. Результат – выздоровление.

Всего десять писем, а перед нами целый микрокосм – человек. Тут его судьба и характер, привычки и вкусы, пристрастия и страсти, восприятие природы и людей, понимание литературы и искусства, осмысление дня сегодняшнего.

Многотемность и социальная многослойность вообще характерны для произведений Н. Леваниной, не исключение в этом смысле «Ходики». Повествование о «справной девушке» из небольшого Городка у подножья меловых гор ведётся в ритме народного сказа, размеренного и неторопливого. Но внутренняя жизнь Надежды Заломовой напряжённо-переменчива. Школа, Дом пионеров, слёты и походы быстро закончились, после 8-го класса – ГПТУ при часовом заводе, от которого зависела жизнедеятельность всего Городка. И всё бы ничего, но в жизнь юной девушки с задатками матери Терезы входит учитель рисования Евгений Тихий (он же – непризнанный художник, он же – хронический алкоголик), которого Надежда нянчит, то есть кормит, обстирывает, из сугробов и запоев вытаскивает.

Однако страшнее напасть ждёт её впереди. Грянула перестройка. Кое-как избавившись от мужа-алкоголика, она полной чашей хлебнула все прелести беспредела и рэкета. Переехав в Москву, продавала и под дождём, и в стужу чужой товар с лотка, стала челночницей, стояла сутками на базаре... Из тихой, домашней девушки превратилась в лошадь ломовую: загрузившие руки, обветренное лицо, сорванная тяжестью спина. Зато вот он – дух нового времени, страшный, жестокий, безнаказанный. Молодая женщина пребывала в постоянном шоке. «Это когда думаешь, что хуже уже некуда, а назавтра оказывается, что ты ошибаешься. И так каждый день. Из года в год. Почти десять лет», – уточняет повествователь.

Возле Нади Заломовой, как ни цепляется она за жизнь, всё выше громоздится частокोल обид (она «тетёха» в глазах матери Е. Тихого), траге-

дий (якобы случайная смерть Василия, помощника на базарном поприще), несостыкровок с подругой Машей. Но личные беды героини автор сумел масштабировать до уровня общенародных, государственных проблем, которые в публицистической и художественной литературе небезопасно было затрагивать ещё два-три года назад.

Думается, многие, прочитав повесть «Ходики», почувствуют полное совпадение с мыслями героев, с авторским пониманием событий того расхристанного, оголтелого десятилетия. Честно признаюсь, давно мечтала: ну хоть кто-нибудь написал бы про нас, ушибленных и раздавленных «перестройкой»... Ау, есть кто-нибудь?.. Но чтоб изложил спокойно, без злобы, плевков налево-направо; чтоб разобрался, как получилось, что мы, вроде бы любящие родину свою, за её единство голосовавшие на референдуме, оказались киселём, бесхребетниками, допустившими растаскивание великой страны по кускам, так что «хруст и чавканье по городам и весям». Позиция писателя в «Ходиках» (равно как и в «Чудобище») предельно обнажена. Смело, со знанием дела и явно ощутимой душевной болью пишет Н. Леванина о том, как деградирует система высшего (продажно-покупного) образования, каким звериным оскалом обернулись улыбки-посулы «перестройки», в какой нищете и дикости оказались после приватизации фабрик и заводов рабочие, как было брошено крестьянство наедине со своими проблемами, – прямо наотмашь хлещет зажавшихся чиновников, дураков и предателей.

Но и в этом потоке боли и неприятия «мерзостей жизни» растворены целительные ионы авторской любви к России, к русской земле и воле, к своим родовым корням. Герои повестей дают мне, в чём-то разуверившемуся читателю, реально помогающие советы: «Хватит ныть. Стань, кем хочешь. Тебе никто помешать в этом не сможет. Ты сам хозяин себе» (Инга, «Чудобище»); «Делать что-то надо!» (бабушка Надя, «Деревенские этюды»). Просто? Но кто-то должен напоминать известные истины, а кто-то – помнить их.

О Наталье Леваниной можно сказать, не боясь обвинений в излишней комплиментарности: мастер превосходного стиля. Кажется, нет литературно-художественного приёма, которым она не владела бы в совершенстве. Весь её книжный мир плотно заселён реальными людьми разных социальных слоёв и прослоек, живущими в разных географических широтах, несхожими по профессиональной принадлежности. Среди персонажей – учёный и крестьянка, бизнесмен и бомж, журналист, офицер, художник-алкоголик, парикмахерша, учительница, торговка-челночница и интеллигент-политолог... Это может быть костромич, галичанин, саратовец, москвич... И у всех – «лица необщее выраженье» (мастерски исполнены словесные портреты), свой разговор на особинку, который выдаёт социальный статус, укажет на профессию или отсутствие оной.

Помимо того, в ткани повествования присутствуют представители иных стран и народов, иных эпох. Происходит это путём внедрения всяческих аллюзий: цитирование (всегда уместное) стихов и прозы (Тургенев, Достоевский, Чапек, Ширман, Потехин, Лапшин, Честняков...), отсылы к полотнам художников, книгам, кинолентам, песням и т.д., вплетение в композиционные узоры разнообразных независимых вставок. К примеру, научно выверенная лекция об исторической судьбе народа меря; или экскурсы в прошлое Костромского края («Чудобище»), или миниатюрные новеллы из жизни великого учёного Исаака Ньютона, выстраивающие параллель к судьбе работницы часового завода Нади Заломовой («Ходики»).

Безусловно, украшают диалоги героев – быстрые, чеканные, по-киношному упрощённые. А вот монологи – другое... Тут в такую смысловую глубину

ныряешь, в такие философские высоты воспаряешь – куда там! И, главное, чем сложнее формулирует свою мысль герой (Олег ли, Никола или Елена), тем ближе она кажется мне, читателю, тем естественнее становится моей, лично вымученной.

В формировании художественного почерка писателя первостепенную роль, без сомнения, сыграл фольклор, тот краугольный камень русской речи, прочнее которого и не найдёшь. Чуть ли не на каждой странице (возьмите любую повесть, рассказ, побасенку, сказ или «сказочку») – россыпи народных пословиц, поговорок, прибауток, частушек, легенд, песен, языческих мифов. И всё к месту, всё кряду!

Удивляет и необычная «картинность» изложения сюжета, построения композиции, в результате чего тексты можно не только читать, но и рассматривать (!) как живописные произведения. Автор даёт нам полюбоваться левитановскими пейзажами с берёзками, лентами блескучих речек; осторожно войти в шишкинский бор, Берендеево царство; увидеть михайловские луговины, дома, золотые купола церкви с высоты птичьего полёта, как взлетевший от счастья Никола – ну, Шагал, и всё тут! («Чудобище»). Или нарицует лёгким пером калейдоскопическую картину под стать Брейгелю Старшему (Мужицкому), великое множество всего живого представит: людей, животных, птиц на небесном фоне любимой Костромщины – целая галактика. А взглядишь в малый уголок, хотя бы во двор бабушки Нади: в нём свой центр притяжения, своё «солнце» – петух Петруччио, который царствует в курином гареме («Деревенские этюды»).

Интересен и такой авторский приём. Край–деревня–дом, род–семья–личность... Спираль бытия туго закручивается. Сначала читатель поднимается на космическую высоту обозреть планеты «Галич», «Михайловское», «Вольгово». Маленькое всё (деревья и озёра, лица предков и потомков), зато сразу видно всех как на ладони, вплоть до травки луговой: «Ромашки, васильки, колокольчики, иван-да-марья, иван-чай, зверобой, мать-и-мачеха – всё сочное, яркое...» Потом опускается с поднебесья внимательный читатель и дотошно рассматривает как под микроскопом жизнь человека, его взаимоотношения, мечты и страхи, многожды увеличивая масштаб дел и поступков, вплоть до подвига (рассказ «Женская доля»).

Дочитаны четыре художественных текста: «Деревенские этюды», «Чудобище», «Роман в десяти письмах», «Ходики». С каждым не хотелось расставаться. Кажется, это части единого цикла. Здесь герои лично знают друг друга, живут на одной земле, неважно, кто в городе, а кто в деревне. Судьбы их сопряжены между собой временем, историей, традициями, зачастую бедами и проблемами, а главное их счастье – в единении: михайловские старухи и их городские дети и внуки; политолог Никола и экскурсовод Елена; учительница Галина Константиновна и мастеровой мужик из Питера Павел Северьяныч; бывшая часовщица Надежда Заломова и преподаватель Дмитрий... И взаимосвязь эта уходит в бесконечность.

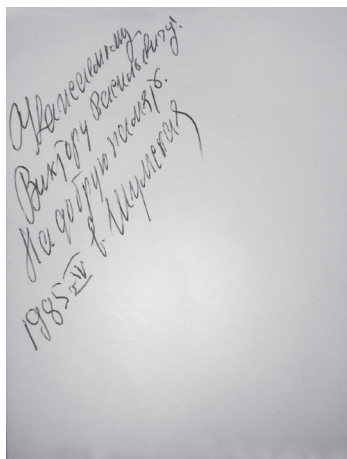
Но не затихла во мне «Галичская рапсодия», не отзвенели озорные частушки (рассказ «Я плясала у реки»), не рассеялась грусть от «Десяти писем»... Одно утешение: есть ещё непрочитанное – повести «Ошибка» и «Бабье лето», книги «По реке, текущей в небо», «Искушение свободой», «Уроки русского», «В саду ветров», «Сказочки» и другое. И, конечно, мнится мне надежда на новые публикации, ведь Н. Ю. Леванина давно нашла своего читателя и уже, думается, не сможет разочаровать его молчанием, поскольку всё, что она делает в литературе, – это для него, во имя его и ему – найденному адресату.



**ВИКТОР
КРЕСТОВ**



Е.В. Шумская в жизни



«НИЗКО КЛАНЯЮСЬ САРАТОВУ...»

**К 115-летию со дня рождения
народной артистки РСФСР
Елизаветы Владимировны Шумской**

Однажды, будучи в Москве, я позвонил одной из легендарных певиц XX века Елизавете Владимировне Шумской. Запомнилось то, что как-то удивительно сразу мы нашли общий язык. Узнав, что я из Саратова, она с большой теплотой вспоминала наш город. Ведь именно здесь, в Саратове, сложился её основной репертуар, здесь она состоялась как актриса, здесь, на берегах великой русской реки Волги, пришло к ней признание публики, и Елизавета Владимировна получила своё первое звание – «Заслуженная артистка РСФСР».

С того памятного разговора и началась наша переписка.

Будущая певица родилась 12 апреля 1905 года. Вспоминая своё детство, она писала: *«С ранних лет я познала нужду и тяжкий труд, незаслуженные обиды. Спасал меня только голос. С 10 лет я пела в церковном хоре. Всегда с радостью пела народные песни своим односельчанам. Пение было единственной радостью в моём сиротском детстве и бедной юности».*

Творческий путь Е. В. Шумской в большое искусство начался в 1928 году в г. Иванове на скромной сцене самодеятельной оперной студии, где она выступала в спектаклях,

-
- Виктор Васильевич Крестов родился и живёт в Саратове. Окончил исторический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Председатель общественной организации «Клуб любителей творчества Леонида Сметанникова». Публикуется в местных СМИ. В 1985 году Президиумом Советского комитета ветеранов войны награждён юбилейным памятным Знаком «40 лет Победы».



*Чио-Чио-сан.
«Чио-Чио-сан»
Д. Пуччини*



*Микаэла.
«Кармен» Ж. Бизе*

ещё будучи студенткой музыкального техникума. Позже Елизавета некоторое время пела в Московском областном оперном театре, а затем была приглашена в Саратов.

На сцене Саратовского театра оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского Е. В. Шумская выступала с 1934 по 1944 год. Это были годы упорного, напряжённого труда. За 10 лет работы в нашем городе Е. В. Шумская исполнила многие ведущие партии в операх русских, советских и зарубежных композиторов.

Редкой красоты голос, доведённое до совершенства вокальное мастерство и постоянный творческий поиск принесли ей заслуженную славу.

Перелистываю пожелтевшие от времени газеты 30–40-х годов прошлого века. Пресса, восхищённая искусством певицы, не скупилась на восторженные отзывы. К особым достижениям актрисы относят такие партии, как Антонида в «Иване Сусанине» М. Глинки, Виолетта в «Травиате» Д. Верди, Чио-Чио-сан в одноимённой опере Д. Пуччини, а также Снегурочка, Марфа, Волхова в операх Н. Римского-Корсакова.

Образы, созданные Е. В. Шумской, отличаются искренностью исполнения, жизненны и правдивы. В каждый из них певица вложила частицу своей души.

Удивительный дар вокального и сценического перевоплощения был свойственен актрисе. В этом плане её особо отметил композитор И. Дзержинский, который побывал в 1936 году в нашем театре на генеральной репетиции своей оперы «Тихий Дон», где Е. В. Шумская создала яркий образ Натали.

В 1937 году театр оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского обратился к одной из лучших грузинских опер «Даиси» З. Палиашвили. Знаменательно, что эта опера, созданная в 1923 году, впервые в стране прозвучала на русском языке именно на сцене нашего саратовского театра. Спектакль был осуществлён в содружестве с творческим коллективом

Тбилисского театра оперы и балета имени З. П. Палиашвили. Большую помощь в постановке оперы оказали хормейстер и консультант спектакля – брат композитора П. Палиашвили и другие деятели искусств Грузии.

Артисты и зрители с волнением ждали нового спектакля.

И вот настал день премьеры. Медленно гаснет свет. В зрительном зале воцаряется тишина. Взмах руки дирижёра А. О. Сатановского – и сразу же с первых тактов музыка пленяет, очаровывает слушателей. Е. В. Шумская с большим успехом исполнила партию нежной, мечтательной Маро. В партии Малхаза выступил лучший тенор театра Г. Ф. Большаков. Это был великолепный дуэт двух любящих сердец.

Отмечая исполнение певицы, пресса писала: *«В игре Шумской есть теплота, лиризм, но в то же время в образе чувствуется воля, девичья*

гордость, ясность мыслей. В вокальном отношении Шумская безупречна: весьма сложная ария «Яркая звезда» исполнена Шумской с большим мастерством».

Автор другого отзыва писал, что «заслуги Шумской трудно переоценить».

Создав прекрасный образ Маро, певица покорила зрителей красотой голоса, обаянием молодости, сумела донести до слушателей богатство и самобытность национальной музыки.

В одном из своих писем я попросил Елизавету Владимировну поделиться своими воспоминаниями об этой опере. В ответном письме она сообщила: «Уважаемый Виктор Васильевич! С большим удовольствием и даже радостью отвечаю Вам на Вашу просьбу...» Дав подробный анализ работы над оперой, она заключает: «Исполнители-солисты, хор и оркестр работали с большой отдачей сил, и спектакль прошёл на высоком художественном уровне. Особенно сильной была сцена смерти Малхаза, его ария. И как молитва, как стон больной души по умершему был плач Маро...»

Многие спектакли с участием Е. В. Шумской оставили яркий след в душах зрителей, и вполне закономерно, что уже в 30-е годы прошлого века она становится любимицей публики – встреча с актрисой всегда была настоящим праздником для любителей оперного искусства.

Е. В. Шумская обычно приходила в театр задолго до начала спектакля и погружалась в образ, который ей предстояло воплотить в этот вечер. Её отличали прежде всего высокая требовательность к себе, чувство ответственности и внутренняя собранность. При её появлении на сцене в исполнении других участников оперы что-то неувлимо менялось, поднималась их творческая активность. И, видимо, неслучайно в одной из рецензий на спектакль «Садко» Н. А. Римского-Корсакова говорилось: «Лучшее впечатление оставляет Шумская (Волхова – царица морская), а Панфёров (Садко) наиболее выразителен как певец и актёр именно в сценах с ней».

Елизавета Владимировна с благодарностью вспоминала многих актёров, с которыми ей довелось работать на саратовской сцене. Но особенно она была благодарна своим первым наставникам – дирижёрам А. В. Павлову-Арбенину, А. О. Сатановскому и режиссёру И. П. Варфоломееву.

Вспоминая их, она писала: «А. В. Павлов-Арбенин был великолепный, тонкий музыкант-самородок. Работать с ним было очень приятно. Он требовал радости в творчестве, активности, дина-



Маргарита.
«Фауст» Ш. Гуно



Ксения.
«Борис Годунов»
М. П. Мусоргского



Волхова. «Садко»
Н. А. Римского-
Корсакова

*Глубокоуважаемый
Виктор Васильевич!*
 Мне всегда жаль, что я не была и праздни-
 ке в честь Саратовского Галерея
 и Урусовой. Я бышла и сказала
 своим друзьям и близким
 артистам, вы знаете меня, бисла
 и Алек. Борисович был всегда
 мною увлечён, слыхала его очень
 добрым человеком и замечательным
 руководителем как директоре
 театра им. Тертышского,
 вам бы не мог уже казаться
 старость я как то, обзавелась
 приехала бы в Саратов. А в конце
 меня она с радостью до конца моих
 дней. Я благодарна вам за ваши
 добрые содействия, мне была
 всякая ваша доброты, здоровья и счастья
 в вашем не легком труде. В М. Васильев

мики, чтобы вокальный образ был живым. Общаясь с ним, я приобрела хорошие навыки и очень ему благодарна как моему первому серьёзному дирижёру-наставнику. Очень хорошим и требовательным дирижёром был и Александр Оскарович Сатановский».

После встречи с ними совершенно по-иному засверкал её голос.

Талантливым мастером сцены был и режиссёр Иван Поликарпович Варфоломеев. По словам Елизаветы Владимировны, он «работал с актёром над каждым жестом, движением, мимикой, он добивался во всём органичности, чтобы все движения были естественны, необходимы, вытекали из образа и музыки. Работа с ним была очень интересна, а главное, плодотворна».

В своём письме Е. В. Шумская рассказала и о том, что «в нашем театре все ведущие актёры занимались пластикой движения, умением носить

костюм со шлейфом, владеть веером, и многим другим. А занимались мы с ведущей балериной Викторией Арнольдовной Урусовой. Она была блестящая балерина – обаятельная, вдохновенная, красивая, темпераментная, и очень добрый человек. Я ей тоже благодарна».

В жизни и в творческой деятельности актрисы верным другом и надёжным помощником был её муж Сергей Александрович Шумский, известный хормейстер, заслуженный артист РСФСР. «Все музыкальные партии, – писала Елизавета Владимировна, – я готовила с мужем, он требовал учить партию академически точно, выполняя все ремарки композитора». Да, это был действительно счастливый союз преданных театру людей, которые взаимно обогащали друг друга. Сергей Александрович тоже оставил о себе добрую память. Пожалуй, особенно была ему благодарна Анна Андреевна Добромирова, впоследствии – народная артистка РСФСР. Ведь в те годы, работая в том числе и под его руководством, она постигала тонкости хорошего пения. В 1946 году её назначают главным хормейстером, и нашему театру она посвящает более 50 лет своей творческой жизни.

Когда я вёл переписку с Е. В. Шумской, у меня сложилось впечатление, что она, несмотря на свою огромную популярность в музыкальном мире, человек довольно скромный. И вот однажды мне довелось встретиться с замечательным концертмейстером, преподавателем камерного пения нашей Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова Е. И. Губановой. Пользуясь случаем, я попросил её поделиться своими воспоминаниями о Елизавете Владимировне. «Вы знаете, работать непосредственно с Шумской, – сказала Елена Ивановна, – мне не приходилось. Но, когда мы работали в годы Великой Отечественной войны в одном театре, я помню Шумскую как человека очень тактичного, всегда приветливого. Она в равной степени с уважением относилась не только к актёрам, музыкантам, но и к обслуживающему персоналу».

С Елизаветой Владимировной Шумской любили работать и актёры, и режиссёры, и дирижёры.

Народный артист СССР Алексей Петрович Иванов, работавший многие годы вместе с ней в Саратове, а затем на сцене Большого театра Союза ССР, писал: *«Когда думаешь о Елизавете Владимировне, то первое, о чём хочется сказать, это о её голосе полного диапазона, очаровательного, серебристого тембра, богатом разнообразными красками. Удивительная её чуткость в жизни и на сцене рождали радость подлинного живого сценического общения. Безукоризненное знание партии для Шумской – не просто вопрос профессионального долга, но средство сценического раскрепощения. Поэтому так вдохновенны, эмоциональны сценические образы Шумской, поэтому заразительно всё, что она создавала на сцене».*

С первых дней Великой Отечественной войны актриса считала своим гражданским, патриотическим долгом много выступать с концертами в воинских частях, в госпиталях, перед тружениками тыла. Своим удивительным искусством она помогала людям преодолевать невзгоды, укрепляла веру в свои силы, веру в грядущую нашу великую Победу. На концертах она вдохновенно пела арии из опер, романсы, но всегда особое значение актриса придавала исполнению русской народной песни, что всегда находило душевный отклик в сердцах слушателей. Пропагандируя песню на страницах местной прессы, она писала: *«Русская народная песня особенно полно отвечает великому патриотическому подъёму нашего народа, так как в них, в этих песнях, вылилась вся душа русского народа, с его беспредельной любовью к Отчизне, к родному краю. Нет и не может быть более почётной задачи у певца, как работать над русской песней, донести её изумительную внутреннюю силу, её непревзойдённую музыкальность и напевность, её красоту и величие до широких слушательских масс».*

Именно поэтому она и давала целые концерты, состоящие только из русских народных песен, что неизменно вызывало подлинный восторг у публики, ведь она пела в открытые души людей. И была большая справедливость в том, что в 1942 году в разгар Сталинградской битвы в Саратов пришло радостное известие: Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Елизавете Владимировне Шумской за выдающиеся заслуги в области театрального искусства было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. В те дни она получила много поздравлений.

Всё это, конечно, её радовало, волновало, но ко многому и обязывало. Е. В. Шумская была благодарна всем своим партнёрам, коллегам, с которыми сводила её фронтовая судьба. С большой теплотой и душевной нежностью она вспоми-



*Е. В. Шумская,
и.о. Председателя Верховного Совета
РСФСР И. А. Власов, А. Н. Стрижова
при вручении Почётной грамоты.
10 июня 1943 года. Москва*

нала и своего аккомпаниатора, талантливого баяниста, который в детстве лишился зрения. К сожалению, Елизавета Владимировна забыла его имя, но хорошо помнила, что его постоянно, на всех концертах сопровождала женщина. Вероятнее всего, это был Иван Яковлевич Паницкий, а той женщиной была его верная жена, друг и надёжный помощник Прасковья Ивановна, которая действительно повсюду его сопровождала.

В 1985 году в издательстве Саратовского университета имени Н.Г. Чернышевского вышла брошюра В. Галактионова «Чарующая песнь баяна». Я выслал её Елизавете Владимировне. Читая её с душевным волнением, она обратила внимание на то, что они почти одногодки. И певица, и баянист не помышляли об отдыхе, они трудились вдохновенно и плодотворно.

В годы Великой Отечественной войны пропаганда русской и советской музыки стала занимать ведущее место в деятельности Саратовского театра оперы и балета, на сцене которого с огромным успехом шли оперы «Князь Игорь» А. Бородина, «Иван Сусанин» М. Глинки. Значительным событием в театральной жизни не только Саратова, но и страны явилась постановка патриотической оперы П.И. Чайковского «Орлеанская дева». Впервые на советской сцене она была поставлена именно в нашем Саратовском театре оперы и балета. Опера мощно зазвучала в те дни, когда фронт стемительно приближался к Саратову.

Партию Агнессы блестяще исполнила Е.В. Шумская. Её партнёрами были прекрасные мастера сцены: заслуженная артистка УССР А.Е. Станиславова, М.А. Бевза, Г.В. Серебровский и другие. Их исполнение было таким потрясающим, что, как вспоминал очевидец спектакля, писатель Николай Вирта, *«на глазах многих зрителей были слёзы восторга, а минуты благоговейной тишины после финала вознаграждали актёров больше, чем бурные овации. Опера волнует каждой своей музыкальной фразой, каждым словом напева. Какое благородство мыслей, какая сила заключена в ней, какие патриотические мысли будит она!»*

Осуществив постановку «Орлеанской девы», театр возродил к жизни оперу, созвучную героической эпохе.

В 1944 году решением Совета народных комиссаров РСФСР Саратовский театр оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского был включён в число республиканских. В этом была и немалая заслуга Е.В. Шумской. Своим замечательным искусством она наряду с другими мастерами сцены способствовала заслуженной славе нашего театра.

Творческие возможности Е.В. Шумской были поистине велики. С особым блеском её неповторимое дарование раскрылось на сцене Большого театра Союза ССР, куда певица была приглашена в 1944 году. Она приехала в Москву, уже будучи необычайно ярким мастером сцены, со своим богатым репертуаром, что и позволило ей легко войти в состав труппы.

На сцене прославленного театра Е.В. Шумская с подлинным блеском дебютировала в партии Марфы в опере Н. Римского-Корсакова «Царская невеста». Оценивая работу Е.В. Шумской в этой опере, выдающийся режиссёр Евгений Светланов говорил: *«Марфа Е. Шумской вызывает сострадание, трогает до слёз. Тут уже забываешь про театр, про сцену. Перед тобой сама жизнь, правдивая в своей жестокой действительности».*

В чём же был секрет её огромного успеха?

Вот что говорит сама Елизавета Владимировна:

– Работа над образом меня всегда очень увлекала. Я ни о чём другом не могла думать, с мыслями о моей героине я засыпала и с ними просыпалась.

лась, о ней думала в бессонные ночи, пока не исчерпала все представляющиеся моему воображению решения и варианты.

К тому же Елизавета Владимировна считала: чтобы петь вдохновенно, надо очень любить свою профессию и неустанно работать над собой. Следуя этим принципам, Е. В. Шумская сумела подняться к величайшим вершинам исполнительского мастерства.

Одной из вершин в её творчестве стал и образ Волховы в опере Н. Римского-Корсакова «Садко». Волхова – это сказочный образ, поэтическая мечта героя оперы «Садко». Поэтому певица нашла особую исполнительскую манеру для партии, основанную на необычайной лиричности и нежном звучании отдельных арий. Спев эту партию впервые на ивановской, а затем на саратовской сцене, Е. В. Шумская продолжала доводить её до совершенства. За исполнение этой партии в 1950 году ей была присуждена Государственная премия СССР, тогда – Сталинская премия 1-й степени.

А в 1951 году Елизавете Владимировне Шумской было присвоено почётное звание народной артистки РСФСР. На прославленной сцене Большого театра её партнёрами были такие корифеи оперного искусства, как И. С. Козловский, С. Я. Лемешев, П. Г. Лисициан, А. П. Иванов и другие. В работе с ними новыми гранями засверкало её творческое дарование. На сцене Большого театра Е. В. Шумская была очень востребована. Певица была этому только рада, так как считала, что большая творческая загруженность способствует творческому долголетию. Она писала: *«Певец не может и не должен останавливаться в работе, иначе неизбежен творческий спад. Только в труде – долголетие певца, поэтому он должен сделать всё возможное, чтобы продлить этот изумительный дар природы».*

Очень тёплые, дружеские отношения у Е. В. Шумской сложились с одной из ведущих солисток Большого театра, народной артисткой РСФСР В. А. Давыдовой-Мчелидзе.

Мне удалось её разыскать. К тому времени она уже жила в Тбилиси. Я попросил Веру Александровну поделиться воспоминаниями о Е. В. Шумской. В ответном письме она писала: *«С Елизаветой Владимировной познакомилась сразу, узнала, что она приехала с Волги, а я ведь тоже волжанка, так что я её полюбила как родную. Человек она была необыкновенно тёплый, внимательный и серьёзный. Её полюбили все коллеги. Мы часто пели вместе в «Царской невесте», «Садко» Римского-Корсакова и других спектаклях. И везде она была на высоте как певица и как актриса. Часто мы с ней вели беседы насчёт вокальной школы, они у нас были разные, но во многом похожие, и это нас тоже радовало и роднило. Наши мысли, чувства часто совпадали, и мы, конечно, были счастливы. Елизавета Владимировна пользовалась большим уважением слушателей, каждый её спектакль превращался в огромный праздник, в поклонение певице-актрисе. И я гордилась дружбой с ней».*

Став одной из ведущих солисток Большого театра, она много гастролирует по стране и за рубежом. Во время гастролей в Финляндии в 1955 году она покорила слушателей. И всё же с особым волнением она приезжала на гастроли в свой родной Саратов, в город, с которым она сдружилась,

и, конечно, здесь её принимали с особой теплотой и любовью. Каждое её выступление проходило поистине с огромным успехом.

Елизавета Владимировна пользовалась большим уважением слушателей, каждый её спектакль превращался в огромный праздник, в поклонение певице-актрисе. И я гордилась дружбой с ней.
В. А. Давыдова

*Низко кланяюсь Саратову – городу
чудесному городу и народу, который
слушает меня на сцене Саратовского
театра. Всегда кланяюсь. Меня всегда
публика принимает очень тепло
и сердечно.
Елизаветина Е. В. Мичурин 1986 г.
14/12*

Накануне 80-летия Е. В. Шумской в газете «Заря молодёжи» была опубликована моя статья «Мыслью возвращаюсь вновь...», посвящённая её юбилею, что позволило мне выслать эту статью именно к дню рождения. В связи с этим Елизавета Владимировна писала: «Уважаемый Виктор Васи-

льевич! Благодарю Вас за внимание и поздравление с юбилеем. Меня очень тронули Ваши добрые пожелания, и, конечно, благодарю за добрые слова в газете в мой адрес, за Ваше внимание ко мне как к певице. Это очень согревает моё уже немолодое сердце. Низко кланяюсь Саратову, который я люблю и никогда его не забуду. Всегда помню театр им. Н. Г. Чернышевского, где публика принимала меня очень тепло и сердечно. Виктор Васильевич, всегда жду Ваших писем. Благодарю за добрую память обо мне. Елизавета Шумская».

В этом же письме она сообщала, что на сцене Большого театра в её честь шёл спектакль «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, с участием нашего земляка, народного артиста России В. Щербакова. «Пел он и в юбилейном концерте в дуэте с моей ученицей Лидией Захаренко. Я была ими очень довольна. Голоса звучали прекрасно и выразительно. Публика принимала их очень хорошо. После концерта мы с Щербаковым встретились в фойе и побеседовали о Саратове».

Елизавета Владимировна прожила большую творческую жизнь, и ей было что рассказать любителям оперного искусства. Она подготовила к печати рукопись. Однако в силу возраста и большой занятости как преподавателя ей было трудно хлопотать об её издании. И вот именно в этот момент на её жизненном пути появился замечательный человек, её большой поклонник, участник Великой Отечественной войны, в то время – военный корреспондент, а впоследствии – член Союза журналистов СССР Игорь Симонович Пожидаев. Елизавета Владимировна дала ему мой адрес, и началась наша с ним переписка. В своём первом письме он писал: «Уважаемый Виктор Васильевич, мне выпало великое счастье личного знакомства с Е. В. Шумской. До сих пор я «болел» её голосом, что называется, на общих основаниях: на спектаклях Большого театра, на концертах, слушая пластинки и радио. Я почувствовал: после А. В. Неждановой и Е. К. Каткульской у нас не было (и сейчас не видно) лирико-колоратурных певиц, равных Елизавете Владимировне. Слушая записи её по радио, я с каждой новой передачей убеждался в правильности первого впечатления. Талантливых певиц у нас немало, но Шумская одна, неповторима». И он, истинный большой её поклонник, оказал ей свою посильную помощь в подготовке рукописи к изданию, а затем многократно обивал пороги издательств, но, к сожалению, «пробить» книгу в печать ему так и не удалось.

Имя Е. В. Шумской дорого саратовцам – любителям оперного искусства. Неслучайно, когда я предложил на радио провести передачу, посвящённую творчеству прекрасной певицы, то главный редактор художественных передач радио ГТРК «Саратов», заслуженный работник культуры РСФСР Лейла Аббасовна Бочкова охотно поддержала это предложение, и с её лёгкой руки передача состоялась 26 октября 1996 года. Она вышла в эфир в рубрике «Музыка и вечное».

Уважаемый В. Крестов,
 К сожалению Вы мне не написали
 своим письмом и ответом?
 Прежде всего я пишу у Вас
 и спасибо, что задерживаете
 моего Вам свои фотографии.
 Я очень благодарна Вам за помощь
 в отношении к моему искусству
 и доброту теплые слова и участие.
 Я писала Вам Мухомору,
 Чло-Сок-Маргариту и Василию.
 Очень благодарна Вам за фото
 при встрече мне спасибо
 Вас очень жалею: С.С.Ф.С.Ф.
 Спасибо Вам доброту здоровья
 спасибо в Вашем добровольном
 и не легкой труде в искусстве.
 Пусть труды и искусство
 будет труднее. С уважением,
 5 июля 1983г. Великолепный Шумская

В день столетия со дня рождения Е. В. Шумской, 12 апреля 2005 года, мне довелось быть в театре оперы и балета, где состоялась моя встреча с директором театра, заслуженным работником культуры Российской Федерации, Действительным членом Петровской академии наук и искусств Ильёй Фёдоровичем Кияненко.

В нашем разговоре я вспомнил Елизавету Владимировну и сказал ему, что на днях выйдет моя статья, посвящённая её юбилею. И она действительно вскоре вышла на страницах газеты «Саратовская панорама». На память о нашей встрече Илья Фёдорович подарил мне двухтомник Б. Г. Манджоры «Саратовский академический театр оперы и балета», со своей дарственной надписью, за что я ему благодарен и сегодня.

Покинув сцену, Е. В. Шумская много лет вела большую педагогическую работу. Она не мыслила себя без неё. «Пока есть силы, буду работать, хочу быть полезной людям», – как-то сказала актриса. И она действительно работала до конца своих дней.

Е. В. Шумская скончалась 5 марта 1988 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище рядом со своим мужем Сергеем Александровичем Шумским. Но её удивительный голос живёт и поныне. В «Гостелерадиофонде» имеется много записей, среди них – полные записи опер с её участием, фрагменты из опер, романсы, песни. Многие из них переписаны на компакт-диски.

Но у меня ещё с советских времён сохранился проигрыватель «Лидер», и я слушаю пластинку с записями Е. В. Шумской. В её исполнении необычайно душевно звучат русские народные песни «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Не брани меня, родная»... Когда я слушаю необыкновенный, чарующий голос певицы, невольно вспоминаю слова легендарного дирижёра, народного артиста СССР Евгения Светланова: «Изумительный голос Шумской оставляет неизгладимое впечатление у всех, кто хоть раз её слышал. Голос Шумской узнаешь сразу, настолько он ярок своей неповторимой окраской».

Выдающаяся певица, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ведущая солистка Большого театра Союза ССР и прекрасный педагог Елизавета Владимировна Шумская через всю жизнь пронесла трепетное, святое отношение к искусству, работала до последних дней своей жизни. Она учила творческую молодёжь не только вокальному мастерству, но и высокому таланту – быть артистом – учила не словами, а всей своей жизнью, отданной искусству без остатка. И этим была счастлива.

К 100-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО



**Светлана
КЛИМЕНКО**

ДОМ-МУЗЕЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)

Музею Н. Г. Чернышевского в 2020 году исполняется 100 лет. Почти полвека его руководителем была внучка писателя, дочь его младшего сына, основателя музея, Михаила Николаевича Чернышевского – Нина Михайловна Чернышевская (1896–1975). С 1926 года, после кончины отца, она являлась заведующей Домом-музеем, тогда входившим в состав Областного краеведческого музея. В 1939 году Дом-музей Н. Г. Чернышевского получил самостоятельность, и первым его директором стала Нина Михайловна. Осенью 1940 года директором назначили А. Ф. Абрамовича, для Н. М. Чернышевской была выделена должность заместителя по научной части. Так случилось, что после перевода Абрамовича по партийной линии на лекторскую работу директорство Н. М. Чернышевской выпало на июль 1941 года – почти одновременно с началом войны (Захарова И. Е. «Страницы истории Дома-музея Н. Г. Чернышевского на рубеже 1930–1940-х годов» в сб.: «Саратовская область в исторической ретроспективе», Труды СОМК, вып. 24(15), 2018). Ей 44 года, она вдова с двумя взрослыми детьми. Сына призывают на фронт, дочь в марте 1942 года становится матерью, а Нина Михайловна – молодой бабушкой. Все они живут во флигеле на музейной усадьбе. И бытовые, и семейные, и музейные проблемы теперь на плечах этой женщины. Коллектив небольшой – 8 человек, к концу войны в нём 10–11 человек, преимущественно женщины и немолодые мужчины – все, кто помоложе, на фронте. Экспозиция располагалась тогда в четырёх комнатах дома Н. Г. Чернышевского, здесь же – кабинеты сотрудников, библиотека и даже жилая комната сторожа. Никаких дополнительных помещений у музея нет, и их не будет практически до 1965 года. В довоенных планах – работа над созданием бытовой, то есть интерьерной экспозиции. Об этом мечтал ещё основатель музея Михаил Николаевич. Пока в экспозиции есть одна комната с интерьером, воссозданным по воспоминаниям кухни Н. Г. Чернышевско-

-
- Светлана Васильевна Клименко родилась в городе Яхроме Московской области. С 1965 года живёт в Саратове. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Старший научный сотрудник экспозиционного отдела музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского.

го в мезонине – кабинет будущего писателя, а тогда – молодого преподавателя гимназии. Сотрудники музея начали изучать историю мебели, предметов быта первой половины 19 века, планировался поиск всего необходимого для восстановления более детальных интерьеров, но война помешала этой работе.

Н. М. Чернышевская в 1930-е годы написала и издала две книги о своём деде – «Вилуйский узник» и «Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского». Вторая тема стала основой диссертации на степень кандидата филологических наук для Нины Михайловны, начавшей эту работу перед войной. Предполагалось, что защита произойдёт в Москве в ИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского, существовавший в Москве с 1931 по 1941 год. Был выделен из МГУ, но в 1941 году снова с ним слит). Война изменила все планы. В первые месяцы главной заботой стала работа по сохранению реликвий, из которых состояла коллекция музея – почти все располагались в экспозиции. Кроме того, в музее находился и весь архив Н. Г. Чернышевского – около 50 тысяч рукописных листов, сложенный в сейфах. В начале войны все документы отбиралась, классифицировались, описывались и упаковывались – Н. М. Чернышевская предполагала всё временно поместить в областной архив.

Весной 1941 года в Москве по решению СНК создан ЦГЛА – Центральный государственный литературный архив (ныне РГАЛИ), все литературные музеи должны были передать туда писательские архивы. Некоторые московские музеи успели сделать это в мае–июне 1941 года. Так случилось, что ЦГЛА приехал в эвакуацию в Саратов в июле 1941 года. Собранные архивистами документы поместились в одном железнодорожном вагоне. Все они находились в здании Саратовского краеведческого музея и Троицкого собора до весны 1942 года, затем были отправлены сначала в Шадринск, потом в Барнаул. В Саратове москвичи приняли архив Н. Г. Чернышевского и записали его как фонд № 1. Тогда музей в Саратове передал 47 688 архивных листов, предварительно копированных и зафиксированных на карточках. Экспозиции в музеях были свёрнуты, потому что в них расположились различные хранилища. В музее Чернышевского из экспозиции изъяты все реликвии, а так как это являлось основой её, экскурсии и вообще посещение экспозиции стали невозможными, да и у населения были совсем другие проблемы.

Школы превратились в лазареты, позднее их назовут госпиталями. Сотрудники музея Чернышевского, как и другие музейщики, стали постоянными лекторами в госпиталях – навещали и общались с легко ранеными бойцами, которых привозили всё больше и больше из Сталинграда, где начались ожесточённые бои. Саратов оказался прифронтовым городом. Общение с ранеными бойцами было трудным делом – и психологически, и физически, но музейщики всё чаще и чаще посещали госпитали, помогая раненым чем могли – ведь почти у каждого кто-то сражался на фронте. Трудности тыловой жизни оказывались на втором плане.

Всю первую половину 1942 года на учёных советах в музее Чернышевского обсуждались вопросы «пополнения» экспозиции, которая по-прежнему располагалась в четырёх залах – приёмной, гостиной, столовой и в мезонине (последний – с интерьером. Экспонаты небольшого размера были спрятаны в подвале дома, мебель, по всей вероятности, оставалась в комнатах – другого места для хранения не имелось). Судя по протоколам учёных советов, к лету 1942 года экспозицию дополнили копиями, диаграммами, таблицами, текстами. Появилась возможность приёма посетителей.

В протоколе общего собрания коллектива от 8 июля 1942 года впервые с начала войны замечаем слово «экскурсия». Заместитель директо-

ра по научной части В. Н. Шульгин предложил в плане социалистического соревнования принять 5 экскурсий в музее сверх обычного. Но в отчёте музея за 1942 год экскурсий нет, есть только лекции и передвижные выставки, подготовленные ещё до войны. В отчёте за 1941 год в разделе «массовая политпросветительная работа» указано, что в музее проведено 88 экскурсий, из них 48 – со школьниками, 21 – с красноармейцами, общее число посетителей – 2358. Из них экскурсантов-школьников – 1370 (в 1940 году их было 1685), красноармейцев – 613, что более чем в 2 раза меньше, чем в 1940 году (1488). С апреля 1941 года и до начала войны музей работал с 9 часов утра до 9 часов вечера без выходных дней. В отчёте за 1942 год – только лекции в госпиталях, передвижные выставки там же. В документе перечислены темы лекций: «Героическое прошлое русского народа», «Гражданская война 1918–1920 гг.», «Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков», «Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского – патриота нашей Родины».

Экскурсионное обслуживание началось, по-видимому, в 1943 году. Но преобладали в работе лекции. В отчёте за 1943 год указано огромное количество лекций в госпиталях – около 400, из них 310 прочёл В. Е. Евгеньев-Максимов, профессор Ленинградского университета, прибывшего в Саратов в эвакуацию. В 1943–1944 гг. он – заместитель директора Дома-музея Н. Г. Чернышевского по научной части. Названы его темы, их 22 – по истории русской литературы, начиная с древнейших времён до 20 века включительно: «Борьба с захватчиками и оккупантами в народной поэзии», «Борьба с захватчиками и оккупантами в произведениях древнерусской литературы», «Мужественные образы наших великих предков в художественной литературе (Александр Невский, Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский, Суворов, Кутузов)», и далее до 20 века. Экскурсий в отчёте за 1943 год – 20, охвачено ими 380 человек, из них 164 школьника. В отчёте добавлено: «Слабая посещаемость музея объясняется тем, что всю зиму... музейные залы не отапливались за отсутствием транспорта для вывоза закупленного... топлива. Летом же все граждане Саратова без исключения свои выходные дни посвящали огородному делу, имевшему для них весьма существенное значение ввиду предстоящих зимних трудностей с продовольствием».

В коллекции музея хранится рукописная афиша этих лет, в которой указаны часы работы экспозиции – с 10 часов утра до 13 часов. Таким образом, документы свидетельствуют о том, что посещение музея, его экспозиции в четырёх залах возобновилось в 1943 году. В дневнике Н. М. Чернышевской есть запись о том, что все реликвии музея в сентябре 1942 года были зарыты в землю в том же подвале, куда их сложили в начале войны. «В ноябре 1943 года мы это вынули из-под земли, и музей опять мог приступить к нормальной работе», – сообщает Нина Михайловна, указав, что под землёй всё хранилось 14 месяцев. Постоянной работой оставалась внемузейная – лекционная.

В связи с тяжёлой первой военной зимой весна 1942 года была посвящена, кроме еженедельных учёных советов, ещё и помощи сотрудникам в деле выживания: завхоз ушёл на фронт, его обязанности взяла на себя сотрудник Е. П. Дьякова. Какие это обязанности? Снабжение коллектива продовольственными и промышленными карточками, организация музейного огорода, что являлось и насущной необходимостью, и правительственным заданием. Огород, кстати, удался на славу, плоды его дарили соседнему госпиталю. На фронт отправляли посылки с одеждой и другими вещами, приобретаемыми по своим личным карточкам. Впереди было ещё три военных года...

Но это уже годы навстречу победе. Музей возобновил активную работу. В 1944 году принято более 5 тысяч посетителей, 135 групп. Более чем в три раза увеличилось число фондовых единиц хранения: до войны их было около тысячи, теперь – около трёх тысяч. Пополнение произошло за счёт картин современных художников и экспонатов Московского государственного музея Н. Г. Чернышевского, учреждённого в 1940 году и с началом войны в 1941 году закрывшегося. В 1945 году принято 4699 человек, из них учащихся – 489, красноармейцев – 392. Правда, по плану надо было принять в музей 10 тысяч посетителей – в отчёте это названо «контрольной цифрой», но задание явно завышено – залов по-прежнему четыре, других помещений у музея нет, кроме того, в доме произвели небольшой ремонт, так что музей работал 9 месяцев из 12. Отопление оставалось печным, зимой в помещении было очень холодно, школьников не принимали, чтобы не простудить – так и указано в отчёте.

Из документов исчез термин «политпросветработа» и появился «научно-просветительная работа». Общее число единиц хранения в фондах и экспозиции – 8197, книжный фонд – 2577, в экспозиции – 719 экспонатов.

В 1945 году в сентябре город отметил 25-летие Дома-музея Н. Г. Чернышевского. Директор, в 1944 году ставшая кандидатом филологических наук, была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Началась мирная жизнь.

Отчёты и протоколы учёных советов, часто написанные от руки, содержат много важных и интересных фактов о музейной жизни этого времени. Ещё более значительными и значимыми становятся эти факты, дополненные «Записками» Н. М. Чернышевской, которые она вела в годы войны. Дневниковые заметки кратки – у директора музея слишком много забот, отнимавших почти всё свободное время, но они более эмоциональны и всё же более подробны, чем отчёты. Из них мы узнаём, где и как прошла защита диссертации и что было потом, как переживались бомбардировки гитлеровской авиацией железнодорожного моста и завода «Крекинг», когда и как произошёл визит в музей Ферапонта Головатого, пожертвовавшего очень значительные суммы на изготовление двух самолётов для фронта; в дневнике сообщены подробности командировки директора музея в Москву, откуда перед новым, 1945 годом в Саратов прибыл специальный груз – несколько скульптур и 21 картина (масло, акварель, пастель, гуашь и соус) – для пополнения экспозиции о Н. Г. Чернышевском.

В 1945–1946 гг. музей, преображённый и обновлённый, работал в полную силу, предлагая посетителям много новых интересных экспонатов. Сразу после войны началось обустройство музейной территории, превращение её в усадьбу – правда, пока в соответствии с представлениями того времени, отличными от сегодняшних подходов к музейному усадебному строительству. Важно то, что музей расширялся, совершенствовался, становился современным, необходимым людям – жителям Саратова и гостям города. Жизнь продолжалась, впереди были важные для города события: юбилей – 120-летие со дня рождения Н. Г. Чернышевского в 1948 году, открытие памятника писателю в связи с его 125-летием в 1953 году, и далее – будущее, которое после Победы казалось исключительно светлым и плодотворным.

К 100-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО



**Александр
ДЕМЧЕНКО**

НАШ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Полвека назад в истории нашей страны прошли относительно недавние шестидесятые, когда на волне «оттепели» выдвинулось поколение творческой интеллигенции, многое изменившее в мироотношении своих соотечественников. В качестве правофланговых того поколения достаточно вспомнить имена таких поэтов, как Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский.

Но у них были далёкие предшественники. Полтора столетия назад в истории России ярко вспыхнули давние шестидесятые, когда страна жила ожиданием коренных перемен.

Это настроение охватило и верхи государства, включая императора Александра II. «Великие реформы» – вошедшее в обиход обозначение того времени излишне пафосно, но в 1860-е модернизация жизненного уклада действительно шла едва ли не по всем направлениям: отмена крепостного права, смягчение цензуры, судебная реформа, военная реформа, реформа образования и т.д.

Однако преобразования, шедшие сверху, в немалой степени были вынужденными, происходившими под воздействием мощного давления снизу. И то был не только всеохватывающий общественный подъём, ведущую роль в котором играла разночинная интеллигенция. Нарастали революционные настроения, принимавшие порой радикальную окраску («хождение в народ», подпольные организации типа общества «Земля и воля», террористические акции).

Этот либеральный настрой любых тонов и оттенков породили именно те, кого позже стали именовать шестидесятниками. И весь спектр таких тонов и оттенков представлен в палитре художественного творчества того времени. Если опять-таки обратиться к литературе, то красноречивым сви-

-
- Александр Иванович Демченко – доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, главный научный сотрудник и руководитель организованного им Центра комплексных художественных исследований, действительный член (академик) Российской и Европейской академий естествознания, заслуженный деятель искусств России, обладатель Золотой медали В. И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки и почётного звания «Основатель научной школы», главный редактор журнала «Манускрипт» и член редакционной коллегии ряда российских и зарубежных журналов, лауреат премии имени Д. Д. Шостаковича и Международной премии имени Николая Рёриха, почётный гражданин города Саратова.

детельством тому могут послужить шедевры писателей И. Тургенева, И. Гончарова, А. Писемского, Н. Лескова и М. Салтыкова-Щедрина, поэтов Н. Некрасова и А. Фета, драматургов А. К. Толстого и А. Островского и таких титанов словесности, как Ф. Достоевский и Л. Толстой.

Общепризнанно, что центральной фигурой демократического движения 1860-х годов был Николай Гаврилович Чернышевский. Главным делом его жизни была критико-публицистическая деятельность, но в те же 1860-е Чернышевский чрезвычайно много сил отдал и литературному творчеству. Стоит вспомнить его романы «Что делать?», «Повести в повести», «Пролог», «Отблески сияния», повести «Алферьев», «История одной девушки», цикл «Мелкие рассказы», пьесы «Драма без развязки», «Великодушный муж», «Мастерица варить кашу».

Порой приходится сталкиваться с иронично-снисходительным отношением к этому наследию. Но разве ничего не говорит уже хотя бы тот факт, что его роман о «новых людях» («Что делать?») вызвал к жизни целое направление в творчестве писателей, близких к народническому движению – таких, как Н. Бажин, И. Оммулевский, И. Куцевский, С. Степняк-Кравчинский, Марко Вовчок.

Так не следует ли отрешиться от вьевшихся в наше сознание стереотипов и заново присмотреться к тому, что вышло из-под пера того, кто был флагманом «шестидесятничества»?

Итак, **Николай Гаврилович Чернышевский** (1828–1889) – выдающийся мыслитель, публицист, литературный критик, писатель. Он родился в Саратове в семье священника, учился в здешней духовной семинарии. После окончания историко-филологического отделения Петербургского университета преподавал курс русской словесности в Саратовской гимназии, где открыто высказывал свои убеждения (некоторые из его учеников впоследствии стали революционерами).

Ввиду характера последующей деятельности в Петербурге в 1862 году был арестован и осуждён на пожизненное заключение в Сибири, где провёл почти двадцать лет. В 1883-м переведён в Астрахань под надзор полиции, а в 1889-м, за несколько месяцев до смерти, получил разрешение жить на родине, в Саратове.

В нашем городе в общей сложности он прожил более двадцати лет, треть своей жизни. В Саратове уже почти сто лет для посетителей открыт Литературно-мемориальный музей-усадьба Н. Г. Чернышевского. Имя Чернышевского носят самая большая улица города и университет.

Примечательны строки одного из его писем: «Как и всегда, как и каждый час, я буду мыслями в Саратове». В не дошедшем до нас романе «Старина», по воспоминаниям слышавших его в чтении автора, в основе лежали художественно переработанные воспоминания о его жизни в Саратове в 1851–1853 годах, куда приезжает после окончания Петербургского университета молодой революционер Волгин.

Той же фамилией, обозначающей волжанина, человека с Волги, писатель наделяет главного героя романа «Пролог» (1869). В романе «Что делать?» (1863) персонаж по имени Никитушка Ломов, ставший одним из жизненных примеров для легендарного Рахметова, описывается Чернышевским с особым воодушевлением.

Никитушка Ломов, бурлак, ходивший по Волге лет 15–20 тому назад, был гигант геркулесовской силы. 15 вершков ростом, он был так широк в груди и плечах, что весил 15 пудов, хотя был человек только плотный, а не толстый. Какой он был силы, об этом довольно сказать одно: он получал плату за четырёх человек. Когда судно приставало к городу и он шёл на рынок (по-волжскому, на базар), по дальним переулкам раздавались крики парней: «Никитушка Ломов идёт, Никитушка Ломов идёт!» – и все бежали на улицу, ведущую с пристани к базару, и толпа народа валила вслед за своим богатырём.

В сравнении со своим предшественником В. Белинским и последователем Н. Добролюбовым, Н. Чернышевский отличался исключительной многосторонностью интересов и, помимо литературной критики, создавал историко-литературные труды («Сочинения Пушкина», «Очерки гоголевского периода русской литературы» и др.), трактаты по эстетике (главный из них – «Эстетические отношения искусства к действительности»), а также философские и социально-публицистические работы.

Став к концу 1850-х годов общепризнанным лидером русской революционной демократии, являлся (наряду с А. Герценом) родоначальником народного движения.

Он как экономист доказывал необходимость замены «нынешнего экономического устройства коммунистическим», переход к социализму считал исторической необходимостью, предполагая, что «отдельные классы наёмных работников и нанимателей труда исчезнут, заменившись одним классом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе».

В области литературной критики Чернышевский развивал принципы и традиции Белинского, вслед за которым устанавливал теснейшую связь эстетического идеала человека, его представлений о прекрасном и его художественной деятельности с другими сферами бытия.

Прекрасное есть жизнь, настаивал он, высочайшая красота есть именно красота, рождаемая миром действительности. Предназначение искусства, являющегося «учебником жизни», заключается в том, чтобы научить людей видеть и понимать прекрасное в жизни, мобилизовать силы общества на борьбу против всего, что стоит на пути к высокому идеалу.

Литературу Чернышевский рассматривал как силу, способствующую познанию, оценке и изменению действительности. Таким образом, общественно-практическая, активно-преобразующая роль искусства выдвигалась на первый план.

Эти идеи, а также обоснование целостной, общеэстетической концепции русского реализма оказали огромное влияние не только на литературу, но и на живопись передвижников, на музыку композиторов «Могучей кучки» (особенно на М. Мусоргского).

Критический отдел журнала «Современник», возглавляемый Чернышевским, служил оружием публицистики, связывающей объяснение и оценку литературных произведений с постановкой острых социально-политических проблем, что сделало его главным легальным органом русской демократии.

Политический радикализм Чернышевского, стойкого в своих убеждениях и поступках человека, имел своим следствием осуждение на каторжные работы в Сибири и то, что его сочинения оставались запрещёнными в Рос-

сии вплоть до революции 1905 года. Примечательна этическая оценка, прозвучавшая в посвящённом ему стихотворении Н. Некрасова.

*Его ещё покамест не распяли,
Но час придёт – он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.*

В добавление к сказанному о многосторонности деятельности Чернышевского необходимо упомянуть его романы «Что делать?» и «Пролог», где нашли определённое выражение его социалистические идеалы и представления о том, какой должна быть общественно-действенная литература.

Роман «Что делать?» (1863) стал наиболее значительным из литературных сочинений Чернышевского, который именно в годы написания этого романа был признанным лидером революционно-демократического движения. Находясь в заведомой оппозиции к существующему порядку вещей, автор зорко подмечал неудовлетворяющие его стороны современного ему жизненного уклада России.

Чернышевского отличали острое писательское зрение, житейская наблюдательность, ясное видение маленьких, простительных и больших, непростительных слабостей человеческих, довольно остроумная манера изобличения этих слабостей.

Вот характерный штрих. Состоятельная женщина, от которой зависит благосостояние отца Веры Павловны, за его готовность услужить собирается отблагодарить его, называя стоимость вещей – автор же обозначениями в скобках делает соответствующие уточнения по поводу реальной цены называемых предметов.

– Татьяна! – Вошла старшая горничная. – Найди моё синее бархатное пальто. Это я дарю вашей жене. Оно стоит 150 рублей (85 рублей), я его только 2 раза (гораздо более 20-ти) надевала. Это я дарю вашей дочери, – Анна Петровна подала управляющему маленькие дамские часы, – я заплатила 300 рублей (120 рублей). Я умею награждать...

Разумеется, эта писательская зоркость и наблюдательность распространяются и на всё остальное, описываемое в романе. Для иллюстрации можно привести момент из истории сближения главных героев.

Лопухов даёт уроки младшему брату Веры Павловны. И она, и учитель несколько наслышаны друг о друге, и вот впервые будущие супруги видятся. Авторская речь перемежается мыслями, которые пробегают в их головах, что привносит тонкий психологический аромат.

На диване сидели лица знакомые: отец, мать ученика, подле матери на стуле ученик, а несколько поодаль лицо незнакомое – высокая стройная девушка, довольно смуглая, с чёрными волосами – «густые, хорошие волосы», с чёрными глазами – «глаза хорошие, даже очень хорошие», с южным типом лица – «как будто из Малороссии; пожалуй, скорее даже кавказский тип; очень красивое лицо, только очень холодное, это уж не по-южному; здоровье хорошее: нас, медиков, поубавилось бы, если бы такой был народ! Когда войдёт в свет, будет производить эффект. А впрочем, не интересуюсь».

И она посмотрела на вошедшего учителя. Студент-медик был уже не юноша, человек среднего роста или несколько выше среднего, с тёмными каштановыми волосами, с правильными, даже красивыми чертами лица, с гордым и смелым видом – «недурён и, должно быть, добр, только слишком серьёзен». Она не прибавила в мыслях: «а впрочем, не интересуюсь», потому что и вопроса не было, станет ли она им интересоваться.

При рассмотрении безусловно негативных сторон действительности писательская зоркость и отчётливое видение психологической подоплёки поведения человека сразу же приобретают открыто саркастическую окрашенность.

Показательную подробность подобного рода находим в авторском комментарии к тому обстоятельству, когда мать Веры Павловны без каких-либо оснований, просто из присущей ей алчности хотела бы сбавить цену за уроки, которые Лопухов даёт её сыну.

Как ни удивительно, учитель идёт ей навстречу, что должно было пошатнуть её уже сложившееся хорошее мнение о нём и «по-настоящему следовало бы ей разочароваться, увидеть в нём человека легкомысленного».

Но уж так устроен человек, что трудно ему судить о своих делах по общему правилу: охотник он делать исключения в свою пользу. Когда коллежский секретарь Иванов уверяет коллежского советника Ивана Иваныча, что предан ему душою и телом, Иван Иваныч знает по себе, что преданности душою и телом нельзя ждать ни от кого, а тем более знает, что в частности Иванов пять раз продал отца родного за весьма сходную цену и тем даже превзошёл его самого, Ивана Иваныча, который успел продать своего отца только три раза, а всё-таки Иван Иваныч верит, что Иванов предан ему, то есть и не верит ему, а благоволит к нему за это, и хоть не верит, а даёт ему дурачить себя – значит, всё-таки верит, хоть и не верит. Что прикажете делать с этим свойством человеческого сердца?

Хорошо представляя себе подобные «свойства человеческого сердца» и сатирически бичуя самые тёмные из них, Чернышевский стремится выявить в своём современнике иное, резко отличающееся от того, чем живёт подавляющее большинство.

Это иное он находит главным образом в среде молодых разночинцев. Некоторые из них происходили из более или менее состоятельных семейств, но сознательно стали добывать себе средства к существованию собственным трудом.

Такова Вера Павловна, многие годы жившая в кругу, где определяющими были необразованность, грубость нравов, низменные побуждения, а главным интересом – жажда накопительства. Она всеми силами стремится вырваться из этого закосневшего мещанского «болота», и одолеть «власть тьмы» удаётся посредством тайного венчания с человеком, близким ей по духу и жизненным запросам. Своё место в жизни она окончательно обретает, отыскав себе дело по душе, причём дело полезное и необходимое для других.

Вера Павловна оказывается в ряду тех, суть устремлений которых со всей ясностью обозначена подзаголовком романа: *Рассказы о новых людях*. Новыми для Чернышевского становятся люди высоких достоинств, натуры деятельные, чистые, безупречно честные, по-другому, чем прежде, устраивающие семейный быт, заботящиеся о благе всеобщей жизни.

Выявляя в реальности России середины XIX века ростки и зёрна соответствующих этому норм морали и человеческих отношений, автор тем самым раскрывал лучшее в облике русского разночинца 1860-х годов, который уже тогда становился ключевой фигурой и главным двигателем общественно-исторического процесса.

Одной из составляющих данного процесса, опять-таки инициированной прежде всего разночинцами, была борьба русской женщины за свободу личности, за гражданское равноправие. В романе «Что делать?» это становится едва ли не самым существенным мотивом истории жизни главной героини. Формируя и формулируя свои идеалы, Вера Павловна с пафосом говорит о той независимости духа, ради которой она готова на всё.

– Я не хочу ни властвовать, ни подчиняться, я не хочу ни обманывать, ни притворяться, я не хочу смотреть на мнение других, добиваться того, что рекомендуют мне другие, когда мне самой этого не нужно. Для того, что не нужно мне самой, я не пожертвую ничем – не только собой, даже малейшим капризом не пожертвую. Я хочу быть независима и жить по-своему; что нужно мне самой, на то я готова; чего мне не нужно, того не хочу и не хочу.

Не хочу никому поддаваться, хочу быть свободна, не хочу никому быть обязана ничем, чтобы никто не смел сказать мне: ты обязана делать для меня что-нибудь! Я хочу делать только то, чего буду хотеть, и пусть другие делают так же; я не хочу ни от кого требовать ничего, я хочу не стеснять ничьей свободы и сама хочу быть свободна.

Максимализм выражения своего нравственного идеала был призван в данном случае подчеркнуть страстное стремление во что бы то ни стало добиться духовной независимости. Жизненные реалии сюжета ставят это стремление в определённые рамки, не позволяя пренебрегать тем, что горячий почитатель романа «Что делать?» В. Ульянов-Ленин обозначил позднее формулой: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».

В только что отмеченном максимализме суждений в какой-то мере отразились радикальные наклонности, присущие «шестидесятничеству». Но главным для этого повествования становится утверждение идей позитивизма, который был в определённой степени этическим знаменем второй половины XIX века.

У Чернышевского эти идеи выступают в сопряжении с распространившейся тогда теорией «разумного эгоизма», что, в частности, подразумевало свободное подчинение личной выгоды общему делу, от успеха которого в конечном счёте выигрывает и личный интерес индивида.

С точки зрения только что сказанного важнейшей задачей считалось решительное избавление от романтических иллюзий, господствовавших в первой половине XIX столетия. Примечательные разъяснения на этот счёт автор вкладывает в уста одного из главных героев романа, человека безусловно положительного и рьяного адепта *позитивного взгляда на позитивизм*.

Вот как строится диалог Веры Павловны с Лопуховым, который, будучи старше и опытнее, учит её уму-разуму.

– Стало быть, правду говорят холодные, практические люди, что человеком управляет только расчёт выгоды?

– Они говорят правду. То, что называют возвышенными чувствами, идеальными стремлениями – всё это в общем ходе жизни совершенно ничтожно перед стремлением каждого к своей пользе и в корне само состоит из того же стремления к пользе.

– Положим, вы правы. Но ведь эта теория холодна.

– Теория должна быть сама по себе холодна. Ум должен судить о вещах холодно.

– Но она беспощадна.

– К фантазиям, которые пусты и вредны.

– Но она прозаична.

– Для науки не годится стихотворная форма.

– Итак, эта теория обрекает людей на жизнь холодную, безжалостную, прозаичную?..

– Нет, Вера Павловна, эта теория холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна, холодна стенка коробочки, о которую трётся она, дрова холодны, но от них огонь, который готовит тёплую пищу человеку и греет его самого. Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут жалким предметом праздного сострадания. Ланцет не должен гнуть – иначе надобно будет жалеть о пациенте, которому не будет легче от нашего сожаления. Эта теория прозаична, но она раскрывает истинные мотивы жизни, а поэзия – в правде жизни. Почему Шекспир – величайший поэт? Потому, что в нём больше правды жизни и меньше обольщения, чем у других поэтов.

На этот счёт дискуссия не утихает едва ли не на всём протяжении романа. К примеру, другой из главных героев романа, Кирсанов, ставший позже вторым мужем Веры Павловны, на соответствующем витке развития сюжета решает для себя мучительную дилемму: дать волю своим чувствам и тем самым нарушить супружеское счастье Лопухова, своего лучшего друга, или утаить любовь к Вере Павловне. Ход его «позитивистских» рассуждений убеждает во втором.

Моё положение вот какое: я люблю вино, и передо мною стоит кубок с очень хорошим вином, но у меня есть подозрение, что это вино отравлено. Узнать, основательно или нет моё подозрение, я не могу. Должен ли я пить этот кубок или опрокинуть его, чтобы он не соблазнял меня? Я не должен называть своё решение ни благородным, ни даже честным – это слишком громкие слова, я должен назвать его только расчётливым, благоразумным: я опрокидываю кубок. Через это я делаю себе некоторую неприятность, но зато обеспечиваю себе здоровье, то есть возможность долго и много пить такое вино, о котором я навёрное знаю, что оно не отравлено. Я поступаю неглупо, вот и вся похвала мне.

Чувство любви, но не как стихийная страсть, а как осознаваемое и контролируемое разумом, приобретает в системе ценностей «нового человека» чрезвычайно важное положение. Поэтому лирические мотивы занимают в романе едва ли не главенствующее место.

К слову, в своё время роман был пропущен цензурой в печать, поскольку чиновники увидели в нём всего-навсего любовное повествование. И это случилось по отношению к автору, уже находившемуся тогда в тюремном заключении! Сразу же по выходе романа оплошность обнаружили, и ответственный цензор был освобождён от должности.

Тем не менее, лирические чувства основных и второстепенных персонажей – отнюдь не «прикрытие» социологической подоплёки. И, подробно рассказывая о всевозможных перипетиях «личной жизни», Чернышевский настойчиво проповедует новую этику человеческих отношений, понимание подлинной любви как чувства без примеси эгоистического присвоения себе того, кого по-настоящему любишь.

Эта этика с наибольшей отчётливостью декларируется Лопуховым, который на определённом этапе чутко ощутил, что Верой в отношении к нему больше руководит чувство глубокой признательности ему за то, что он женитьбой на ней избавил её от домашнего ада, однако сердце её с некоторых пор уже принадлежит другому.

Осознав происшедшее, Лопухов готов сделать всё, чтобы любимая женщина обрела счастье с этим другим. Её сопротивление он стремится преодолеть примечательными в своём альтруизме аргументами.

– Помнишь, как мы с тобою говорили в первый раз, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, иметь удовольствие в том, чтобы делать всё, что нужно, чтобы ему было лучше. Что тебе лучше, то и меня радует. Если с тобою нет беды, какая беда может быть со мною?

– Мой милый, но ведь ты так любишь меня!

– Конечно, Верочка, очень. Но ведь мы с тобою понимаем, что такое любовь. Разве не в том она, что радуешься радости, страдаешь от страдания того, кого любишь? Муча себя, ты будешь мучить меня.

– Но ведь ты будешь страдать, если я уступлю этому чувству, которое – ах, я не понимаю, зачем оно родилось во мне!

– Как оно родилось, зачем оно родилось – это всё равно, этого уже нельзя переменить. Теперь остаётся только один выбор: или чтобы ты страдала – и я страдал через это; или чтобы ты перестала страдать – и я также. Обо мне не думай, что ты обидишь меня. Не жалею меня: моя судьба не будет жалка оттого, что ты не лишишься через меня счастья.

Из «новых людей», выведенных в романе «Что делать?», наиболее оригинален и своеобразен Рахметов. Согласно описанию Чернышевского, будучи по происхождению из крупной и родовитой помещичьей семьи, он из убеждений «пошёл в народ», испытал себя в любых ипостасях тяжёлого физического труда, «приобрёл и не щадя времени поддерживал в себе непомерную силу. «Так нужно – говорил он, – это даёт уважение и любовь простых людей».

Рахметов вёл спартанский образ жизни, в том числе и по части еды, в которой придерживался принципа: «Того, что никогда не доступно простым людям, и я не должен есть! Это нужно мне для того, чтобы хоть несколько чувствовать, насколько стеснена их жизнь сравнительно с моею».

Многое ещё сообщает автор об этом загадочном, совершенно «особенном человеке» (определение Чернышевского), которому, между строк, он предрекает большое будущее и, подытоживая разговор о котором, пишет о подобных ему следующее.

Мало их, но ими расцветает жизнь всех. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней – теин в чаю, букет в благородном вине; от них её сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли.

В Рахметове всегда видели предтечу революционеров народнического толка. Более того, нередко говорилось, что Чернышевский впервые в русской литературе создал образ профессионального революционера.

Это во многом справедливо, однако преувеличивать революционную направленность романа «Что делать?» вряд ли стоит, особенно в сравнении со следующим, незаконченным романом «Пролог» (1869), где один из главных героев открыто характеризует себя следующим образом: он – «демократ, социалист, революционер», и его цель – «стереть с лица земли разницу сословий и состояний». Не случайно издание этой книги предполагалось автором не в России, а за границей.

Что же касается предыдущего романа, то Рахметов – эпизодический персонаж, которому посвящено всего десяток страниц, и сама по себе социалистическая идея предстаёт здесь в достаточном реальном качестве, как осуществляемая не в далёком будущем, а в актуальном настоящем, исходя из условий российской жизни того времени. Швейные мастерские, которые организовала Вера Павловна – образцовые предприятия, основанные на принципах добровольного труда, самоуправления и справедливости для всех.

По их подобию в 1860-е и в последующие годы в России не раз создавались различные товарищества и коммуны, так что мечта писателя отнюдь не была утопической.

Она исходила из доверия автора к доброй воле человека и его разуму, из веры в реальную возможность гармоничных отношений между людьми, из веры в разрешение противоречий жизни – только что дважды повторённое слово «вера», наверное, не случайно для романа, прежде всего, посвящённого судьбе Веры Павловны.

Отсюда мажорный финал повествования, который можно было предвидеть уже в той из начальных глав, где говорится о счастье, которое обрела героиня, вырвавшись из ненавистного родительского дома.

Бывает ли лучше жизнь на свете? Да, в начале молодости едва ли бывает. Но годы идут, и с годами становится лучше, если жизнь идёт, как должна идти, как теперь идёт у немногих. Как будет когда-нибудь идти у всех.

Как бы ни оценивать художественные достоинства романа «Что делать?», в своё время он конкретно отвечал на вопрос, поставленный в заглавии, давал яркий портрет людей поколения Н. Чернышевского и активно участвовал в становлении характера его младших современников.

Об исключительной силе воздействия этой книги Г. Плеханов справедливо писал: «Пусть укажут нам хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом «Что делать?» Никто не укажет такого произведения».



Елизавета
МАРТЫНОВА

Память о войне

Озёрный Б.Ф. Бессмертие. Стихи и рассказы о войне /
Составитель С.Б. Дурнова. Послесловие проф. А.И. Ванюков. —
Саратов: изд. центр «Наука», 2020. — 161 с.

Выход книги Бориса Фёдоровича Озёрного приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сборник многоплановый, он включает лирические стихотворения, поэму «Бессмертие», «военные» рассказы. В целом создаётся объективный, разносторонний взгляд на Великую Отечественную войну, каждый читатель может найти что-то своё, интересное для себя — от лирического переживания «Писем с фронта» до эпического размаха и поистине мощного звучания поэмы «Бессмертие», от трагизма переживания войны — до юмористических моментов в рассказах «Колдун» и «На подступах к Берлину».

Когда читаешь не отдельные стихотворения, не подборки, которые тоже производят яркое лирическое впечатление, а книгу в целом, видишь переживания реального человека, прошедшего всю войну, начинаешь понимать, что Великая Отечественная — это не просто история, о которой нужно помнить, а сама жизнь.

Поэтому очень важно, что адресована эта книга не только взрослому читателю, но и детям, подросткам. Думаю, что дети с интересом и с сопереживанием прочтут и стихи, и поэму, и прозу писателя. Когда о войне рассказывает непосредственный её участник, рассказывает увлекательно и ярко, лирично и, что важно, остроумно — это не может не заинтересовать и не увлечь.

Я сама не первый раз читаю и перечитываю рассказы Бориса Озёрного, и каждый раз меня захватывают сюжеты рассказов «На подступах к Берлину», «Первое поручение», «Разведка». Это не «проза поэта» — это сжатое и энергичное повествование, построенное на реальных фактах. Автор книги знал тех людей, о которых писал, и они предстают перед нами не идеальными героями, а реальными людьми, совершавшими невозможное.

Читаешь рассказ — и вживаешься в него, видишь, как жили люди того времени, со всеми подробностями и деталями.

Что касается поэтической части сборника, могу сказать, что и в ней зримость изображённого, «проза жизни» удачно сочетаются с напевностью и ясностью. Борис Фёдорович Озёрный — поэт широко эпического дыхания, в его стихах, даже в небольших лирических миниатюрах много воздуха и простора. Его поэтическая интонация свободна и естественна. Пафос его стихотворений абсолютно искренний, ненавязчивый, не риторический. О войне пишет чисто, скупо и строго. Даже в миниатюре открываются перспектива, неожиданный временной простор.

*Нас разделяют вёрсты и недели,
Безжалостно разбитые войной.
И неспроста заметно заблестели
Виски мои нежданной сединой.*

*Мы возмужали. Стали мыслить строже.
Видали смерть. Познали рай и ад.
Я был на целых десять лет моложе
Всего один лишь год тому назад.*

Сказываются в этих стихах цельность человеческого характера, «трагический оптимизм» восприятия жизни.

*...Вокруг весна ликующе цвела,
И нашей жизнью смерть врага была.*

Тексты Бориса Озёрного напевны, фактически любой из них можно спеть. Вот «Солдатская песня»:

*Только звёзды роняют осколки,
И лежит на полях тишина.
От седой, от прославленной Волги
Навсегда отступила война.*

Любовь и война оказываются рядом. Борис Озёрный остаётся романтиком. Его восприятие войны обусловлено чистотой его души. Изображая войну, он не впадает в натурализм, передаёт скорее не сиюминутные ощущения, но оценку того, что прошло. *«Эта клятва по дорогам длинным / Нас вела сквозь горе без конца. / И пронёсся шквалом над Берлином / Правый гнев наш яростью свинца...»*

Пафосная интонация чередуется с элегической. Взгляд из настоящего в прошлое – взгляд человека, умудрённого опытом, понявшего ценность жизни.

*...Ты получишь письмо
В самодельном измятом конверте,
С добрым сердцем напишешь:
«Я очень и очень люблю»,
А не знаешь, как часто
Хожу я в обнимку со смертью
И как часто с ней рядом
Под бледными звёздами сплю.*

Центральным произведением, «сердцем» книги становится поэма «Бессмертие». Написана она от первого лица, это воспоминание о мирном времени и уже в другой плоскости: военное настоящее, тревога за будущее. Настоящая поэма – повествование, но при этом ему присуща

взволнованная, лирическая интонация. Здесь и военный быт, и тщательно прописанные образы героев, и авторские отступления.

*Я иногда глаза закрою
И вижу прошлое ясней –
За мир шли молча в бой герои
С презрением к тысяче смертей.
Так пусть, листая наши годы,
Потомок выпишет резцом
Глухие ночи непогоды,
Снег впережку со свинцом.
Пусть этот памятник, сверкая,
Сердечной горестью храним,
Стоит, бои напоминая,
Как назидание живым.*

Эта книга – не только «памятник» Великой Отечественной войне, но и достойный памятник жизни и творчеству Бориса Озёрного. Благодаря работе дочери поэта, Светланы Борисовны Дурновой, книга прекрасно составлена, композиционно продумана – в ней есть движение и развитие, как в музыкальном произведении. Завершает книгу послесловие профессора СГУ имени Н.Г. Чернышевского Александра Ивановича Ванюкова: «Дороги бессмертия» – статья, в которой дан подробный анализ творчества Б.Ф. Озёрного.



Михаил
МУЛЛИН

Том третий. Необходимый

Наш удивительный современник – боговдохновенный русский физик и математик академик Б. В. Раушенбах, совершивший прорывы в науке, работая с М. В. Келдышем и И. В. Курчатовым, в своей замечательной книге впервые показал, что единица наиболее полно выражается и объясняется числом... три. В год тысячелетия крещения Руси он распространил этот принцип на «обоснование» (объяснение) истинности христианского понимания Бога как Пресвятой Троицы. Борис Викторович для наглядности употребил при этом... пространственный вектор, каждая из проекций которого на оси X, Y или Z (мы ведь воспринимаем себя живущими в трёхмерном мире) даёт правильное, но неполное (в смысле направленности и истинной величины) представление об этом векторе, а вот учёт всех трёх его «ипостасей» позволяет понять значение вектора во всей полноте.

Я вспомнил об этом после выхода третьего тома «Сборника сочинений» (Саратов, 2020, издательский Дом МарК) замечательного русского писателя, родившегося в Бакурах и творившего преимущественно в Саратове, Ивана Шульпина.

Два первых тома были изданы при жизни Ивана Васильевича. Художественным, языковым достоинствам произведений, помещённых в них на редкость талантливым и ответственным перед читателями и словом автором, можно только позавидовать самой белой завистью (то есть порадоваться за Шульпина и за тех, кому повезло прочитать их). Однако при этом эстетически ценное «двукнижие» писателя-земляка оставляло ощущение некой неполноты представления о его творчестве и личности. И вот третья книга, подготовленная к печати и изданная тщанием верной спутницы жизни Ивана Васильевича, знатоком и тонкой ценительницей его творчества Натальей Владимировной Шульпиной, поистине удачно представляет писателя в достаточной полноте.

В книгу включены ранние и никогда не публиковавшиеся, а также самые последние произведения Шульпина. И, ока-

зывается, они настолько интересны, что было бы жалко и несправедливо оставлять их за пределами «Сборника». Во-первых, потому, что уже в самых первых рассказах самобытного автора бросается в глаза редкая даровитость начинающего прозаика. И проглядывается отнюдь не юношеская мудрость! Так, в «жёстком» рассказе «Шестигранник» (описывающее «несолидное это заведение – «Пиво – воды»), где герой – он же автор (произведение написано от первого лица), собираясь стать писателем, «изучает жизнь и народ», только очень уж ненаблюдательному читателю (и, возможно, критику) могут померещиться «рисовка» и естественный мальчишеский интерес к тёмной и грубой стороне жизни. На самом же деле рассказ удивительно светлый. Ибо даже и у «бандюганов» восхищение красотой вызывает платоническую, романтическую любовь к генеральской дочке, и незыблем для этих «простодушных» кодекс чести! Что уж тут говорить о происходящем в душе самого начинающего писателя?! И, может быть, ещё больше это проявляется в рассказе «Туркин и Куркин», где как будто божья кара настигает совершившего подлость, как в когда-то популярной песенке: «Покарай рукой его, Господи! / Я имею в виду – кулаком». И тут уж для приятеля, избившего сокурсника, не важно, что Сам-то Господь предупредил о недопустимости подобного: «Мне отмщение – и Я воздам». Бесхитростный правдолюб искренне вершит свой суд, не только чтоб душу отвести, но и в назидание.

Не менее показательны в этом отношении «Дегенерат», «Мускатный орех», «Яблоки медовые». А ещё смаковать можно раннюю прозу Ивана Васильевича за образную насыщенность, за щедро разлитую поэзию. Да ведь не только рассказы, но очерки...

Герои Шульпина вроде бы простые люди. Но... до чего же они все яркие! А ещё очень разные. Это тем более удивительно, что они, как уже не раз говорилось об особенностях шульпинской прозы,

не «срисовываются» с конкретных прототипов, а создаются автором, как демиургом, вместе со всем шульпинским миром, то бишь... выдумываются! И выдуманные герои – ничуть не искусственны, не надуманны.

Первые поэтические публикации начинающего юного поэта Шульпина (например, в газетах «Заря молодёжи» и «Балашовская правда») также обращают на себя внимание тем, что автор как будто уже и не начинающий, а состоявшийся и, несомненно, при этом обещающий расти. Пронзительны стихи «Машет женщина белым в окне», «Не пали ты зря свечей...». Всё это недопустимо было бы не включить в итоговый сборник.

Первоначальные поиски себя, своего собственного слова и зрелые известные вещи взаимно дополняют и освещают друг друга. И в этом свете то, что сделано в литературе И. Шульпиным, предстаёт в своей истинной полноте.

И, конечно же, важны для дополнения образа автора и образа его творчества помещённые в книгу «Статьи, интервью», «Рецензии И. Шульпина». И «Рецензии, отзывы на произведения Шульпина». Удивляют, например, рассуждения молодого – почти вчерашнего сельского школьника Ивана Шульпина об особенностях творчества Сергея Есенина, тогда, кстати, не слишком рекомендуемого для пропагандирования. Анализ тонкий и... явно незаимствованный.

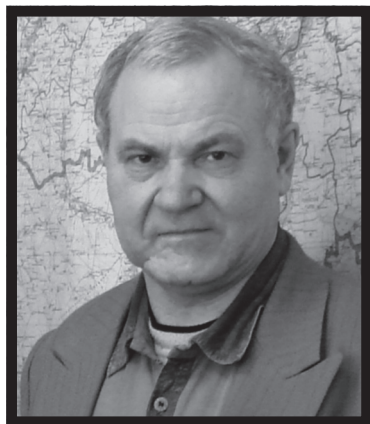
В рецензиях на произведения собратьев по перу и даже начинающих авторов отчётливо видно, как Шульпин чётко и нежно «отделяет зёрна от плевел», каждому автору помогает нарабатывать своё, незаёмное.

И – обратим внимание – о самом Шульпине самые добрые отзывы в своё время сочли нужным написать, скажем, М. Туган-Барановский, В. Астафьев, Э. Сафонов, Г. Коновалов.

Составитель сборника справедливо поместила на его страницах мнения разных писателей, критиков о творчестве Шульпина. Это, бесспорно, станет интересно будущим исследователям литературного процесса периода, когда рождалась и развивалась новая литература, свободное, неподцензурное слово. Этому периоду никто ещё не придумал названия. А он весьма поучителен и не изучен в должной мере.

Интересным штрихом выглядят в издании и «Каталог выставки поделок Ивана Шульпина» с замечательными иллюстрациями, и сведения о родителях писателя.

С благодарностью надо признать, что Наталья Владимировна Шульпина не зря выполнила большую и кропотливую работу по подбору материала книги и её комплектованию. Ей, так сказать, удалось отобразить «третью проекцию». А мы по-читательски порадуемся выходу тома третьего, необходимого.



ПАМЯТИ МИХАИЛА МУЛЛИНА

12 сентября на 74-м году жизни от тяжёлой болезни скончался наш друг, талантливый поэт, прозаик и журналист, член «СП России» и «Ассоциации Саратовских Писателей», лауреат многих Всероссийских престижных литературных премий Михаил Семёнович Муллин.

Михаил Муллин родился 13 ноября 1946 года в селе Старо-Костеево Бакалинского района Башкирской АССР. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Как инженер-механик работал на селе и на Саратовском заводе электротермического оборудования. И не только. Более тридцати лет он – журналист, поэт, писатель, сценарист.

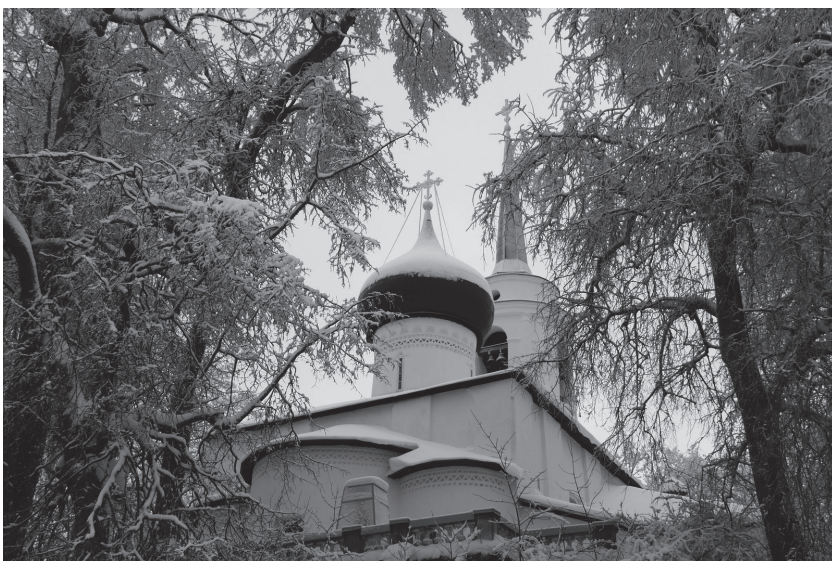
Михаил Муллин считается одним из лучших современных авторов не только в Москве, в Саратове, но и за рубежом!

Автор стихов, рассказов фантастических повестей, юмористических, сатирических и детских произведений, афоризмов, сценариев для мультфильмов и комиксов. Печатался в журналах «Литературная учёба», «Степные просторы», «Кукумбер», «Простокваша», «И смех, и грех», «Волга–XXI век», «Наш современник» и многих других всероссийских изданиях. Автор книг: «Как перевернуть землю», «Вера», «Катамаран», «Этo я устроил дождь» и других.

В глубинке да и во многих районах нашей Саратовской области Михаил Семёнович провёл сотни встреч с читателями, дети его буквально обожали – так им нравились его весёлые и добрые стихи. Муллин никогда не отказывался от работы в жюри литературных конкурсов школьников. Много лет Михаил Семёнович был членом общественного редакционного совета регионального литературно-публицистического журнала «Волга–XXI век», и в этом качестве он оказывал помощь многим молодым писателям, был автором многих рецензий и критических статей.

Память о добром и талантливом человеке Михаиле Семёновиче Муллине будет всегда жить в сердцах и душах его друзей и его читателей!

Друзья и коллеги



Святогорский Свято-Успенский монастырь

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Подписано в печать 29 октября 2020 года.

Дата выхода в свет 30 октября 2020 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 41/29100

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 69-54-41.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2020.

© «Волга–XXI век», 2020.



Антонио Сальери
(1750–1825)



Вольфганг Амадей Моцарт
(1756–1791)



Михайловское. Аллея Керн

